

КОНТИНЕНТ19

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNET CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Когда Отчизна скажет: надо дров! — Лесов не пожалеют для державы.



Летели щепки,
разливалась кровь —
Ни разу топоры
не задрожали.
Орлы!.. Иль —
вóроны?.. Страшу-
ся я —
Летит стервятник

Писатель... лучше
других знает, что
существует кесаре-
во и существует Бо-
гово, но что писа-
тельский талант,
писательская со-
весть не выдаются
государством и ни-
чем кесарю не обя-
заны.

Иван Светличный *Станислав Баранчак*



Идеология защиты прав человека — по-видимому, единственная, которая может сочетаться с такими различными идеологиями, как коммунистическая, социал-демократическая, религиозная, технократическая, национально-«почвенная»; она может составить также основу позиции тех людей, которые не хотят связывать себя теоретическими тонкостями и догмами, устав от избытка идеологий, не принесших людям простого человеческого счастья.

Защита прав человека — это ясный путь к объединению людей в нашем смятенном мире, путь к облегчению страданий.



Эта защита прав человека — это ясный путь к объединению людей в нашем смятенном мире, путь к облегчению страданий.

Андрей Сахаров

И Ленин склонившись под лампой
Проводит грядущую рампу,
Где новый Пушкин



размазывает палитру
На ваших ушках
и пьет политуру.
На все вопросы
ответит Ильич
Ваньке, Феньке
и Митеньке
На ближайшем
митинге.

Те, кто выжил, обязаны назвать во всеуслышание имена преступников — палачей, мучителей, лже-судей. Это

их долг перед историей и, одновременно, предупреждение на будущее. Было бы полезно, по-моему, устроить несколько символических процессов...

Симон Визенталь



Леонид Плющ

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Ежи Гедройц · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Милован Джилас · Эжен Ионеско · Артур Кестлер
Роберт Конквест · Наум Коржавин
Николаус Лобковиц · Михайло Михайлов
Эрнст Неизвестный · Андрей Сахаров
Виктор Спарре · Странник · Александра Толстая
Юзеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

- Англия Владимир Тельников
Wladimir Telnikov, 28 St Luke's Rd
London W 11
- Израиль Михаил Агурский
Michael Agoursky, P O B 7433,
Jerusalem, Israel
- Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia
- США Юрий Ольховский
George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. W.
Washington D. C. 200 16, USA
- Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

К

КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

19

Издательство «Континент»
1979

СОДЕРЖАНИЕ

Нестор Пушлер — Пародии	7
Владимир Максимов — Сага о носорогах	21
Иван Елагин — Стихи	43
Сергей Довлатов — Юбилейный мальчик. Рассказ	49
Владимир Алейников — Возвращение на Итаку. Поэма	71
Виктор Некрасов — По обе стороны Стены. Часть вторая	77
Иван Светличный — Рыльские октавы. Перевод с украинского и вступительная заметка Л. Плюща	157
Леонид Плющ — Семиугольная фантазия	164
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Андрей Сахаров — Движение за права человека в СССР и Восточной Европе — цели, значение, трудности	171
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Моника Ловинеско — Литература и диссидентство в Румынии	189
ЗАПАД — ВОСТОК	
Борис Парамонов — Америка в тени Джонстауна	223
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Виктор Некипелов — Сталин на ветровом стекле. — Кладбище побежденных	238
Письмо из Сосновки. С предисловием А. Сахарова	248
ИСТОКИ	
И. Гессен — Дела эмигрантские. Фрагменты воспо- минаний	286
СПОРТ И ПОЛИТИКА	
Алексей Орлов — При любой погоде	325
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Станислав Баранчак — Переводя Бродского	347

КОЛОНКА РЕДАКТОРА	367
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Людмила Алексеева — Гражданин Буковский	371
Виолетта Иверни — Зеркало памяти	379
КОРОТКО О КНИГАХ	385
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	395
НАША ПОЧТА	401
НАША АНКЕТА	
Нам отвечает Симон Визенталь	405
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	

СОЧИНЕНИЯ

НЕСТОРА ИВАНОВИЧА ПУШЛЕРА,
ЗАПИСАННЫЕ С ЕГО СОБСТВЕННОРУЧНЫХ СЛОВ
ИМ САМИМ И ПРИСЛАННЫЕ СО СВОЕГО ПЛЕЧА
ЧЕРЕЗ НЕИЗВЕСТНОГО ПОЧИТАТЕЛЯ

*Журнал «Континент»
Владимиру Емельяновичу Максимову.*

Москва, 1978 г.

Многоуважаемый Владимир Емельянович!

*Извилистыми путями препровождаю Вам сочинения
Нестора Ивановича Пушлера.*

*Автор — советский Козьма Петрович Прутков, плод
своей эпохи и нынешнего воспитания. Как он сам утвер-
ждает, он «не злопыхатель, а патриот и доброхот», он не
«против», а «за» (Пушлер не АНТИчен, Пушлер очень
ПРОчен).*

*Конечно, Пушлер — это псевдоним, который автор
пока не собирается раскрывать, ибо не планирует в обо-
зримом будущем искать где-либо «политического зарубе-
жища». Его адрес, как поется в доброй песне, «не дом и не
улица», а «Советский Союз», и было бы нежелательно,
чтобы вместо советского он стал соловецким или вместо
московского — мордовским...*

Неизвестный Почитатель

*Нашедшего эту книжку просьба не воз-
вращать ее по адресу: пл. Дзержинского,
дом — сами знаете...*

ОФИГЕНИЕ В ГЛАВЛИТЕ

1. *Посвящается Лермонтову-Кумачу*

Молодым везде у нас дорога,
С южных гор до северных морей
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу
Необъятной Родины своей.

В небесах торжественно и чудно,
С каждым днем все радостнее жить,
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Смеяться и любить?

Широка страна моя родная,
И не жаль мне прошлого ничуть,
Я другой такой страны не знаю,
Я б хотел забыться и заснуть...

2. *Пророку*

Восстань пророк, и виждь и внемли!

Пушкин

Как презирают все его!

Лермонтов

Добра и правды ты искал,
За что и был всегда в опале,
Тебя никто не прЕзирал,
Но неусыпно прИзирали.

Возвеселися, диссидент:
Международный документ
Прибавил сил наивной вере,
Но — лишь не наш корреспондент
Входил в распахнутые двери.

Тебя не изменить, о, нет!
Как из овса не сделать проса.

Тебе ответил Комитет
На все «проклятые вопросы».

Чтоб стал честнее этот мир,
Ты был готов пойти на муку,
Но визу положил ОВИР
В твою протянутую руку.

3. *Черная дыра* (астроумие)

*«Советские люди все теснее сплачиваются
вокруг партии и ее Центрального Коми-
тета».*

Из газет

Когда тугие силы тяготенья
Сожмут звезду до тесноты ядра,
То пропадает звездное свечение
И возникает «черная дыра».

Из этого спрессованного кома
Свет не прорвется больше никогда,
И только вычисленья астронома
Покажут нам, что здесь была звезда.

Страна моя! Грядущего светило!
Глаза нам застит свет твоих побед!
Но всё ж центростремительные силы
Берут в кулак твой первозданный свет.

Нас партия ведет, и вместе с нею
Толпимся мы, доверием горды,
И с каждым днем теснее и теснее
Вокруг ядра смыкаем мы ряды.

Мы этой теснотой своей гордимся
Мы слепо верим твоему ядру,
И все мы так в конце концов сплотимся,
Что превратимся в «черную дыру».

4. Проблемы диалектики

Мы решаем вечную загадку.
И никто ответа не нашел.
Почему выходит в жизни гадко
То, что на бумаге хорошо?

В мавзолее очередь и в ГУМе,
Не понять, какой же тезис лжив —
Говорит нам ум, что Ленин умер,
Уверяют нас, что Ленин жив.

А со Сталиным — совсем хлопотно,
Тут уж вовсе не поймет народ:
То ли умер он бесповоротно,
То ли — хоть и скромно — но живет.

Люд простой уразуметь не в силах
Этой диалектики секрет:
Каганович, Молотов, Шепилов —
Есть они, а вроде бы и нет...

Изреку сентенцию такую
Я, об этой тайне говоря:
Люди — худо-бедно существуют,
Но живут идеи Октября.

5. Наш бронепоезд

*Ну а фашистской суке Муссолини
Мы городом Тольятти насолили.
Евтушенко*

Как сука-Гитлер вылупил бы зенки
На фабрике табачной Клары Цеткин!
Как Пиночет скривился бы, ублюдок,
Здесь, в интерклубе имени Неруды!
Какую Картер рожу скорчит, гнида,
В Москве перед могилой Джона Рида!
Чтобы Жискар не выступал, стервец —

В запасе есть у нас Морис Торез.
Мы б Голде Меир тоже б наподдали,
Да жаль метро переименовали,
Врагам идейным отливаем пули
В названьях городов, колхозов, улиц,
И крепко этим способом простым
Всему имперьялизму насолим!

6. Привилегионеру

Привилегионер! Служитель высшей касты!
Назначенный трибун и плебса лучший друг,
Мы знаем — день и ночь заботишься о нас ты,
Не перечешь твоих достоинств и заслуг.

О, как мне описать торжественные миги,
Когда центурион с ладонью у виска
Навытяжку стоит, пока в своей квадриге
Ты едешь в Колизей болеть за Спартака!

Уже который год ты плебсу служишь верно,
Ты куришь фимиам и осетрину ешь,
Из дефицитных чаш ты пьешь вино Фалерна
И можешь выезжать за варварский рубеж!

Не ведает забот в шелках твоя матрона,
Устроил ты детей в закрытый спецлицей,
Ты — член и депутат, и в праздник Посейдона
С трибуны машешь ты с улыбкой на лице!

Твоей душе чужда тень умысла худого,
Но чтоб иметь всегда икру, вино, бекон,
Брутально устранишь ты Цезаря любого
И перейдешь какой угодно Рубикон.

8. Памятник

Я памятник себе не собираюсь ставить.
Зачем событий ход мне ставить на попа?

Тем более, что я и так не смог представить,
Где пресловутая тропа.

Я не стремлюсь в ряды писательского треста,
Едва ли на статуй скоплю в карманах медь,
Тот пьедестал давно уже имеет место,
Где буду я... сидеть.

Один энтузиаст писал о Моссельпроме,
Пророчества его пожалуй что сбылись,
Но время какво! Все толще многотомье,
И гуще мраморная слизь.

Но все ж ко мне придет признание наконец-то:
И в двери постучась в довольно поздний час,
Ликуя скажет мне: «Пройдемте, Пушлер Нестор,
Мы так давно разыскиваем вас!»

ИЗ ЗК)*

Сколько голов, столько Голгоф.

*

Антропофаги на башнях.

*

Поэта называют гражданином чаще всего в кабинете
следователя.

*

Комсо-Молох.

*

Цекапище.

*

Социалистическая наука побеждать — пирротехника.

*) По 1978 г. включ. Пушлер не сидел. ЗК означает записная книжка.

*

Корни ученья — Горький, но плоды его — Сахаров.

*

Дали характеристика на выезд.

*

Полит-Бирон.

*

Укладка мозгов Хуа-Го-Феном.

*

Аве, Картер, вытуренные те салютант!

*

Общество на современном этапе: навязчивые идеи стали материальной силой.

*

Литерат-урка.

*

Клятва Герострата: «Из искры возгорится пламя».

*

Советское книгопечатание: гигант с хорошо развитой макулатурой.

*

Масс-турбация — процесс овладения идеей массами.

*

Некролог в Литгазете: «Почил в позе».

*

Мельпоменова стоимость драматического произведения.

*

Мнимореальная доска.

*

Ничто так не спаивает коллектив, как водка.

*

Объягоенный Отелло.

*

Лектор-международник: тонковрунный баран.

*

Коринфский ордер на арест.

*

Невропатологоанатом — врач, овладевший смежными специальностями.

*

Седина в бороду — собес в ребро.

*

ГБ не дура!

*

Сто Марковых не стоят одного валютного Рабля.

*

Иударный труд оплачивается из расчета 30 серебряников в день.

*

Выпускной бал — торжество по случаю ликвидации 10-а как класса.

*

«На правое дело он поднял народы». А что ему оставалось после написания «Детской болезни левизны в коммунизме»?

*

СовОВИРенное государство.

*

Поэты-фронтовики.

*

Советский Ш. Холмс: Илья МУРовец.

*

Знаете ли вы Варфоломеевскую ночь? Нет, вы не знаете Варфоломеевской ночи...

ИЗ КЛАССИКИ

Человек — это звучит! (*Горький*)

*

Не торговал я лирой, но бывало... (*Н. А. Некрасов*)

*

Учиться, учиться, и еще — разучиться (*Ленин*)

*

Разворачивайтесь, Марше! (*Маяковский*)

*

Вот потому так хочется и мне
Здрав штаны бежать... (*Есенин*)

*

Кто жил и мыслил, тот не может... (*Пушкин*)

*

Ни звука. И нет соглядатаев? (*Пастернак*)

*

Только ночь с ней провожался,
Сам наутро папой стал. (*Народная песня*)

*

Отречемся! (*Галилей*)

*

Я вас ли бил? (*Пушкин*)

*

Псевдоразумное, доброе, вечное... (*Н. А. Некрасов*)

*

Партия — это рука миллионнопалая
Сжатая в один громящий ГУЛАГ. (*Маяковский*)

ВЕТКА ПАЛЕСТИНЫ

Медитанция

Три мудреца, поговорив,
Решили ехать в Тель-Авив.
Будь это раньше, не сейчас,
Длиннее был бы наш рассказ.

Арон

Нас было много у дверей.
Иные здесь годами ждали,
Другие — только начинали,
Не чая худа.

От властей
Кому-то приходил ответ,
Кому-то знак, что «хода нет»,
Что ж до меня, то, как ни странно,
Я вынырнул в ином краю,
И визу влажную мою
Сушу на бреге Иордана.

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ

Пилот, самолет и читатель

Один рассеянный пилот
Сел в сверхсекретный самолет
И более не возвращался...

*

Читатель, он тебе не попадался?

* * *

Не нужно нагрузок музе,
Зачем ей чины и власть?
Поэтов столько в Союзе —
И Блоку негде упасть.

* * *

Нет в жизни счастья. Всё — утраты.
Всё суета, и прах, и тлен:
Вот членом был еще вчера ты,
А кто сегодня ты? Не член...

* * *

«На том стою» — сказал один чудак.
«За то сижу» — звучит совсем не так...

* * *

Гражданин имеет право,
И обязанности тоже,
Он обязан жить во славу,
А в ущерб он жить не может.

«Не надо ждать милостей от природы»

Скрестили раз со скунсами хорьков,
И вот приплод — писатель Михалков.

Две стороны поэзии

По эту сторону — поэты пишут байки,
По ту — в поту жуют черновики,
По ту — поэту выделяют пайки,
По эту — щедрые пайки.

«Простим грамматику, не это...»

Пусть одинок я среди несметных тысяч,
Пусть я не знаю всех моих друзей,
В моем заду их надлежало б высечь
И, мраморными, поместить в музей.

Верлибр)*

Когда Вы всходите на трибуну,
Такой значительный,
Говорите всё по-печатному,
Я ли не вижу в Вас цитатёль?
Ведь каждая фраза Вашей речи становится
цитатой,

И я с почтением приглушаю
Струны моей недостойной лиры,
Понимая
Торжественность момента.
(Из зала: Бровиссимо!!!)

*) Аббровиатура: ВЕРному/Ленинцу/Л.И.БР....

МОЯ ГЕНИОЛОГИЯ

*Ай да Пушлер,
Ай да сукин сын!*

Родитель мой звался Иваном,
Он мог гораздо быть добрей,
Когда б, по предрассудкам странным
Не думали, что он — еврей.

Он в том, что русский, часто клялся,
Но непонятно почему,
Чем с большим пылом он старался,
Тем меньше верили ему.

Служа в ОСОАВИАХИМЕ,
Он перешел в простой ОСО,
И там (с немногими другими)
Крутил прогресса колесо.

Курил он папиросы «Тройка»
(Как перед этим «Беломор»),
Но перекрыла перестройка
Пути к «Герцеговине Флор».

Однажды он в закрытом парке
(Не там ему бы отдыхать!)
Понравился одной кухарке
Из тех, что стали управлять.

В утробе затаив тревогу,
Я думал «быть или не быть»,
Но мать решила, слава Богу,
Как на работе: «Доносить!»

Подобно прочим пионерам
Меня вступали в комсомол,
Отец же стал пенсионером
И полностью от дел ушел.

Потом настал конец печальный
С речами и стальным венком,
И памятник пирамидальный
Ему поставил исполком.

Я ж на ноги поднялся твердо,
Как требуется — я в строю,
И по стране несу я гордо
Теперь фамилию мою.

Я не еврей. Я это знаю.
Но чтоб спокойным быть вполне,
Я всех в обратном уверяю,
И наконец-то верят мне!

И мне нельзя польстить вернее,
Семь бед, зато один ответ:
На этом свете — все евреи,
Но кто признался, а кто — нет.

Благонамеренный читатель,
Пойми моих раздумий ход:
Перед тобой не злопихатель,
Но — патриот и доброхот!

САГА О НОСОРОГАХ

Эжену Ионеско

Мы сидим с ним в его тесно заставленном, но предельно опрятном кабинете в квартире на бульваре Монпарнас. Серые, чуть навывкате, с налетом неистребимого удивления глаза, мягкая детскость которых живет, существует, излучается как бы самостоятельно, отдельно от лица — резко очерченного, тронутого возрастом. К такому бы лицу да белую тогу с малиновым подбоем, а не свитер, который, впрочем, тоже сидит на нем весьма царственно. Он время от времени лениво прихлебывает чистый виски со льдом и молча, не перебивая, выслушивает мои многословные жалобы на душевную глухоту, идеологическую ограниченность, социальную стадность западной интеллектуальной элиты.

— Из огня да в полымя, — в сердцах говорю я, — стоило уносить ноги от диктатуры государственной, чтобы сделаться мальчиками для битья при диктатуре социального снобизма! В известном смысле все то же самое: цензура, деление на своих и чужих, издательский и критический бойкот, конформизм наизнанку, только под респектабельным демократическим соусом. И способ полемики тоже давно знакомый по душеспасительным разговорам в кабинетах на Старой площади: ты ему про конкретные факты, а он тебе про угнетенных Африки и классовую борьбу.

Хозяин устало опускает тяжелые веки, и невидимая тога с малиновым подбоем величавыми складками опадает книзу: он слышал это десятки, может быть, даже сотни раз из той самой многолюдной

пустыни, что расстилалась вокруг него, и так же десятки, а может быть, сотни раз ему нечем было помочь и почти нечего ответить.

— Ах, месье Максимов, месье Максимов, — из-под набрякших век на меня излилась его младенческая доверительность, — никакой классовой борьбы в природе не существует, вот уже сотни лет в мире происходит единственная смертельная борьба — между крупной и мелкой буржуазией, и они используют в этой борьбе за свой материальный и душевный комфорт все остальные классы вместе с их идеями, а после победы оставляют бывших союзников на произвол судьбы. Буржуа своими вставными челюстями перемололи и приспособили себе на потребу все самое лучшее и святое, что выстрадано человечеством: свободу, культуру, религию. Для того, чтобы остаться личностью, во все времена нужно было обладать мужеством и совестью; у буржуа, к сожалению, отсутствует и то и другое, у него есть только челюсти и животная приспособляемость. Буржуа — это орден, мафия, интернационал, если хотите, буржуа-лавочник и буржуа-интеллектуал ничем не отличаются от буржуа-революционера и буржуа-партайгеноссе. Вы, наверное, заметили, как при всех политических и национальных различиях они быстро находят общий язык: денежные воротилы и вчерашние экспроприаторы, снобы с Сен-Жермен де Пре и московские эстеты в штатском, гуманисты с автоматами Калашникова наперевес и угандийский людоед в фельдмаршальских регалиях, знакомый нам с вами президент с замашками либерального аристократа и вьетнамский палач, еще не отмывший с рук крови своих соотечественников. Их тьма тем и имя им — легион.

Он снова опускает веки, а я вдруг улавливаю наплывающий издали гулкий топот множества копыт. Топот растет, разрастается, набирая и набирая силу, пока, наконец, не заполняет меня целиком. С бешеным

сопением и хрипом, источая вокруг терпкий запах азартного пота и разбрызгивая впереди себя клочья слюны и пены, сквозь мою немощную душу течет, валит, ломится хищное, жестокое, воинственное стадо с глазами, подернутыми кровавым туманом, и заскорузлым рогом наизготовку. Поначалу в этом сплошном хрипе и топоте не улавливается ничего членораздельного, но постепенно из мешанины хаотических звуков начинает складываться некая, смутно похожая на человеческую, речь...

2

Профессор. Интеллектуал. Одно время был даже атташе в некой захолустной банановой республике. Прогрессивен до кончиков своих обгрызанных ногтей. В чувственных губах дорогая сигаретка, бокал с шампанским в небрежно откинутой в сторону руке. Говорит, лениво растягивая слова, с такой высокомерной небрежностью, будто все, что может сообщить ему собеседник, он знает давно из первоисточника.

— Вы, — спрашиваю (речь идет о России), — «ГУЛаг» читали?

— Нет, — рассеянный взгляд куда-то наискосок от меня, пепел осыпается на лацкан смокинга, — и читать не намерен: у меня есть мнение, и вы, пожалуйста, не путайте меня вашими фактами.

И тут же, забыв обо мне, отплывает по направлению своего взгляда к новому и явно более желанному для него объекту. Вывернутые ноздри интеллектуала при этом плотоядно раздуваются в предвкушении добычи, и мне явственно слышится, как под смокингом у него уверенно поскрипывает его носорожья шкура.

Этот в другом роде. Рубаха-парень. Свой в доску. Последнее отдаст, благо отдавать нечего, все вложено в ценные бумаги, переписанные для пущей надежности на жену. Весь в аккуратно обтрепанных джинсах, хотя по возрасту и брюшку ему бы впору носить теплый халат и шлепанцы. Продуманно патлат и нечесан, в постоянной степени небритости, будто борода временно остановилась в росте: флер возвышенности души, наводимый по утрам у искусного парикмахера. Работает в сверхпередовом, супермодном журнале с разрушительными идеями и уклоном в гомосексуализм. Стремительно носится по Парижу, зорко не замечая никого и ничего вокруг.

— Здравствуйте, — останавливаю, — перевели мне вчера статью из вашего журнала об одном уважаемом профессоре, который, по-вашему, будто бы сотрудничал с оккупантами, а знающие французы утверждают, что он был активным участником Сопровитвления. Сделайте милость, просветите.

Он снисходительно, словно дедушка-добряк немышленишша-внучонка, похлопывает меня по плечу:

— Не волнуйтесь, это такая правая сволочь, что о нем все можно. Адью.

И с невидящей стремительностью улетучивается дальше, лихо шлепая по асфальту каучуковыми копытами от «Бали».

С этим мы только что познакомились. Тих, вкрадчив, с постоянной полуулыбкой на бесформенном или, как у нас в России говорят, бабьем лице. Глаза грустные, немигающие, выражаясь опять-таки по-русски, телячьи. Знаменит. Увенчан. Усеян. И так далее, и так далее. Широко известен также разборчивой отзывчивостью и слабостью к социальному терроризму.

Битый час слезно молю его вступить на предстоящем заседании ПЕНа в Белграде за погибавшего в то время во Владимирской тюрьме Володю Буковского.

— Да, да, — мямлит он расслабленными губами, — конечно, но вы не должны замыкаться только в своих проблемах. В мире много страданий и горя, кроме ваших. Нельзя объяснить многолетней индусской женщине ее нищету феноменом ГУЛага. Или посмотрите, например, что творится в Чили. Я уже не говорю о Южной Африке...

«Господи, — пристыженно клянусь я себя, — что ты пристал к человеку со своими болячками! У него сердце кровью обливается за всех малых сих. Ведь каково ему сейчас в роскошной квартире с его скорбящей душой, когда кровожадные плантаторы лишают несчастных папуасов их доли кокосовых орехов! Поимей совесть, Максимов!»

— Да, — вздыхаю сочувственно, пытаюсь разделить с хозяином хотя бы часть его скорби, — действительно ужасно. Возьмите тоже восточных немцев, которые к вам бегут. Стреляют, знаете ли, как зайцев, куда это годится!

Собеседника моего словно подменяют. Бабье лицо каменеет, в телячьих глазах — холодное отчуждение:

— А зачем бежать? Эту проблему надо решать за столом переговоров или по дипломатическим каналам. И вообще, самый опасный вид насилия — это все-таки эксплуатация. Прежде всего надо справедливо распределить материальные ценности. Вы же христианин, — он даже откидывается на спинку кресла, считая этот свой довод неотразимым, — Христос тоже прежде всего делил хлеб.

В отвердевшем, с горячей поволокой взгляде его — торжество уверенного в себе триумфатора. И невдомек этой закаменевшей во лбу особи, что Сын Божий делил Хлеб С в о й и д о б р о в о л ь н о, а он жаждет делить ч у ж о й, к тому же с помощью автомата и наручников.

Этот вызвался говорить со мною сам, с явным намерением осадить неопита, поставить на место, научить уму-разуму. Едва усевшись за стол в маленьком ресторанчике на рю дю Бак, он спешит ошарашить меня вызывающим постулатом:

— Что это вы все кипятитесь: правда, правда! Если есть право на правду, значит, есть право на ложь.

Довод ему кажется убийственно обезоруживающим. Впрочем, таким этот довод казался и Смердякову, просто мой визави не потрудился внимательно прочесть «Братьев Карамазовых». Хотя, наверное, вообще не перелистывал, ему это, по-моему, ни к чему: он книжек не читает, он их пишет. Кроме того, заведует восточноевропейским отделом в уважаемой, с прототалитарным налетом газете. Был корреспондентом в Москве. Но, как истый наследник отечественной династии носорогов, ничего не забыл и ничему не научился. Повторяет зады Смердякова и Геббельса, а уверен, что открывает политическую Америку.

Кстати, о докторе Геббельсе. С этим самым доктором связано имя еще одного представителя исследуемой породы. Главный редактор популярного бульварного еженедельника розовой ориентации. Еще в сорок пятом, то есть перед самым концом Рейха, сотрудничая в ведомстве вышеозначенного доктора, призывал беспощадно уничтожать всех, кто выступает против Гитлера. Теперь специализируется на разоблачении русских и восточноевропейских диссидентов, обвиняя их в реакционности и симпатиях к фашизму. Прямо скажем, весьма пикантная метаморфоза! Мог ли представить себе мой отец, погибая в бою под Смоленском, или мои дядья, оставившие на последней войне добрую треть своих конечностей, что их убийцы, верные выученики Гитлера, спустя тридцать лет будут читать их детям политические моралите! Такие времена!

Его приятель и собутыльник. Директор издательства в почтенном деле консервативного направления. В прошлом плохонький писатель-неудачник. В гешефте же преуспел. Открыто кокетничает своей дружбой с просоветскими интеллектуалами. Картинная выправка эсэсовского офицера. Всегда в окружении девиц известного пошиба. Любит красивую жизнь, которую копирует с плохих кинолент тридцатых годов: трость, коктейль, монокль.

— Сложная ситуация, — волнуясь я по поводу португальских событий, — если дело пойдет так дальше, то неминуема правая или левая диктатура.

— Зачем же правая? — Он смотрит на меня стоячими глазами, в которых нескрываема издевка: на, мол, тебе!

И театрально откланивается, отправляясь обедать к только что освобожденному сподвижнику Гитлера, с которым у него очередной гешефт.

Двое в почти семейной компании. Попали случайно: друг пригласил. Оба востренькие, хваткие. Поначалу приглядываются, прислушиваются. Постепенно начинают вставлять одно-другое словцо — так сказать, вживаются в среду. Он — врач накануне пенсии, она — просто жена, но явно с запросами, из эмансипированных. Компания, в основном, русская, и, естественно, разговор кружится вокруг «проклятых» вопросов.

Окончательно освоившись и выслушав множество отечественных историй, одна другой безысходнее, он выдвигается остреньким личиком к середине стола:

— Ничего подобного! Вы необъективны, как всякие эмигранты. Мой брат постоянно бывает в Москве по делам службы и ничего похожего там не встречал. Вы недавно на Западе и еще видите все в розовом свете, а между тем здесь происходят вещи, куда более отвратительные, чем этот ваш пресловутый ГУЛаг.

— К примеру?

— К примеру, бесчеловечные преследования гомосексуалистов! — запальчиво прорывается тот упрямым носом к собеседнику под одобрительные кивочки своей эмансипированной половины. — Преступное ограничение свободы душевнобольных происходит у всех на глазах, и общество молчит. Это чего-нибудь да стоит?

Конечно, стоит! Стоило бы также запереть тебя, взбесившийся от переизбытка обильной жратвы господин четырехногий, в лагерь усиленного режима, где абсолютно свободные от всякого ухода умалишенные сделали бы тебя пассивным гомосексуалистом, с тем, чтобы ты отстаивал дорогие тебе идеалы половой свободы с помощью собственного зада. Но пока — скажи себе дальше, господин носорог от медицины!

И еще один экземпляр с тою же носорожьей хваткой. Неопределенного возраста, пола и даже национальности. То ли офранцуженная русская, то ли обрусевшая француженка. Воплощает собою полное единство формы и содержания: всем природа обделила, как Бог черепаху. Прodelала извилисто целеустремленный путь от французской компартии до советского сыска. Подвизается то ли секретарем, то ли соглядатаем в комитете то ли физиков, то ли химиков, то ли зубных врачей. Комитет, впрочем, не занимается ни физикой, ни химией, ни зубными протезами, а исключительно Правами Человека, причем в мазохистском духе. Когда у партаймадам осторожно спрашивают об удивительных метаморфозах ее общественной карьеры, она устремляет на любопытствующих торжествующий взор рыбьего колера:

— Диалектика!

Интересно бы знать заранее, каким диалектическим манером сумеет вывернуться она, когда ее наконец приведут с кольцом в ноздре в следственное стойло, где будут разбираться дела носорогов — стукачей,

бывших на подножном корму у советского гестапо?

Теперь следующий. По миротворческой, так сказать, линии. Перековавшийся на голубя мира ястреб холодной войны. Перековывался без отрыва от основного производства по окончательному преобразованию европейской социал-демократии в услужливую разновидность еврокоммунизма. Попивает. Слаб к женскому полу. С годами становится все слезливее. От умиления обплакал пиджачные лацканы почти у всех нынешних заплечных дел мастеров от Брежнева и Кастро до Герека и Амина Дады включительно. Завидует: ведь как здорово устроились, никакой тебе оппозиции, сплошная лояльность!

В ответ на просьбу принять и выслушать Буковского небрежно цедит:

— Буковский не из числа моих московских друзей.

Что правда, то правда. У него в Москве другие собеседники, собутыльники, соратники. Те самые, которые запытали в подвалах Лубянки русскую социал-демократию, те самые, по законам которых социал-демократическая деятельность приравнивается у них к уголовному преступлению, те самые, что приказывали своим германским сотоварищам выдавать немецких социал-демократов гестапо, те самые, что стоят за спиной восточноберлинских пограничников, стреляющих в спину его бегущим на Запад соотечественникам. Хороши друзья, ничего не скажешь!

Было, было и это было! В семнадцатом, еще двадцать четвертого октября, незабвенный эсер* бесновался в своем кабинете в Зимнем: «Опасность грозит нам только справа!». Гучков ему, видите ли, с Родзянкой грозили, а бежать ему на другой день пришлось с ними вместе и в одном направлении. Как говорится, ноздря к ноздре, рог к рогу.

* А. Керенский.

Газетная сирена. Ниспровергательница основ из благородных. В сорок пятом еле унесла ноги вместе с графским титулом и бриллиантами из Восточной Пруссии. Основала еженедельник, прониклась новыми веяньями. И с тех пор, как сказал поэт, просит бури. Из русского инакомыслия признает только инакомыслие с полицейским оттенком.

— Солженицын и «Континент» обманывают Запад, у меня сведения из самых достоверных источников.

Охотно верю, учитывая круг и качество ее московских знакомств. Только куда дальше-то потащите свои бриллианты, когда придет черед уносить ноги и от этих знакомых, ваше прогрессивное сиятельство!

Носорог в сутане. Зрелище малопочтенное, но не лишенное любопытства. Блистает светскостью и эрудицией. Изящен в движениях, словоохотлив. Подхватывает любую тему. Говорит уверенно, со знанием дела. Из сыплющихся цитат и ссылок можно было бы вязать елочные гирлянды. Распираем идеей исторического компромисса:

— Мы современные люди и должны смотреть в глаза политической реальности. Марксизм наряду с христианством нашел пути к человеческому сердцу, и наш долг — потесниться.

Что говорить, все науки превзошел парнокопытный, во всем разбирается, даже в дерьме, но вот как в нем совмещается Господь Бог и «политическая реальность» вкупе с марксизмом, этого из него клещами не вытянешь. Тут он без слов бодаться кидается.

И наконец, целое стадо. Женская половина в декольте или вызывающих брючных парах, мужская — смокинги с маоистскими френчами вперемешку: весь цвет местных радикалов. Разговоры без дураков, на высшем социальном уровне: Чили, Черная Африка,

терроризм как форма классовой борьбы и опять же — угнетение гомосексуалистов. Все как у людей, парижский шик.

Меня чуть не силком затаскивает в эту обитель рыцарей без страха и упрека в Баден-Бадене мой чешский друг. На этом радикальном Олимпе только две черные вороны реакции среди белоснежной стаи мучеников прогресса: я и он.

«Чего-то ты недопонимаешь, брат, — сетую я про себя, — ведь вот волнуются люди о чужой судьбе, сытно, вольготно живут, а волнуются, значит, совесть не потеряли».

Вконец расчувствовавшись, неуверенно предлагаю: — Господа, имею при себе кое-какую наличность, давайте скинемся — как говорится, шапка по кругу — да и пошлем в Красный Крест для вспомоществования страждущим братьям Африки или Латинской Америки.

Смотрят на меня так, будто я, простите, воздух в их компании испортил. Освободить они, конечно, готовы, помогать — тем более, но только не за свой счет.

По домам стадо разъезжается на «мерседесах» новейших марок. К автобусной остановке спешат только два реакционера: мой чешский друг и я.

Радиосообщение: «Вчера в Пизе из проезжавшей на полном ходу машины типа Ферари последней модели двумя выстрелами тяжело ранен секретарь местного отделения христианско-демократической партии, ехавший к месту службы на велосипеде».

Метаморфоза истории, стороны поменялись местами: имущие восстали на неимущих.

Но это о тех, кто эксплуатирует, а вот те, кого эксплуатируют.

Парижский таксист. Рыж, плотен, лет сорока с небольшим. Заискивающе беспокожно косит в мою сторону:

— Месье иностранец?

— Да, русский.

— О, русский! Из Советского Союза?

— Нет, эмигрант.

Он мгновенно тускнеет:

— Конечно, я понимаю, вы, наверное, интеллигент, вам трудно в коллективном обществе, но зато у рабочего человека там масса возможностей. И потом бесплатное лечение...

— Почему бы вам туда не переехать, думаю, что французские власти не станут чинить вам препятствий?

Сопит. Молчит. Я его понимаю: бесплатное лечение не та цена, за которую он отдаст свое право на забастовку и предобеденный аперитив.

Актовый зал Гамбургского университета. Добрая сотня дремучих бород вперемешку с веерными буклями свистит, беснуется, скандирует, не давая мне говорить:

— Долой социалимпериализм! До-лой со-ци-ал-им-пе-ри-а-лизм! До-лой со-ци-ал-им-пе-ри-а-лизм!

Какую связь они нашли между мной и социалимпериализмом, мне неизвестно, да это им, по-моему, совсем неважно. Важно обескуражить, сбить с толку, подавить, так сказать, психологически. Знакомый почерк, знакомая раскладка! И сколько встречал я их на лагерных дорогах, бывших мальчиков, бывших энтузиастов, бывших рыцарей революции: черных, оборванных, потерявших человеческий облик! Для тех, кто сейчас молчаливо стоит за их спиной, кто дирижирует их митинговыми вакханалиями, они — только временное подспорье, которое после завоевания власти мо-

ментально списывается со счета. Но попробуй, докажи им это сегодня.

К тому же я уверен, что если поскрести им сейчас их ультрасовременные бороды, то под ними тут же обнаружатся вполне квадратные подбородки обыкновенных штурмовиков.

Молодой философ. Беден. Горяч. Искренен.

— Правые кричат: «Демократия не для тех, кто выступает против демократии!» — Длинное, с неожиданно мягким подбородком лицо его искажается неподдельной болью, — но ведь то же самое кричат на ваших процессах советские обвинители!

Да-да, мой мальчик, совершенно верно. Одна только крохотная разница: здешнюю демократию установил и контролирует избиратель, а тамошнюю — сами советские обвинители. Разница, может быть, действительно небольшая, но, на мой непросвещенный взгляд, весьма существенная.

Студент. Не так давно правдами и неправдами выбрался из Польши. Сидим с ним на подоконнике в коридоре Колумбийского университета. Смотрит на меня прозрачным оком альбиноса, в упор, без тени смущения:

— Америке грозит фашизм!

Говорят: чужой опыт ничему не учит. Оказывается, и свой учит не всегда. Хотя, кто знает, какого рода школу, училище, академию ему пришлось пройти?

Итальянский писатель. Широко известен в Советском Союзе парой сносных книг и слабостью к русской кухне. Чем-то смахивает на Муссолини, только череп не брит, а действительно первозданно лыс. Голову носит так, будто на ней — чалма.

— Что вы мне говорите, — запальчиво кипятится он на званом приеме в честь двух русских писателей-

диссидентов, — будто в Советском Союзе кого-то не печатают! Меня печатают!

И не поймешь, чего больше в этом — глупости или цинизма?

А вот его соотечественник совсем в другом роде. То ли сын, то ли внук одного из ближайших приятелей дуче. Тощ, благообразен, потасканно опрягнен, словно только что из химчистки. Протягивает сухую клешню для рукопожатия, скорбно воздевает склеротические очи к потолку, вздыхает ностальгически:

— Не верьте уличным крикунам, Гитлер преступно исказил светлые идеалы фашизма!

И с обреченным выражением попранной добродетели на восковом лице направляется мимо меня в зал международного симпозиума по Правам Человека. Гуманизм, видно, каждый понимает по-своему.

3

Топот, топот, топот. И храп. И слюна с пеной — веером. И теперь уже со всех сторон. Наступают, ломятся, смыкаясь в кольцо. Причем наши отечественные экземпляры, словно особи одной породы, как две капли воды зеркально повторяют здешних. Ничего не поделаешь, естественный, так сказать, отбор.

4

В прошлом белый генерал. Можно сказать, орел степной, казак лихой, хотя уже около ста. Дорога у него позади — от Новочеркасска до Феодосии — вся в виселицах, как в портретных рамах. Но под старость в эмигрантском прозябании стал истекать охранительным патриотизмом. С атташе из советского посольства

водой не разольешь, так сказать, два столпа великой державы, не мытьем так катаньем, сбылась голубая мечта: пол-Европы под сапогом у России, знай наших!

Провожая после скромного застолья дипломата, натасканного в родном отечестве по сыскной части, умильно шамкает ему вслед вставными челюстями:

— Вот это патриот, растуды твою качель, нашего — казацкого корня, не то что энти самые босяки, как их, туды-растуды, диссиденты!..

Дай Бог, как говорится, им обоим крепкого здорovia и долгих лет; глядишь, повезет: из собутыльников в сокамерники попадут, где сольются, наконец, в совпатриотическом экстазе навсегда.

Киноартист. Режиссер. Лауреат. Деятель. Наследник Станиславского. Перманентно перед или после запы. Увешан всеми побрякушками государства, но жаждет большего, а посему подвизается в отечественном сыске на ролях «потрясателя основ»: работа во всех отношениях хлебная, хотя и требующая известной изворотливости.

Вещает в Нью-Йорке:

— Мы энтих картеров, которые принимают в своих белых домах каких-то там диссидентов, интеллигентов, знать не знаем и знать не хотим. — Коронный киножест: ладонь ребром вперед, локоть плавно в сторону. — Мы артисты и душа наша за мир и дружбу, взаимовыгодную торговлю и соглашение СОЛТ-два. — В общем: хинди — руси, бхай-бхай!

Разумеется, никаких, как он выражается, картеров этот гусь знать не знает, но газету «Правда» цитирует добросовестно, слово в слово. Школа сказывается: работает по системе Станиславского, в соответствии со сверхзадачей.

Трибун. Горлан. Главварь. Что хотите. Стихами буквально испражняется. Кипит благородным возму-

щением. Разоблачает. Клеймит. Кого? Кого угодно, кроме собственных носорогов в штатском. Что? Что угодно, кроме людоедства в собственной стране. Но в то же время намекает. Дает понять. Проводит аллюзии. На этом стихотворном мародерстве сделал себе состояние и полускандалную известность. Но жанр одряхлел, золотое время дармовых кормов кончается.

— Проходит моя слава, как вода сквозь пальцы, — жалуется, болезный, приятелю, пропивая в лондонском кабаке гонорар за недавнее изобличение язв капитализма, и белые глаза его при этом истекают мутной слезой. — Люди неблагодарны.

Умри, Денис, лучше не скажешь! Но, воленс-неволенс, какой поэт, такая и благодарность.

Живописец. Это значит — живо пишет. Наш — даже слишком живо. Увековечил уже с полдюжины царствующих и не менее дюжины властвующих особ обоего пола, разного возраста и разнообразного калибра. Работает в принципиально иконописной манере: Лоллобриджиду — под Матерь Божию, Брежнева — под Христа в маршальских регалиях. Поговаривают, за Амина Даду взялся, расписывает в святоотеческой манере, хочет художественно прозреть в людоеде черты то ли Иоанна Крестителя, то ли Симеона Затворника. В духе, так сказать, исторического компромисса.

Но после недавнего вояжа по Европе творческая Дуняша неожиданно затосковала: другой славы возжаждалась, извините за выражение, героической. Сидя в своей московской опочивальне среди французской мебели Людовика какого-то, собрал, чтоб добро не пропадало, все прошлые модели на одном холсте, добавил туда для оппозиционного оживления Спасителя, опального прозаика, самого себя и — в живописный

Самиздат: нишкните, завистники, мы тоже, мол, не лыком шиты!

Не картина, а целое скопление, созвездие, содружество, конгресс гигантов, можно сказать, яблоку некуда упасть. Видно, по этой самой причине в сей эпохальной мистории двадцатого века только Иванушке-дурачку места не нашлось, а скорее всего, нету их теперь, Иванушек-дурачков. Перевелись.

5

«Дорогие друзья!

Со дня моего отъезда на Запад прошло более четырех лет. Пора, что называется, подвести первые итоги. Оглядываясь теперь на прошлое, я должен с горькой определенностью признать, что после своего отъезда потерял куда больше, чем приобрел. Разумеется, не о квасной ностальгии речь, этим я не страдаю, а если и поскребет на сердце иногда, мне стоит только добежать до газетного киоска на Этуаль, полистать родную «Правду» — и все как рукой снимает. Куда тяжелее для меня потеря среды, то есть тех людей, судьбы которых так или иначе переплелись с моею, той языковой стихии, в которой складывался мой человеческий и литературный слух, того горделивого сознания своей правоты, какое дается человеку участием в общем противоборстве темной и безусловно злой силе. В том общественном микромире, который с годами мы сумели создать вокруг себя и в себе на родине, царила ответственная окончательность нравственных законов: нельзя убить, нельзя солгать, нельзя слукавить. Это был восхитительный остров взаимопонимания, где каждый ощущал каждого с полуслова, с полувзгляда, с полунамека, а то и на расстоянии. Иногда мы просто молчали по телефону (о, эти отечественные телефоны!), и это молчание было для нас

куда красноречивее самых пылких объяснений или речей.

Поэтому для человека моего склада и характера первым и, пожалуй, самым мучительным испытанием на Западе явилось полное смещение спектра этических, эстетических и политических критериев, принятых здесь в оценках людей, событий, ценностей. Оказывается, что в общем-то все можно и все дозволено. Можно черное назвать белым и — наоборот. Дозволено солгать и убить, если это касается «палачей» или «угнетателей», или «агентов империализма» (кстати, под последнюю категорию легко подпадает и ваш покорный слуга со товарищи, так что еще, как говорится, не вечер), а кто из ближних считается таковым, в каждом случае определяет сам идеологический субъект.

Но не дай вам Бог, если вы попробуете, хотя бы робко, указать на некоторое несоответствие подобной диалектики с элементарными принципами демократии, вас тут же обвинят в обскурантизме и скоренько зачислят в лагерь черной реакции, а это обойдется вам, прямо скажем, недешево: перед вами моментально захлопывается большинство дверей, вы незаметно для себя оказываетесь в профессиональной и политической изоляции. Тяжесть этого негласного террора испытали на себе почти все те, о ком в современной России говорят только с восхищением и благодарностью: Орвелл, Ионеско, Кестлер, Конквест, Марсель, Арон и многие-многие их единомышленники.

Скажу наперед: я не могу, не хочу и не намерен принять политический плюрализм, который включает в себя прошлых, нынешних или предстоящих заплечных дел мастеров, создателей собственных ГУЛагов, какими бы благородными целями они ни руководствовались. Для меня слово «коммунизм» было и остается синонимом слов: «реакция», «мракобесие», «фашизм». И это с моей стороны не публицистическая фигура, а ответственное обвинение, ибо на протяжении послед-

него столетия с этим словом связаны только грязь и кровь, по сравнению с которыми все гитлеровские злодеяния кажутся теперь жалкими потугами истерических подражателей. Но если уж род человеческий до того духовно и политически вырос, что готов распространить свой плюрализм и на них, то почему же оно — это человечество — не нашло еще в себе мужества распространить этот плюрализм на Гесса, который по составу своего преступления им и в подметки не годится? Тем временем Гесс (и по заслугам!) находится в Шпандау, а они заседают в европейских парламентах или носятся по миру с идеей «социализма с человеческим лицом».

В чем же все-таки тогда дело?

Ответ на этот вопрос малоутешителен. Ибо дело здесь не в очередном социальном заблуждении, а в истине растительной приспособляемости известной части «диалектически мыслящих» интеллектуалов к политическим обстоятельствам. Новые мифы не только позволяют им безболезненно забыть свое прошлое, списав собственные преступления за счет издержек философского поиска, но и выгодно эксплуатировать эти мифы себе на материальную потребу.

К сожалению, не отстают от них и наш брат, разумеется, из тех, кто поплоче, но посмекалистее. Вчерашние религиозные неопиты, принципиальные противники однопартийной системы и организованной экономики, отчаянные сионисты вдруг оборачиваются здесь закоренелыми неомарксистами, сторонниками «третьего пути», горячими поклонниками дела палестинского освобождения. Писатели без книг, философы без идей, политики без мировоззрения, они сделали моральную эластичность своей профессией, начисто выхолостив из памяти цели и пафос того самоотверженного движения, из которого вышли. Расценивая свои подлинные или мнимые заслуги перед оставленным отечеством не как вынужденную дань борьбе,

а как чековую книжку на получателя, они используют в своих корыстных целях все трагические противоречия современного мира: национализм, антисемитизм, религии. Теперь не редкость, когда очередной эмигрантский вояжер последнего призыва прежде, чем дать кому-либо интервью о политзаключенных или правах человека, заложив ножку на ножку, деловито заявляет: «Деньги на бочку!».

И стыдно, и горько, и пакостно от всего этого на душе до невозможности. И поэтому вдвойне горше и обиднее, когда, в яростном кольце этого носорожьего фронта, оттуда, со стороны тех, кому привык верить и на кого надеяться, вместо слов поддержки только и слышишь: не то, не так, не туда! Неужели и впрямь оттуда, из-за стены глушений и пограничных рогаток, виднее, что здесь «то», «так» и «туда»? Не естественнее ли было бы для нас с вами продолжать общаться, как бывало, на взаимном доверии и понимании с полуслова, с полувзгляда, с полунамека, а то и просто на расстоянии? Вы — там, мы — здесь. Ведь каждый из нас остался тем же, чем был на родине, со своими взлетами (если таковые были!) и падениями (если таковые имелись!), со всеми достоинствами и недостатками, только сделались намного печальнее и старше. Неправое дело, по недомыслию или злонамеренности, может совершить один, даже хорошо знакомый вам человек, в том числе и я, но рядом со мною стоят люди, которых, хочу надеяться, вы, как и прежде, любите: Иосиф Бродский, Володя Буковский, Толя Гладили, Наташа Горбаневская, Эмма Коржавин, Эрик Неизвестный, Вика Некрасов, каждый со своим кругом связей и привязанностей. До последнего дня сопровождал всем нам и чистейшей души Саша Галич. Согласитесь, столько самых разнообразных людей не могут, сговорившись, делать одно неправое дело. Да, могут быть ошибки, срывы, невнятности, но в целом наше дело делается во имя тех же идеалов, какие объе-

диняли нас с вами на родине. Ради этого мы живем, думаем, стараемся, в меру своих сил и разума, работать, отбиваясь на четыре фронта от беспощадного носорожьего натиска. Насколько бы легче нам было в этом отчаянном единоборстве, если бы мы ощущали спиною вашу поддержку, хотя бы молчаливую. Окружение, за кольцом которого нет «своих», смертельно и для нас, и для вас. Если же вы есть, остались, ждете, то я уверен, мы в конце концов прорвемся друг к другу».

6

Рог к рогу. Ноздря к ноздре. Слюна с пеной — веером. Ломятся, каре на каре, смыкаясь в кольцо. И пяточок свободной от их топота земли, где стоит одинокий человек в свитере, который чудится мне белой тогой с малиновым подбоем, становится все крохотнее и теснее. Они обтекают его со всех сторон, кося кровавым глазом на обреченного чудака, не желающего им уступить. Вот вам наша рука, Эжен, мы вместе падем под их копытами, но все-таки не уступим. Мы хотим погибнуть людьми. Идущие на смерть приветствуют тебя!

Дорогу носорогам! Дорогу!

Париж. Июль 1978

Вместо эпилога

7.2.79

Владимир Емельянович!

Боюсь, что недопустимым тоном "Саги о носорогах" Вы перебрали по очкам.

Мне кажется, что пришла пора отступить.

Осмелюсь рекомендовать следующий порядок действий:

- 1) Публично извиниться.
- 2) Остановить печатание отрывков в "Русской Мысли".
- 3) Воздержаться от публикации этого сочинения в "Континенте" №19.



М. Розанова

Р. С. Простите, но конию этой записки я отправляю в "Русскую Мысль".

СТИХИ

* * *

Вверху хрусталем и хромом
В антракте зажгли звезду.
Раскланиваюсь со знакомым
В четырнадцатом ряду.

А сцена пуста. Не там ли,
Вперед наклонясь чуть-чуть,
Просил Офелию Гамлет
В молитве его помянуть?

Я страх почувствовал некий,
Что Гамлет просил о том
Уже в семнадцатом веке.
Попросит в двадцать шестом.

И перед этую тайной,
Что столько веков живет,
Я — только совсем случайный
Незначущий эпизод,

И что искусство мудрее
Во многом жизни самой,
И что костюм устареет
Не гамлетовский, а мой.

Что здесь, у самого края
Сцены, живущей века,
Зрителя я играю,
И роль моя коротка.

* * *

Все, кажется, в полном порядке.
Не злюсь я на долю мою.
Подстриженным деревом в кадке
У двери вокзальной стою.

В клоках паровозного дыма
Снует по перрону народ.
Иной пробегающий мимо
Мне в кадку окурок швырнет,

Иль старую бросит газету,
Иль кинет пустой коробок...
Но вот уже слышится где-то
Последний, прощальный звонок,

И в арке ночного пролома
Вагоны исчезнут за тьмой.
Одни уезжают из дома,
Другие приедут домой.

И мне бы усталые корни
В родимую землю уткнуть,
И мне бы огонь семафорный
И рельсовый сказочный путь.

Узнал бы, как в деле проворен
И как беспощадно остер,
Срубая деревья под корень,
Гуляет родимый топор.

* * *

Вот она — эпоха краха
С рыхлой суматохою!

Трепыхаемся от страха,
На ухабах охая.

Вот она — эпоха-пряха,
А какая выгода?
По смирительной рубаше
Каждому для выхода!

Вот она — эпоха-сваха,
А свяжись с пройдохой, —
Вместо Гретхен, бедолага,
Будешь жить с Солохой!

Вот она — эпоха-шлюха,
Хриплая, махровая!
Если хочешь — с нею плюхай
На постель пуховую.

А ресницы бахромою,
Точно у цыганочки,
Только быть тебе Хомою,
Да верхом на панночке!

Ах, эпоха-запивоха!
Как разит сивухой!
На тебя дохнет эпоха —
Так и рухнешь рюхой!

Вот она — эпоха спеха,
Скорости разаховой!
От Мисхора до Палеха
В полчаса отмахивай!

Любит бляхи щеголиха,
Вешает дуреха нам,
Чтоб прохаживаться лихо
Чучелом гороховым!

И вот с этой-то эпохой
Я по свету трюхаю —
Если плохо — с хлебной крохой,
Хорошо — с краюхою!

А эпоха-то с подвохом,
С плахою да с обухом!
А у роковой эпохи
Раковая опухоль!

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Мне из Москвы писали
(Участвовать пригласив)
О том, что хранится в ЦГАЛИ
Наш семейный архив.

Задуматься есть причина,
Что там ни говори.
Воображаю, как чинно
Выглядит все внутри.

За стеклами в морозилке
Хранится родитель мой,
Положен с пулей в затылке.
Дата: тридцать восьмой.

А рядом с отцом на полке
Заполнены все места —
Сплетни и кривотолки,
Доносы и клевета.

В отделе того же года
Хранится газетный крик.
Вырезка — «Враг народа»
Болтается как ярлык.

Тут же и комнатенка
С полуслепым окном,
Куда меня, как котенка,
Вышвырнул управдом.

Наверно, среди архива
Им тоже место нашлось —
Знакомым, что торопливо
При встрече глядели вкось.

Тут даже оскал разъяренный
Пса, угрожавшего мне,
Которого вдоль перрона
Охранник вел на ремне,

Когда в товарных вагонах,
Растянутых на версту,
Гуртом везли заключенных
Куда-нибудь на Воркуту.

И думали вы, что сунусь
С воспоминаньями я
В архив, где хранится юность
Растоптанная моя?

ПРОЩАЙ, ГЕЛИЙ СНЕГИРЕВ — НАШ ДРУГ!

Повторяем — наш друг! Много выпало на его сравнительно короткую жизнь: марксистские иллюзии, глубокое разочарование в них, попытка единоборства с целым государством, тюрьма, минутная и трагическая слабость, вырванная у него, как теперь оказалось, под пыткой, и, наконец, тяжелый недуг, от которого он так и не оправился.

Прощаясь сейчас с замечательным украинским писателем, нам хотелось бы еще раз подтвердить, как мы всегда гордились и продолжаем гордиться тем, что он был нашим другом, близким и дорогим нам всем человеком.

Люди уходят, но после них остаются их дела. После Гелия остались его книги, главная из которых — лирико-публицистическое исследование «Мама моя, мама...» навсегда останется в отечественной литературе как эпическая поэма великой печали и праведного гнева.

Сама история этой очищающей вещи станет еще одним скорбным свидетельством эпохи ГУЛага, эпохи, по которой потомки будут изучать безмерные бездны нашего исторического забвения.

Сейчас, оглядываясь на пройденный им путь, можно с уверенностью сказать, что при всех его взлетах и падениях, писатель оказался достойным своего назначения.

Еще раз, прощай, наш друг, Гелий Снегирев!

Редакция «Континента»

ЮБИЛЕЙНЫЙ МАЛЬЧИК

Таллин — город маленький, интимный. Встречаешь на улице знакомого и слышишь: «Привет, а я тебя ищу...» Как будто дело происходит в учрежденской столовой... Короче, я поразился, узнав, сколько в Таллине жителей.

Было так. Редактор Туронок вызвал меня и говорит:

— Есть конструктивная идея. Может получится эффектный репортаж. Обсудим детали. Только не грубите...

— Чего грубить?.. Это бесполезно...

— Вы, собственно, уже нагубили, — помрачнел Туронок, — вы беспрерывно грубите, Довлатов. Вы грубите даже на общих собраниях. Вы не грубите только когда подолгу отсутствуете... Думаете, я такой уж серый? Одни газеты читаю? Зайдите как-нибудь. Посмотрите, какая у меня библиотека. Есть, между прочим, дореволюционные издания...

— Зачем, — спрашиваю, — вызывали?

Туронок помолчал. Резко выпрямился, как бы меня лирическую позицию на деловую. Заговорил уверенно и внятно:

— Через неделю — годовщина освобождения Таллина. Эта дата будет широко отмечаться. На страницах газеты в том числе. Предусмотрены различные аспекты — хозяйственный, культурный, бытовой... Материалы готовят все отделы редакции. Есть задание и для вас. А именно. По данным статистического бюро, в городе около четырехсот тысяч жителей. Цифра эта до некоторой степени условна. Несколько условна и сама черта города. Так вот. Мы посовеща-

лись и решили. Четырехсоттысячный житель Таллина должен родиться в канун юбилея.

— Что-то я не совсем понимаю.

— Идёте в родильный дом. Дождитесь первого новорожденного. Записываете параметры. Опрашиваете счастливых родителей. Врача, который принимал роды. Естественно, делаете снимки. Репортаж идёт в юбилейный номер. Гонорар (вам, я знаю, это не безразлично) двойной.

— С этого бы и начинали.

— Меркантилизм — одна из ваших неприятных черт, — сказал Туронок.

— Долги, — говорю, — алименты...

— Пьете много.

— И это бывает.

— Короче. Общий смысл таков. Родился счастливый человек. Я бы даже так выразился — человек, обреченный на счастье!

Эта глупая фраза так понравилась редактору, что он выкрикнул ее дважды.

— Человек, обреченный на счастье! По-моему, неплохо. Может, попробовать в качестве заголовка? «Человек, обреченный на счастье»...

— Там видно будет, — говорю.

— И запомните, — Туронок встал, кончая разговор, — младенец должен быть публикабельным.

— То есть?

— То есть полноценным. Ничего ущербного, мрачного. Никаких кесаревых сечений. Никаких матерей-одиночек. Полный комплект родителей. Здоровый, социально полноценный мальчик.

— Обязательно — мальчик?

— Да, мальчик как-то символичнее.

— Генрих Францевич, что касается снимков... Учтите, новорожденные бывают так себе...

— Выберите лучшего. Подождите, время есть.

— Месяца четыре ждать придется. Раньше он

вряд ли на человека будет похож. А кому и пятидесяти лет мало...

— Слушайте, — рассердился Туронк, — не занимайтесь демагогией! Вам дано задание. Материал должен быть готов к среде. Вы профессиональный журналист... Зачем мы теряем время?..

И правда, думаю, зачем?..

Спустился в бар, заказал джина. Вижу, сидит не очень трезвый фотокорреспондент Жбанков. Я помахал ему рукой. Он пересел ко мне с фужером водки. Отломил половину моего бутерброда.

— Шел бы ты домой, — говорю, — в конторе полно начальства...

Жбанков опрокинул фужер и сказал:

— Я, понимаешь, натурально осрамился. Видел мой снимок к Фединому очерку?..

— Я газет не читаю.

— У Феде был очерк в «Молодежке». Вернее, зарисовка. «Трое против шторма». Про водолазов. Как они ищут, понимаешь, затонувший ценный груз. К тому же шторм надвигается. Ну, и мой снимок. Два мужика сидят на бревне. И шланг из воды торчит. То есть ихний подельник на дне шурует. Я натурально отснял, пристегнул шестерик и забыл это дело. Иду как-то в порт, люди смеются. В чем дело, понимаешь? И выясняется такая история. Есть там начальник вспомогательного цеха — Мироненко. Как-то раз вышел из столовой, закурил у третьего причала. То, сё. Бросил сигарету. Харкнул, извини за выражение. И начисто выплюнул челюсть. Вставную, естественно. А там у него золота колов на восемьсот с довеском. Он бежит к водолазам. «Мужики, выручайте!». Те сходу врубались: «После работы найдем». — «В долгу не останусь». — «С тебя по бутылке на рыло». — «Об чем разговор»... Кончили работу, стали шуровать. А тут Федька идет с задания. Видит, такое дело. Чем,

мол, занимаетесь? Строку, понимаешь, гонит. А мужикам вроде бы неловко. Хуё, моё, — отвечают, — затонул ценный груз. А Федя без понятия: «Тебя как зовут? Тебя как зовут?»... Мужики отвечают как положено. «Чем увлекаетесь в редкие минуты досуга?»... Музыкой, отвечают, живописью... «А почему так поздно на работе?»... Шторм, говорят, надвигается, спешим... Федя звонит мне в редакцию. Я приехал, отснял, не вникая... Главное, бассейн-то внутренний, искусственный. Там и шторма быть не может...

— Шел бы ты домой, — говорю.

— Подожди, главное даже не это. Мне рассказывали, чем дело кончилось. Водолазы челюсть тогда нашли. Мироненко счастлив до упора. Тащит их в кабак. Заказывает водки. Кирули. Мироненко начал всем свою челюсть демонстрировать. Спасибо, говорит, ребята выручили, нашли. Орлы, говорит, передовики, стахановцы... За одним столиком челюсть разглядывают, за другим... Швейцар подошел взглянуть... Тромбонист из ансамбля... Официантки головами качают... А Мироненко шестую бутылку давит с водолазами. Хватился, нету челюсти, увели. Кричит: «Верните, гады!». Разве найдешь... Тут и водолазы не помогут...

— Ладно, — говорю, — мне пора...

В родильный дом ехать не хотелось. Больничная атмосфера на меня удручающе действует. Одни фикусы чего стоят...

Захожу в отдел к Марине. Слышу:

— А, это ты... Прости, работы много.

— Что-нибудь случилось?

— Что могло случиться? Дела...

— Что еще за дела?

— Юбилей и всё такое. Мы же люди серые, романов не пишем...

— Чего ты злишься?

— А чего мне радоваться? Ты куда-то исчеза-

ешь. То безумная любовь, то неделю шляешься...

— Что значит — шляешься?! Я был в командировке на Сааремаа. Меня в гостинице клопы покуса-ли...

— Это не клопы, — подозрительно сощурилась Марина, — это бабы. Отвратительные грязные шлюхи. И чего они к тебе лезут? Вечно без денег, вечно с похмелья... Удивляюсь, как ты до сих пор не зара-зился...

— Чем можно заразиться у клопа?

— Ты хоть не врал бы! Кто эта рыжая вертля-вая дылда? Я тебя утром из автобуса видела...

— Это не рыжая вертлявая дылда. Это — поэт-метафизик Владимир Эрль. У него такая прическа...

Вдруг я понял, что она сейчас заплачет. А плакала Марина отчаянно, горько, вскрикивая и не щадя себя. Как актриса после спектакля...

— Прошу тебя, успокойся. Всё будет хорошо. Все знают, что я к тебе привязан...

Марина достала крошечный розовый платочек, вытерла глаза. Заговорила спокойнее:

— Ты можешь быть серьезным?

— Конечно.

— Не уверена. Ты совершенно безответствен-ный... Как жаворонок... У тебя нет адреса, нет иму-щества, нет цели... Нет глубоких привязанностей. Я — лишь случайная точка в пространстве. А мне уже под сорок. И я должна как-то устраивать свою жизнь.

— Мне тоже под сорок. Вернее — за тридцать. И я не понимаю, что значит — устраивать свою жизнь... Ты хочешь выйти замуж? Но что изменится? Что даст этот идиотский штамп? Это лошадиное тавро... Пока мне хорошо, я здесь. А надоест — уйду. И так будет всегда...

— Не собираюсь я замуж. Да и какой ты жених! Просто я хочу иметь ребенка. Иначе будет поздно...

— Ну и рожай. Только помни, что его ожидает.

— Ты вечно сгущаешь краски. Миллионы людей честно живут и работают. И потом, как я рожу одна?

— Почему одна? Я буду... содействовать. А что касается материальной стороны дела, ты зарабатываешь втрое больше. То есть от меня практически не зависишь...

— Я говорила о другом...

Зазвонил телефон. Марина сняла трубку.

— Да? Ну и прекрасно... Он как раз у меня...

Я замахал руками. Марина понимающе кивнула.

— Я говорю, только что был здесь... Вот уж не знаю. Видно, пьет где-нибудь.

Ну, думаю, стерва.

— Тебя Цехановский разыскивает. Хочет долг вернуть.

— Что это с ним?

— Деньги получил за книгу.

— «Караван уходит в небо»?

— Почему — караван? Книга называется «Продолжение следует».

— Это одно и то же. Ладно, говорю, мне пора.

— Куда ты собрался? Если не секрет...

— Представь себе, в родильный дом...

Я оглядел заваленные газетами столы. Ощутил запах табачного дыма и клея. Испытал такую острую скуку и горечь, что даже атмосфера больницы уже не пугала меня.

За дверью я осознал, что секунду назад Марина выкрикнула:

«Ну и убирайся, жалкий пьяница!»

Сел в автобус, поехал на улицу Карла Маркса. В автобусе неожиданно задремал. Через минуту проснулся с головной болью. Пересекая холл родильного дома, мельком увидел себя в зеркале и отвернулся...

Навстречу шла женщина в белом халате.

— Посторонним сюда нельзя.

— А потусторонним, — спрашиваю, — можно?

Медсестра замерла в недоумении. Я сунул ей редакционную книжку. Поднялся на второй этаж. На лестничной площадке курили женщины в бесформенных халатах.

— Как разыскать главного врача?

— Выше, напротив лифта.

Напротив лифта — значит, скромный человек. Напротив лифта — шумно, двери хлопают...

Захожу. Эстонцев лет шестидесяти делает перед раскрытой форточкой гимнастику.

Эстонцев я отличаю сразу же и безошибочно. Ничего крикливого, размашистого в облике. Неизменный галстук и складка на брюках. Бедноватая линия подбородка и спокойное выражение глаз. Да и какой русский будет тебе делать гимнастику в одиночестве...

Протягиваю удостоверение.

— Доктор Михкель Теппе. Садитесь. Чем могу быть полезен?

Я изложил суть дела. Доктор не удивился. Вообще, что бы ни затеяла пресса, рядового читателя удивить трудно. Ко всему привыкли...

— Думаю, это несложно, — произнес Теппе, — клиника огромная.

— Вам сообщают о каждом новорожденном?

— Я могу распорядиться.

Он снял трубку. Что-то сказал по-эстонски. Затем обратился ко мне:

— Интересуетесь, как проходят роды?

— Боже упаси! Мне бы записать данные, взглянуть на ребенка и поговорить с отцом.

Доктор снова позвонил. Еще раз что-то сказал по-эстонски.

— Тут одна рожает. Я позвоню через несколько минут. Надеюсь, всё будет хорошо. Здоровая мать... Такая полная блондинка, — отвлекся доктор.

— Вы-то, — говорю, — сами женаты?

— Конечно.

— И дети есть?

— Сын.

— Не задумывались, что его ожидает?

— А что мне думать? Я прекрасно знаю, что его ожидает. Его ожидает лагерь строгого режима. Я беседовал с адвокатом. Уже и подписку взяли...

Теппе говорил спокойно и просто. Как будто речь шла о заурядном положительном явлении.

Я понизил голос, спросил доверительно и конспиративно:

— Дело Солдатов?

— Что? — не понял доктор.

— Ваш сын — деятель эстонского возрождения?

— Мой сын, — отчеканил Теппе, — фарцовщик и пьяница. И я могу быть за него относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме...

Мы помолчали.

— Когда-то я работал фельдшером на островах. Затем сражался в эстонском корпусе. Добился высокого положения. Не знаю, как это вышло. Я и мать — положительные люди, а сын — отрицательный...

— Неплохо бы и его выслушать.

— Слушать его невозможно. Говорю ему: «Юра, за что ты меня презираешь? Я всего добился упорным трудом. У меня была нелегкая жизнь. Сейчас я занимаю высокое положение. Как ты думаешь, почему меня, скромного фельдшера, назначили главным врачом?..» А он и отвечает: «Потому что всех твоих умных коллег расстреляли...» Как будто это я их расстрелял...

Зазвонил телефон.

— У аппарата, — выговорил Теппе, — отлично.

Затем перешел на эстонский. Речь шла о сантиметрах и килограммах.

— Ну вот, — сказал он, — родила из девятой палаты. Четыре двести и пятьдесят восемь сантиметров. Хотите взглянуть?

— Это не обязательно. Дети все на одно лицо...

— Фамилия матери — Окас. Хилья Окас. Тысяча девятьсот сорок шестой год рождения. Нормировщица с «Пунанэ рэт». Отец — Магабча...

— Что значит — Магабча?

— Фамилия такая. Он из Эфиопии. В мореходной школе учится.

— Черный?

— Я бы сказал — шоколадный.

— Слушайте, — говорю, — это любопытно. Вырисовывается интернационализм. Дружба народов... Они зарегистрированы?

— Разумеется. Он ей каждый день записки пишет. И подписывается: «Твой соевый батончик».

— Разрешите мне позвонить?

— Сделайте одолжение.

Звоню в редакцию. Подходит Туронок.

— Слушаю вас... Туронок.

— Генрих Францевич, только что родился мальчик.

— В чем дело? Кто говорит?

— Это Довлатов. Из родильного дома. Вы мне задание дали...

— А, помню, помню.

— Так вот, родился мальчик. Большой, здоровый... Пятьдесят восемь сантиметров. Вес — четыре двести... Отец — эфиоп.

Возникла тягостная пауза.

— Не понял, — сказал Туронок.

— Эфиоп, — говорю, — родом из Эфиопии...

Учится здесь... Марксист, — зачем-то добавил я.

— Вы пьяны? — резко спросил Туронок.

— Откуда?! Я же на задании.

— На задании... Когда вас это останавливало?! Кто в декабре облевал районный партактив?..

— Генрих Францевич, мне неловко подолгу занимать телефон... Только что родился мальчик. Его

отец — дружественный нам эфиоп.

— Вы хотите сказать — черный?

— Шоколадный.

— То есть — негр?

— Естественно.

— Что же тут естественного?

— По-вашему, эфиоп не человек?

— Довлатов, — исполненным муки голосом произнес Туронок, — Довлатов, я вас уволю... За попытки дискредитировать всё самое лучшее... Оставьте в покое своего засраного эфиопа! Дождитесь нормального — вы слышите меня? — нормального человеческого ребенка!..

— Ладно, — говорю, — я ведь только спросил...

Раздались частые гудки. Теппе сочувственно поглядел на меня.

— Не подходит, — говорю.

— У меня сразу же возникли сомнения, но я промолчал.

— А, ладно...

— Хотите кофе?

Он достал из шкафа коричневую банку. Снова раздался звонок. Теппе долго говорил по-эстонски. Видно, речь шла о деле, меня не касающемся. Я дождался конца разговора и неожиданно спросил:

— Можно поспать у вас за ширмой?

— Конечно, — не удивился Теппе, — хотите моим плащом воспользоваться?

— И так сойдет.

Я снял ботинки и улегся. Нужно было сосредоточиться. Иначе контуры действительности безнадежно расплывались. Я вдруг увидел себя издали, растерянным и нелепым. Кто я? Зачем здесь нахожусь? Почему лежу за ширмой в ожидании бог знает чего? И как глупо сложилась жизнь!..

Когда я проснулся, надо мной стоял Теппе.

— Извините, потревожил... Только что родила ваша знакомая.

«Марина!» — с легким ужасом подумал я. (Все знают, что ужас можно испытывать в едва ощутимой степени.) Затем, отогнав безумную мысль, спросил:

— То есть как — знакомая?

— Журналистка из молодежной газеты — Румянцева.

— А, Лена, жена Бори Штейна. Действительно, ее с мая не видно...

— Пять минут назад она родила.

— Это любопытно. Редактор будет счастлив. Отец ребенка — известный в Таллине поэт. Мать — журналистка. Оба — партийные. Штейн напишет балладу по такому случаю...

— Очень рад за вас.

Я позвонил Штейну.

— Здорово, — говорю, — тебя можно поздравить...

— Рано. Ответ будет в среду.

— Какой ответ?

— Поеду я в Швецию или не поеду. Говорят — нет опыта поездок в капстраны. А где взять опыт, если не пускают?.. Ты бывал в капстранах?

— Нет. Меня и в соц-то не пустили. Я в Болгарию подавал...

— А я даже в Югославии был. Югославия — почти что кап...

— Я звоню из клиники. У тебя сын родился.

— Мать твою! — воскликнул Штейн, — мать твою!..

Теппе протянул мне листок с каракулями.

— Рост, — говорю, — 56, вес — три девятьсот. Лена чувствует себя нормально.

— Мать твою, — не унимался Штейн, — сейчас приеду. Такси возьму.

Теперь нужно было вызвать фотографа.

— Звоните, звоните, — сказал Теппе.

Я позвонил Жбанкову. Трубку взяла Лера.

— Михаил Владимирович нездоров, — сказала она.

— Пьяный что ли? — спрашиваю.

— Как свинья. Это ты его напоил?

— Ничего подобного. И вообще, я на работе.

— Ну, прости.

Звоню Малкиэлю.

— Приезжай, ребенка сфотографировать в юбилейный номер. У Штейна сын родился. Гонорар, между прочим, двойной...

— Ты хочешь об этом ребенке писать?

— А что?

— А то, что Штейн — еврей. А каждого еврея нужно согласовывать. Ты фантастически наивен, Серж.

— Я писал о Капране и не согласовывал.

— Ты еще скажи о Гликмане. Каплан — член бюро обкома. О нем двести раз писали. Ты Каплана со Штейном не равняй...

— Я и не равняю. Штейн куда симпатичнее.

— Тем хуже для него.

— Ясно. Спасибо, что предупредил.

Говорю Теппе:

— Оказывается, и Штейн не подходит.

— У меня были сомнения.

— А кто меня, спрашивается, разбудил?

— Я разбудил. Но сомнения у меня были.

— Что же делать?

— Скоро еще одна родит. А может, уже родила.

Я сейчас позвоню.

— А я выйду, прогуляюсь.

В унылом больничном сквере разгуливали кошки. Резко скрипели облетевшие черные тополя. Худой сутулый юноша, грохоча, катил телегу с баком. Застыранный голубой халат делал его похожим на старуху.

Из-за поворота вышел Штейн.

— Ну, поздравляю.

— Спасибо, дед, спасибо. Только что Ленке передачу отправил... Состояние какое-то необыкновенное! Надо бы выпить по этому случаю.

«Выпьешь, думаю, с тобой... Одно расстройство».

Я не хотел его огорчать. Не стал говорить, что его ребенок забракован. Но Штейн уже был в курсе дела.

— Юбилейный материал готовишь?

— Пытаюсь.

— Хочешь нас прославить?

— Видишь ли, — говорю, — тут нужна рабоче-крестьянская семья. А вы — интеллигенты...

— Жаль. А я уже стих написал в такси. Конец такой:

На фабриках, в жерлах забоев,
На дальних планетах иных —
Четыреста тысяч героев,
И первенец мой среди них!

Я сказал:

— Какой же это первенец? У тебя есть взрослая дочь.

— От первого брака.

— А, — говорю, — тогда нормально.

Штейн подумал и вдруг сказал:

— Значит, антисемитизм всё-таки существует?

— Похоже на то.

— Как это могло появиться у нас? У нас в стране, где, казалось бы...

Я перебил его:

— В стране, где основного мертвеца еще не похоронили... Само название которой лживо...

— По-твоему — всё ложь!

— Ложь в моей журналистике и в твоих паршивых стишках! Где ты видел эстонца в космосе?

— Это же метафора.

— Метафора... У лжи десятки таких подпольных кличек!

— Можно подумать, один ты — честный. А кто целую повесть написал о БАМе? Кто прославлял чекиста Тимофеева?

— Брошу я это дело. Увидишь, брошу...

— Тогда и упрекай других.

— Не сердись.

— Чёрт, настроение испортил... Будь здоров.

Теппе встретил меня на пороге.

— Кúзина родила из шестой палаты. Вот данные. Сама эстонка, водитель автокары. Муж — токарь на судостроительном заводе, русский, член КПСС. Ребенок в пределах нормы.

— Слава Богу, кажется, подходит. Позвоню на всякий случай.

Туронок сказал:

— Вот и отлично. Договоритесь, чтобы ребенка назвали Лембитом.

— Генрих Францевич, — взмолился я, — кто же назовет своего ребенка Лембитом! Уж очень старомодно. Из фольклора...

— Пусть назовут. Какая им разница?! Лембит — хорошо, мужественно и символично звучит... В юбилейном номере это будет смотреться.

— Вы могли бы назвать своего ребенка — Бовой? Или Микулой?

— Не занимайтесь демагогией. Вам дано задание. К среде материал должен быть готов. Откажутся назвать Лембитом — посулите им денег.

— Сколько?

— Рублей двадцать пять. Фотографа я пришлю. Как фамилия новорожденного?

— Кузин. Шестая палата.

— Лембит Кузин. Прекрасно звучит. Действуйте. Я спросил у Теппе:

— Как найти отца?

— А вон. Под окнами сидит на газоне.

Я спустился вниз.

— Алё, — говорю, — вы Кузин?

— Кузин-то Кузин, — сказал он, — а что толку?!

Видимо, настрой у товарища Кузина был философский.

— Разрешите, — говорю, — вас поздравить. Ваш ребенок оказался 400000-м жителем нашего города. Сам я из редакции. Хочу написать о вашей семье.

— Чего писать-то?

— Ну, о вашей жизни...

— А что, живем неплохо... Трудимся, как положено... Расширяем свой кругозор... Пользуемся автомобилем...

— Надо бы куда-то зайти, побеседовать.

— В смысле — поддать? — оживился Кузин.

Это был высокий человек с гранитным подбородком и детскими невинными ресницами. Живо поднялся с газона, отряхнул колени.

Мы направились в «Космос», сели у окна. Зал еще не был переполнен.

— Денег — восемь рублей, — сказал Кузин, — плюс живая бутылка отравы.

Он достал из портфеля бутылку кубинского рома. Замаскировал оконной портьерой.

— Возьмем для понта граммов триста?

— И пива, — говорю, — если холодное...

Мы заказали триста граммов водки, два салата и по котлете.

— Нарезик копченый желаете? — спросил официант.

— Отдохнешь! — реагировал Кузин.

В зале было пустынно. На возвышении располо-

жились четверо музыкантов. Рояль, гитара, контрабас и ударные. Дубовые пюпитры были украшены лирами из жести.

Гитарист украдкой вытер ботинки носовым платком. Затем подошел к микрофону и объявил:

— По заказу наших друзей, вернувшихся из курортного местечка Азалемма...

Он выждал многозначительную паузу.

— Исполняется лирическая песня «Дождик каплет на рыло!...»

Раздался невообразимый грохот, усиленный динамиками. Музыканты что-то выкрикивали хором.

— Знаешь, что такое Азалемма? — развеселился Кузин, — самый большой лагерный поселок в Эстонии. ИТК, пересылка, БУР... Ну, давай!

Он поднял стакан.

— За тебя! За твоего сына!

— За встречу! И чтоб не последняя...

Две пары отрешенно танцевали между столиками. Официанты в черно-белой униформе напоминали пингвинов.

— По второй?

Мы снова выпили.

Кузин бегло закусил и начал:

— А как у нас всё было — это чистый театр. Я на судомехе работал, жил один. Ну, познакомился с бабой, тоже одинокая. Чтобы уродливая, не скажу — задумчивая. Стала она заходить, типа выстирать, погладить... Сошлись мы на Пасху... Вру, на Покровá... А то после работы — вакуум... Сколько можно нажираться?... Жили с год примерно... А чего она забеременела, я не понимаю... Лежит, бывало, как треска. Я говорю: «Ты часом не уснула?». — «Нет, говорит, всё слышу». — «Немного же, говорю, в тебе пыла». А она — «Вроде бы свет на кухне горит...» — «С чего это ты взяла?». — «А счетчик-то вон как работает...»

— «Тебе бы, говорю, у него поучиться...» Так и жили с год...

Кузин вытащил из-за портьеры бутылку рома. призывно ее наклонил. Мы снова выпили.

Гитарист одернул пиджак и воскликнул:

— По заказу Толика Б., сидящего у двери, исполняется...

Пауза. Затем — с еще бóльшим нажимом:

— Исполняется лирическая песня: «Каким меня ты ядом напоила?...»

— Ты сам женат? — поинтересовался Кузин.

— Был женат.

— А сейчас?

— Сейчас, вроде бы, нет.

— Дети есть?

— Есть.

— Много?

— Много... Дочь.

— Может, еще образуется?

— Вряд ли...

— Детей жалко. Дети-то не виноваты... Лично я их называю «Цветы жизни»... Может, по новой?

— Давай.

— С пивом.

— Естественно...

Я знал, еще три рюмки, и с делами будет покончено. В этом смысле хорошо пить утром. Выпил — и целый день свободен...

— Послушай, — говорю, — назови сына Лембитом.

— Почему же Лембитом? — удивился Кузин, — мы хотим Володей. Что это такое — Лембит?

— Лембит — это имя.

— А Володя что, не имя?

— Лембит — из фольклора.

— Что значит — фольклор?

— Народное творчество.

— Причем тут народное творчество?! Личного моего сына хочу назвать Володей... Как его, высерка, назвать — это тоже проблема. Меня вот Гришей называли, а что получилось? Кем я вырос? Алкашом... Уж так бы и называли — Алкаш... Поехали?

Мы выпили, уже не закусывая.

— Назовешь Володей, — разглагольствовал Кузин, — а получится ханыга. Многое, конечно, от воспитания зависит...

— Слушай, — говорю, — назови его Лембитом временно. Наш редактор за это капусту обещал. А через месяц переименуешь, когда вы его зарегистрировать будете...

— Сколько? — поинтересовался Кузин.

— Двадцать пять рублей.

— Две полбанки и закуска. Это если в кабаке...

— Как минимум. Сиди, я позвоню...

Я спустился в автомат. Позвонил в контору. Редактор оказался на месте.

— Генрих Францевич! Всё о кей! Папа — русский, мать — эстонка. Оба с судомеха...

— Странный у вас голос, — произнес Туронок.

— Это автомат такой... Генрих Францевич, срочно пришлите Хуберта с деньгами.

— С какими еще деньгами?

— В качестве стимула. Чтобы ребенка назвали Лембитом... Отец согласен за двадцать пять рублей. Иначе, говорит, Адольфом назову...

— Довлатов, вы пьяны! — сказал Туронок.

— Ничего подобного.

— Ну, хорошо, разберемся. Материал должен быть готов к среде. Хуберт выезжает через пять минут. Ждите его на Ратушной площади. Он передаст вам ключ...

— Ключ?

— Да. Символический ключ. Ключ счастья. Вручите его отцу... В соответствующей обстановке...

Ключ стоит три восемьдесят. Я эту сумму вычту из двадцати пяти рублей.

— Нечестно, — сказал я.

Редактор повесил трубку.

Я поднялся наверх. Кузин дремал, уронив голову на скатерть. Из-под щеки его косо торчало блюдо с хлебом.

Я взял Кузина за плечо.

— Алё, — говорю, — проснись! Нас Хуберт ждёт...

— Что?! — всполошился он, — Хуберт? А ты говорил — Лембит.

— Лембит — это не то. Лембит — это твой сын. Временно...

— Да, у меня родился сын.

— Его зовут Лембит.

— Сначала Лембит, а потом Володя.

— А Хуберт нам деньги везет.

— Деньги есть, — сказал Кузин, — восемь рублей.

— Надо рассчитаться. Где официант?

— Алё! Нарезик, где ты? — закричал Кузин.

Возник официант с уныло поджатыми губами.

— Разбита одна тарелка, — заявил он.

— Ага, — сказал Кузин, — это я мордой об стол — трах!

Он смущенно достал из внутреннего кармана черепки.

— И в туалете мимо сделано, — добавил официант, — поаккуратнее надо ходить...

— Вали отсюда, — неожиданно рассердился Кузин, — слышишь? Или я тебе плешь отполирую!

— При исполнении — не советую. Можно и срок получить.

Я сунул официанту деньги.

— Извините, — говорю, — у моего друга сын родился. Вот он и переживает.

— Поддали — так и ведите себя культурно, — уступил официант.

Мы расплатились и вышли под дождь. Машина Хуберта стояла возле ратуши. Он просигналил и распахнул дверцу. Мы залезли внутрь.

— Вот деньги, — сказал Хуберт, — редактор беспокоится, что ты запьешь...

Я принял у него в темноте бумажки и мелочь...

Хуберт протянул мне увесистую коробку.

— А это что?

— «Псковский сувенир».

Я раскрыл коробку. В ней лежал анодированный ключ размером с небольшую балалайку.

— А, — говорю, — ключ счастья!

Я отворил дверцу и бросил ключ в урну. Потом сказал Хуберту:

— Давай выпьем.

— Я же за рулем.

— Оставь машину и пошли.

— Мне еще редактора везти домой.

— Сам доберется, жирный боров...

— Понимаешь, они мне квартиру обещали. Если бы не квартира...

— Живи у меня, — сказал Кузин, — а бабу я в деревню отправлю. На Псковщину, в Усохи. Там маргарина с лета не видели...

— Мне пора ехать, ребята, — сказал Хуберт...

Мы снова вышли под дождь. Окна ресторана «Астория» призывно сияли. Фонарь выхватывал из темноты разноцветную лужу у двери...

Стоит ли подробно рассказывать о том, что было дальше? Как мой спутник вышел на эстраду и заорал: «Продали Россию!...» А потом ударил швейцара так, что фуражка закатилась в кладовую... И как потом нас забрали в милицию... И как освободили, благодаря моему удостоверению... И как я потерял блокнот с записями... А затем и самого Кузина...

Проснулся я у Марины, среди ночи. Бледный сумрак заливал комнату. Невыносимо гулко стучал будильник. Пахло нашатырным спиртом и мокрой одеждой.

Я потрогал набухающую царапину у виска.

Марина сидела рядом, грустная и немного осунувшаяся. Она ласково гладила меня по волосам. Гладила и повторяла:

— Бедный мальчик... Бедный мальчик... Бедный мальчик...

С кем это она, думаю, с кем?...

25 сент. 1978

Честь и хвала Солженицыну

Быть современником Солженицына — самая неудобная вещь на свете. Ибо с тех пор, как он поднял голос против огромной империи, никому больше не позволено компрометировать себя какими бы то ни было разговорами об Истории и ее соблазнах. Для писателей же соседство Солженицына принимает масштабы проклятия. Литература делится теперь на два периода: до и после Солженицына. Никто не может поставить Солженицына в скобки, не совершив греха смешения Слова — с речью.

В появлении Солженицына содержится парадокс — и само оно привело к рождению множества других парадоксов. Во-первых, Солженицын является писателем-реалистом в тот момент, когда все лаборатории Запада превращают литературную речь в подопытную мышь для своих рафинированных и извилистых опытов. Солженицын реабилитирует слово, возвращает ему все его права, позволяет ему снова стать средством коммуникации между людьми, таким образом положив конец одержимости некоммуникабельностью любой ценой, которая была трафаретом интеллектуального конформизма. Все утонченные муки литературы, сомневающейся в своем значении и назначении, сметены Солженицыным, с простотой деревенского кюре спевшим им отходную. То, что можно назвать **необходимым реализмом** Солженицына, лежит в традиции Толстого или Данте, ибо, как и они, он взыва-

ет к изначальному миропорядку, чтобы заставить человека снова обрести свой статус.

Еще парадокс: этот необходимый реализм родился на родине социалистического реализма — крайней формы государственного сюрреализма. И появиться он мог только в этом пространстве, где «загримированность» правды была узаконена путем террора, ибо нигде больше правда не сохранила такой взрывной силы.

Снова парадокс: Солженицын доказал, что спор между этикой и эстетикой, который с давних пор существует и который поссорил между собой множество писателей, — это ложный спор. Солженицын был в этом не единственным, но наиболее крупным писателем, доказавшим всем своим творчеством, полным этической и эстетической полифонии, что в любой настоящей литературе обе категории смешаны. Солженицын все свое существо вкладывает в слово, и слово это не бежит ни судьбы, ни мук.

И последний парадокс — несомненно, самый поразительный. Солженицын пишет свои книги, ощущая присутствие Бога, — Бога, которого в течение шестидесяти лет не перестает убивать коммунистическая власть, и которого никак не может убить. Когда вся официальная Россия преклоняет колени перед мавзолеем с вечно присутствующим трупом, Солженицын глядит на иконы старой России: России христианской, избранной земли, где следование Христу равносильно Голгофе. Ибо — и об этом достаточно уже говорилось — Россия была той самой землей, куда Христос пришел, уже неся на плечах Свой крест, для второго — бесконечного — Распятия. И разве русская литература, во всем, что было в ней значительного, — от Достоевского до Солженицына — не жила на этой нескончаемой Голгофе, в вечном страдании и вечной жертвенности?

Именно в этом смысле Солженицын — свидетель (мученик есть свидетель Господа). И именно в этом качестве он сумел вызвать то, на что давно уже никто не уповал, никто не ждал — с тех пор, как Запад интеллектуалов канонизировал марксизм, — пробуждение совести.

*Вирджил Йерунка,
главный редактор румынского журнала
«LIMITE», Париж*

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ИТАКУ

Северной ночи сквозит перехлест —
так далеко до звезды —
но для тебя ль не доищешься звезд?
хоть в получасе езды!
хоть в неуменье забора обнять
сад затянувшийся долго
чудится прыть и сбывается стать
летнего теплого толка
хоть раскрывает как сонм передряг
сосны сомненья и стадо коряг
сон не желающий знаться —
ты раскрывала ладони свои
белую смуту плели соловьи
так же легко обознаться

в обозначении чудится стук
дверь открывающий ряду потуг
осени шепчущий что же неровно —
все же значение это огромно —
ветер кривляется в груди бумаг
Демон старательный делает шаг
Бог небесами заведует прочно
а на земле навсегда непорочно
лист увядает и лес шелестит
кто-то рыдает а кто-то грустит
невидадь пламени милого в лёт
птицу сшибает чужую
время отважное по верху ждет
так же себя не щажу я
что же меня ограждало порой?
ну-ка поступки мои перерой —
те позабыты те приступом взяты —
то-то утраты во всем виноваты —
так-то отринут чреду предложений
чтобы раскинуть в чаду приглашений

шелковый купол шатер или свойство
для неуверенной сметы довольства

так пробивая дельфином лобастым
гущу отбора мирскую
меру свою сознавал и не хвастал
плавал я честно тоскуя —
люди постылые скинув плащи
улицы вытянув тяжко
всё исходили — теперь не взыщи —
горестно — так-то бедняжка!
так-то за пряжею дни протекут
тонким потоком сквозь пальцы
так-то иные шутя завлекут
что не досталось скитальцу
так-то сетями не выловишь ложь —
много ее и на суше!
так ли слепую расстались — и все ж
души нисколько не глуше

гложет вода круговые устои
брежит всю разрастаясь простое
прячется сложное дремлет гранит
что-то тревожное гордость хранит —
что притомилось и в оба не смотрит?
только ли милость без выдержки мокнет?
только ли меркнет закат с якорями?
лета раскат расцветет фонарями
и золотыми шарами жонглёр
вкось уходящий за крыши
спор разрешит — но настолько ли спор
больше надежды и выше?
то ли тепло то ли холод почувешь
словно назло безраздельно кочуешь
пусто да куст позарос паутиной
в поле колосья а в доме картины
свечи ненужные сбивчивый тон
тайную дружбу несет почтальон
дыма изменчивый призрак на воле
этот ли признак? из Гамлета что ли?

мел на асфальте с песчаною пылью
сразу тебя познакомили с былью
даль задрожала в биноклях оконных —
что залежалось в понятиях резонных?
что же украсит карниз голубями?
любо ли глубли заигрывать с нами?

что же я видел? всего не откроешь
яму не выроешь правды не скроешь —
краешком блажи приткнулась Европа —
так-то меня дождалась Пенелопа!
нам азиатские труны бряцают
тянут к венцу | концу восклицают
мол предназначено это началом —
ах как отзывчиво я отвечал им!
трубным призывом судьбы громогласней
прячется в зыби что было опасней
что заставляло сдружиться с вниманьем —
как я гордился его пониманьем!
нет у меня ни уменья унижить
то что поможет поверить и сблизить
дрёму прощанья с поверьями встречи —
так нелегко побывал я далече!
нет у меня ни желанья обнять
то что за давностью может пенять
чуть прикорнуть и в углу закурив
время вернуть нарываясь на риф

так и живут на московской Итаке
взор отвлекают дорожные знаки
кров обретают в порыве излишнем
кровь пробегает в изгибе неслышном
море ушло даже дверь не закрыв
бремя навязчивый стелет мотив
тянет дождем освежиться иль делом
что навсегда проявляется в целом —
нет ненадолго вина западала
солью кристалла на донце бокала
нет не навечно тебя привечали
больше корили небось обличали

ты возвратился Улисс — так смотри же —
в раже бесстыжем подернута рыжим
совесть столицы слегка приготовясь
выслушать горести грешную повесть
стены твои вертикально внимают
снег перемешанный с громом
в гомоне брезжущем дом обнимает
жаждущим рвам уготован
и Провиденье рукой повернет
святость обители старой
к старости мысли и стае забот
всюду бренчащих гитарой

Боги! иль жертвы для вас не хватает?
гривы сражений над градом летают
Троя сгоревшая брошена где-то
и бесконечности четкое вето
всё же позволит простить повседневность —
крепости святость а древности ревность

спи же спокойно прекрасное — то есть
может увижу тебя успокоясь
может всегда улыбаясь чудесно
встанет безвестное жизнью иль песней
и просыпаясь и в зеркало глядя
«столько ведь — скажешь — над лишнею кладью
лет безутешных витает!
мы-то с тобой ничего не забыли
мы и тогда неразлучными были —
любим — и листья летают» — —

там электричек распахнута суть
там раскрывают кому позабудь
временной ласки объятья
там занимает латунь или медь
что не могло на себя посмотреть
что променяло хотя бы на треть
Крыма отроги — и так угореть
не суждено благодатью

осень как самка дрожа выжидает
бор ограждает и горе рождает
снег обещает как белую манну
это теперь и тебе по карману
всюду грибы вырастают нарочно
горечь растает в отраде барочной
и за узором не знаются узы
с теми кто сами не звали обузы

Муза моя затевает поверья
птицы роняют последние перья
всюду воспетое нас убеждает
прежней порукою враз побеждает —
с тем убедительней станет родное
что за стеною повернуто к зною
что провисало цветами нарядными
и заставляло меняться парадными
лестниц ценить многодумье
и доверяться колдунье

значит минувшему нету разгона —
так просветим же во имя закона
душ улетающих пару —
пахнет безмолвье знакомой польнью
глина лукавая бредит теплыню
и поцелуями грезит отныне
даже царица Тамара

просто нахмуриться иль опровергнуть
просто отпетое наземь низвергнуть
просто отвергнуть ветрила горячие —
так по утрам пробуждаются зрячие —
просто оставить как тень оставляют
просто как темень наверно меняют
на ослепительно сизый
голубя взмах или города ветер
просто как телу живется на свете
как отвечают на вызов

где же развязка и ставен поспешность?
так навсегда изменяется внешность
у берегов и туманит мосты
где никогда не останешься ты.

1972

Немецкое Общество Защиты Прав Человека

Общество

- поддерживает людей, борющихся в тоталитарных странах за осуществление принципов Всеобщей декларации прав человека.
- оказывает материальную и правовую помощь людям, лишенным свободы за их религиозные, общественные или политические убеждения.
- посредством различных публикаций информирует общественность Федеративной Республики Германии, Австрии и Швейцарии о борьбе за гражданские права в тоталитарных странах. Периодически публикует материалы САМИЗДАТА.

Председатель Общества защиты прав человека
Проф. Хельмут Ницше
зам. пред. И. Агрузов

*Наш адрес: Gesellschaft für Menschenrechte e. V.
Kaiser Str. 40
Postfach 2965
6000 Frankfurt/M 1
Telefon: (0611) 23 69 71
Bundesrepublik Deutschland*

ПО ОБЕ СТОРОНЫ СТЕНЫ

Часть вторая

8

— Скажите, вам приходилось когда-нибудь ездить на велосипеде из Лозанны в Женеву?

С таким вопросом обратилась моя мама к своей сверстнице, бабушке Володи Войновича.

Они обе уютно примостились на кровати, пока в соседней комнате шли соответствующие приготовления — Володя привез меня и маму на денек из Коктебеля в Керчь, где жили тогда его родители.

Володина бабушка, всю жизнь прожившая в маленьком еврейском местечке, человек тихий, не болтливый, но большая любительница русских пословиц и поговорок, слушала маму очень внимательно. На вопрос о Женеве и велосипеде покачала только головой:

— Так-так, сказал бедняк, — тихо произнесла она и даже не улыбнулась. Это была ее любимая поговорка, всегда как-то оказывавшаяся к месту.

Мама продолжала свой рассказ о Швейцарии.

Всю свою молодость мама прожила в Швейцарии. Школа, университет, замужество, рождение первого сына — Коли. Жили в Лозанне, любили ее, привыкли к ней...

Много-много лет спустя, после войны уже, в Киеве:

— Сегодня бэллочкины именины, ты не забыл?

Пойди поищи торт. Нигде нет. Я обегала всю Лозанну, все кондитерские, пустые полки.

Или:

— Хотела купить к чаю печенье, зашла в гастроном, купила, подошла к кассе, смотрю, а в сакошке ни сантима.

Сакошка, от французского *sacoche* — сумка.

Мама любила Швейцарию. Знала ее. Ходила в горы, рвала эдельвейсы, а это не так просто, они обычно в самых недоступных местах. Ездила, как видим, на велосипеде в Женеву. Любила вспоминать ее.

В самые последние дни своей жизни всё уговаривала молодого, ловкого массажиста, приходившего делать ей массаж после перелома ноги, съездить в Швейцарию. А однажды, когда он пропустил какой-то сеанс, с уверенностью сказала: «Ага, послушался меня, поехал-таки в Швейцарию».

Довоенная наша киевская квартира вся проникнута была духом Швейцарии. Тот самый Шильонский замок, кочевавший со стенки на стенку, виды Лаго-Маджоре — озеро, островок, вдали горы, — тоже висящие у меня сейчас на стенке, пресс-папье «Люцернский лев» — *Helvetiorum fideli ac virtuti* — верным гельветам, погибшим, защищая Тюильри в 1792 г. (не знали, бедняжки, что защищают реакцию), куча толстенных альбомов с открытками, коробки из-под шоколада с выцветшими, глянцевыми, коричневыми любительскими фотографиями — бабушка с дочерьми где-то в горах, с альпенштоками в руках, какие-то студенты в корпорантских каскетках...

Весь этот открыточно-сувенирный дух вместе с рассказами родителей о походах в горы, восходах солнца на Риги-Кульм и вдохновили на оду «Швейцария чудесная страна».

— А вы знаете, почему Некрасов оказался в Швейцарии? — спросил одного русского эмигранта в Афинах ни более, ни менее, как Лауреат Ленинской и Го-

сударственных премий, Председатель правления Союза писателей РСФСР, Депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, Действительный член Академии педагогических наук, выдающийся писатель Сергей Владимирович Михалков. — А потому что у него в Женеве или Лозанне дядюшка-миллионер. Вот он и приехал, чтоб дожидаться наследства.

Всё верно. Действительно, в Лозанне спокон веков жил вместе со своей женой, маминой сестрой, профессор геологии Лозаннского университета Николай Алексеевич Ульянов (упаси Бог, спросить, не родственник ли), а для меня дядя Коля.

Жил в маленькой, загроможденной от пола до потолка книгами двухкомнатной квартире на Монрепо, 22. Совсем один — тетя Вера умерла лет 15 тому назад. И действительно, я приехал по его приглашению на три месяца, как значилось в моем паспорте. И действительно, дождался наследства. Через год после дядиной смерти неизвестный молодой человек привез мне в Париж довольно солидную картонку то ли из-под пива, то ли из-под сгущенного молока. В ней оказались письма. С швейцарскими и русскими марками — Вильгельм Телль на первых, и скучные, с двуглавым орлом вторые — романовской серии с императорами тогда еще не было. Внутри конвертов изящные, несегодняшние почерка. Содержание тоже в общем не совсем сегодняшнее. До сих пор я к этим письмам не прикасался. Только рассортировал. Как-то боюсь окунуться в чужую жизнь, хотя и родительскую. А может, именно и поэтому.

И все же три письма я приведу. Дословно. Первому из них уже сто лет. Письмо моего дедушки к моей бабушке:

*Дорогая кузина моя, Алина Антоновна!
Согласны ли Вы сделаться моей женой?*

Ни роскоши, ни высокого положения общественного не могу Вам дать в случае Вашего согласия.

Взамен этого: непритворное, искреннее чувство глубокого к Вам расположения, известное материальное обеспечение, которое даст нам возможность жить не рискуя помереть с голоду.

Если Вы согласны, то не найдете ли удобным передать о моем предложении тетушке.

Во всяком случае, пишите мне в Харьков, так как я на днях буду там: хочу поступить в тамошний Ветеринарный институт.

Коли Вы письменно изъявите согласие, то я приеду к Вам. Жду ответа с нетерпением.

*Целую Вас крепко (хотя бы по праву кузена).
Искренне любящий Вас*

Николай Мотовилов.

1877 г.

Июля 4.

Самара.

Вот так сто лет тому назад делали предложения. И ждали письменного согласия в ответ на непритворное чувство глубокого расположения.

Насколько мне известно, бабушка с дедушкой жили дружно, с голоду не помирали, в каких-то симбирских поместьях, и только после дедушкиной смерти (умер он молодым, тридцати с чем-то лет, от туберкулеза) бабушка с тремя дочерьми уехала в Швейцарию. Не эмигрировала, а уехала, дав дворнику три рубля, чтоб он принес заграничные паспорта.

Второе письмо — отца к матери. Датировано 6 марта 1917 года. Через неделю после свержения самодержавия — так называлось это событие, которое мы ежегодно праздновали не помню до какого года.

Гор. Красноярск, 6 марта 1917.

Извиняюсь, что пишу на бланке банка — забыл купить бумаги.

Ну, как у вас в Киеве проходят события? Сюда донесся, между прочим, слух, что будто бы там, в Киеве, убита Мария Федоровна. Правда ли это?

Здесь, пока что все спокойно. К счастью, руководители левых партий достаточно благоразумны и сдерживают «зуд» партийной мелочи, которой очень хотелось бы внести смуту и беспорядки. Увы, психология большинства «товарищей» — типично рабская, лакейская: они в ярости готовы топтать всё то, что вчера они, вольно или невольно, признавали господствующим. По глупости своей внушают солдатам неподчинение дисциплине, что равносильно в данный момент измене государству и предательству своей родины и тех, кто сражается на фронте. Вообще левые партии производят удручающее впечатление своей крайней поверхностью, своим непониманием момента — я не говорю о представителях партий в центре: очевидно, там сидят люди благоразумные и понимают момент. Есть, однако, надежда, что левые партии, в особенности те, у которых довольно явственно проявляется пораженческая тенденция, останутся в меньшинстве и значительного влияния на события не окажут.

А как тебе нравится наш переворот? Он оригинален, единственный в истории по своей форме, по отсутствию крови, — она, правда, была, но немного. И жаль будет, если «товарищи» вовлекут Россию в кровавый круговорот.

Местные новости вряд-ли будут для тебя интересны — они похожи, вероятно, на новости других городов. Часть власти арестована, у жандармов на ж.-д. станции нашли два пулемета, из жандармского управления взяты бумаги, среди которых нашлись списки всех местных шпииков и провокаторов. Говорят,

что только среди жел.-дор. мастеровых и рабочих обнаружено около 200 шпионов и каждый-де из них получал по 75 рублей в месяц. Ожидается, что обнаружатся и «солидные» имена в этом милом списке. Дальше, обнаруживается, что штаб Иркутского военного округа был всецело немецкой шпионской организацией. Здесь еще старой властью арестован некий Блиц друг и приятель местного архирея, который сейчас очень либеральничает. Вообще темных дел и делишек вскроется не мало.

Пиши о киевских новостях. Что слышно о фронте, о боях? Ну, а как личные, домашние дела? Дети здоровы? Целуй их. Как реагирует Коля на все события? Привет Алине Антоновне.

Жму руку. П. Некрасов.

Папа не дожил до того, как «товарищи» вовлекли Россию в кровавый круговорот, — он умер летом того же года от разрыва сердца. Как реагировал Коля, мой старший брат, на те события, не знаю: он ненадолго пережил отца — погиб в Миргороде в 1919 году под шомполами красных. Было ему тогда 18 лет. Нашли у него французские книги и письма, приняли за шпиона и убили. Тело бросили в Псёл. Мать ездила на розыски, но безуспешно.

Третье письмо. Адресовано тете Вере, маминой сестре, в Лозанну. Подписано крупными печатными буквами «от Вики Некрасова». Как и два предыдущих, с твердыми знаками и ятями. Год 1920-й. Мне девять лет.

«Дорогая Вера, как живешь? Я поступил в гимназию Науменко. Там я подружился со многими мальчиками. Я еще в старшем-приготовительном классе. У нас идет война с 1-ым классом. В Киеве поляки и я каждый день смотрю на маршировку. Я в четверг 21-го мая по новому увидел большевитский аэроплан,

которо во в тот же день подбили поляки. Я стал собирать коллекцию иностранных марок и если можешь то пришли мне пожалуйста, марок только не Русских.

Я теперь читаю очень интересную книгу про Индейцев «Черная птица и Орел снеговых гор». Приезжай к нам, целую тебя.

Р. С. У нас на уроке «родиноведения» то есть на уроке природы и опытов, было раз вот что: Нас повели в большую комнату уставленную: всякими птицами, скелетами, гнездами, шкафами, картинами с животными, партами и микроскопами. Нас разсадили по партам, дали бутылочки с длинными горлышками, налили водой поставили на керосинки. В воде подымались маленькие шарики. Потом вода забурчала и из бутылочек вышел пар.

Нам показали как из воды делается пар.

В. Н.

Вот эти три письма. Они не из дядюшкиного наследства, они сохранились в моем архиве, попав в него из Киева обманным путем, минуя таможду: такого рода документы по советским законам вывозить за пределы страны не дозволено. Законы странные, но строгие.

Молодость беспечна. Интересуется больше настоящим и будущим. К прошлому более или менее равнодушна. Равнодушен был и я. Теперь локти кусаю.

С кислым видом выполнял я в юные годы бабушкино поручение посетить в Москве ее подругу Елизавету Николаевну. Господи, тратить еще на каких-то старушек драгоценное московское время. А старушка эта была старой революционеркой, Е. Н. Ковальской, народоволкой, политкаторжанкой, хорошо знала Веру Засулич. Бог ты мой, сколько интересного она могла бы мне рассказать, прояви я хоть малейшее любо-

пытство. А я думал только о том, как бы повежливее отказаться от второй чашки чая.

А дедушки, прадедушки? Один сидит на фотографии в каком-то теплом халате, в кресле, в саду, бородатый, скучный... Другой в генеральском мундире, с Анной на шее (уплыла в Торгсин) и уланской, что ли, каской в правой руке. Антон фон-Эрн, бабушкин отец, швед по национальности (очевидно, из Финляндии), генерал-майор. Смотрю сейчас на него, такого солидного, важного, и думаю — а с кем ты воевал, прадедушка, как и кому проигрывал в карты? — а тогда, в детстве, только стеснялся, что у меня такой предок, царский генерал...

Прабабушки? Луиза и Валерия Францевны Флориани. Обе итальянки. Из Венеции. Каким ветром занесло их в Россию? Обе красивые, в черных кружевах — ну и Бог с ними... И еще много, много было в альбомах разных господ в стоячих воротничках и дам в турнюрах и всяческих наколках. Альбомы показывались друзьям, те с интересом расспрашивали кто да кто, мне же это всё было, как теперь говорят, «до лампочки».

Пробел по части родословной заполнил в какой-то степени всё тот же дядя Коля. Сообщил даже, что род Мотовиловых ведет свое начало от каких-то Кобыл, от которых другой ветвью пошли и Романовы.

(Между прочим, прочитав записные книжки Анны Ахматовой — издание библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, — я с гордостью обнаружил, что мы находимся с ней в некоем дальнем родстве. Ее бабушка по материнской линии была Мотовиловой, сестрой отца Николая Мотовилова, того самого, в халате, бородастого, скучного.)

С дядей Колей я уже раньше встречался. Он специально приезжал в Париж, когда я был там в 1962 году. Пригласил даже в ресторан, датский, на Елисей-

ских полях («очень неплохо кормят и недорого»), и мы распили с ним там замороженную в куске льда бутылочку водки.

В прошлом эсер. Левый. Принимал участие в московском восстании — специально ездил из Швейцарии. Вернувшись невредимым назад, на революцию, насколько я понял, наплевал и занялся геологией. Впрочем, кажется, занялся ею еще до революции... Увидел Монблан — влюбился в него, и стал Монблан с тех пор делом его жизни. Сколько я себя помню, он все составлял его карту. Успел ли закончить до своей смерти, так и не знаю...

И вот в один прекрасный сентябрьский день 1974 года мы с женой ввалились к нему в «холостяцкую» квартиру со всеми своими киевскими чемоданами. Третий наш спутник, мохнатая, глаз не видно, Джулька летела в это время в Париж, с друзьями, встретившими нас в Цюрихе. Последняя дядина телеграмма в Киев была категорична — «собака абсолютно исключается точка».

Сам он — волосы до плеч, глаза-колючки, брови почище брежневских — оказался добрым, подвижным и весьма словоохотливым — чуть-чуть не сказал «стариком», — нет, не годится, скажем лучше профессором. А поговорить не прочь был... За свои 93 года кое-что да повидал.

Беседы наши — в основном на кухне — проходили не всегда мирно. Монблан Монбланом, но эсеровский, бунтарский дух в нем не выветрился — за чашкой кофе с подсушенным хлебом он весьма темпераментно развивал свои политические идеи.

В основном поносил Америку. И такая она, и сякая, и погода стала неустойчива опять-таки из-за них — авионы (!) тоже они придумали, да-да, не смейся, слишком много всего сейчас в воздухе...

Как ни странно, но к Советскому Союзу, несмотря на свое эсерство, относился весьма терпимо. Более

того, хвалил (война, война!) — и тут-то начинались схватки боевые...

— Ну, как ты не понимаешь, Вика, что ваша страна...

— Что́ наша страна?

— Что, что? Из отсталой и полуграмотной...

— Стала передовой и грамотной?

— Да, грамотной!

— И передовой?

— Ну, не во всех областях, но в некоторых...

— Космических? Сам говорил, что всё в воздухе смешалось...

— Ну, говорил, говорил... Но я не о космосе, я о культуре...

Тут я начинал хохотать.

— Ну чего, что ты хохочешь? Ни в какой стране тиражи книг не доходят до таких размеров, как в вашей.

— Каких книг? Брежневских докладов?

— Не только брежневских. Недавно я вот в вашей «Литературной газете» читал, там приводились цифры тиражей классики.

— А «Правду» ты не читаешь, дядя Коля?

Дядя начинал кипятиться, краснеть.

— Брось этот дурацкий тон. Поверь мне, не будь у вас в стране КГБ...

Я не выдерживал.

— Дядя Коля, дорогой мой, жаль, что меня из партии исключили, а то дал бы тебе рекомендацию.

Тут он начинал топтать ногами.

— Дурак! Дурак! Дурак!

Всё в конце концов кончалось мирно, мы допивали свой кофе и отправлялись куда-нибудь на прогулку. Но не поддразнивать милого моего эсера я не мог — покупал свою любимую «Правду» в соседнем киоске и по вечерам, развернув, пытался читать вслух.

— Нет, нет, этого мне не надо. Газеты ваши я не люблю. А вот «Новый мир»...

— А где он? А? — не выдерживал я, и начиналась новая баталия.

Совсем недавно я опять вспомнил дядю Колю, слушая по телевидению беседу главного редактора «Правды» с итальянскими журналистами.

«Правда» — моя слабость (все надо мной смеются), поэтому пройти мимо этого эпизода никак не могу.

Дело было в Милане. А беседа в Москве. Началось всё с того, что показали, как Виктор Григорьевич Афанасьев выходит из своего дома («квартира 55 кв. метров» — сообщил комментатор), сел в длинную машину («не собственная, редакционная») и оказался, наконец, в собственном кабинете. Но не за столом, где он привык чувствовать себя хозяином, а почему-то на вращающемся кресле посреди кабинета.

Бедняжка, даже мне его стало жалко. Под обстрелом прожекторов, кинокамер и трех журналистов он так беспомощно крутился на своем кресле то туда, то сюда, и ноги в светлых, некрасивых туфлях носками внутрь, и локти прижаты, и глаза бегают, и улыбка робкая — как на угольях. А бородатые, элегантные итальянцы, нога за ногу, раскинулись в креслах, задают вопросы.

Скажу прямо — не те вопросы. Слишком общие, слишком привычные. Почему нет свободы, почему евреев туго выпускаете, ну и т. д., в том же духе... На них и ответить прожженному журналисту не так уж трудно. Александр Борисович Чаковский, например, не так давно в такой же беседе с парижскими журналистами на первый вопрос не так уж ловко, не так уж тонко, даже не умно, но все-таки как-то ответил. Растягивая свой ответ как можно дольше, не переставая сиять неплохими вставными зубами, он сравнивал буржуазную свободу со свободой подыматься на верхушку

Эйфелевой башни, когда не работают лифты... Ответил и победоносно улыбнулся — съели? Беседа, правда, кончилась печально. Подводя итоги, один из журналистов, кажется, редактор журнала «Point», развел руками и грустно, а не торжествующе, как А. Б., улыбнулся и сказал: «Диалог, увы, не получился. Вступать с вами в спор, как видно, не имеет никакого смысла. Что ж, остается только торговать...»

Итальянские мои журналисты, в общем-то, тоже оказались не на высоте. Виктор Григорьевич под конец даже немного воспрял духом. Городил чепуху — любимая народном газета, самая деликатная из всех (да-да, так и сказал!), никого никогда не обижает, передовицы пишутся лучшими журналистами страны — но, в общем, как-то все-таки выкрутился и под конец, как положено, поблагодарил итальянскую прессу и телевидение за внимание и, облегченно вздохнув, уставился куда-то в одну точку, поверх голов своих гостей.

Выкрутился! А можно было бы и пригвоздить. Меня не пригласили, я б уж справился. (На следующий день в миланской «Il Giornale» я попытался дело это как-то исправить.) Вопросы надо задавать не общие, а конкретные, ответу не поддающиеся. Новой конституцией и вмешательством во внутренние дела суверенного государства не отделаешься. Почему врете? Почему зверский террористический акт палестинцев, стоивший 37 жизней и 57 раненых, преподносите как бой между патриотами и регулярной израильской армией, в результате которого сгорел автобус? Почему ни слова о том, как Корвалан оказался на свободе? Почему Буковский — поджигатель войны? («Вчера президент Картер принял в Белом доме поджигателя войны, уголовного преступника Буковского» — «Правда».) Кто и по чьему приказу убил двух пассажиров южнокорейского самолета, «нарушившего советское воздушное пространство»? Почему вы так деликатно все эти довольно существенные вопросы обходите? Почему

обманываете своего читателя? За это он, думаете, вас и любит, что не тревожите его «дешевыми сенсациями» и радуете передовицами, написанными лучшими журналистами страны? Как на всё это отвечать, крутясь на своем стульчике?

Эх, зря не пригласили меня итальянцы. Наклеил бы я бородку, надел бы темные очки, и заерзал бы у меня мой тезка, как карась на сковородке...

Ну, вот и отвел душу...

Вернемся же в Лозанну.

Итак, дядя Коля делал карту Монблана. Взбирался на него (может, и не до самой вершины), спускался вниз, ездил в Париж к своему топографу, опять взбирался, и опять спускался, и всё сокрушался, что я не сопутствую ему в этих прогулках (хватит с меня Эльбруса — умный гору обойдет!). Но, кроме того, был он великим специалистом по туннелям, ледникам и плотинам, за что Франция наградила его «Почетным Легионом» — по-моему, за туннель под Монбланом. Как-то я даже попросил его надеть этот орден и вместе снялись с ним на балконе.

В мае прошлого года дядя Коля умер. В возрасте 96 лет. В последний раз я его видел в больнице, незадолго до смерти. («И чего это они меня сюда заперли. Вечно доктора что-нибудь придумают».) Такой же живой, но несколько менее подвижный, сидел в пивной за столиком, перебирал какие-то книги. Кажется, уже больше перебирал, чем читал. На прощание сказал, что у него много еще есть о чем со мной поговорить. Увы, не вышло...

Ушел дядя Коля и вместе с ним всё прошлое моей семьи. Только письма остались, к которым боюсь пока прикасаться...

Как видим, дядя Коля капитализм осуждал. Хоть и в прошлом, но все же эсер, что поделаешь. Мама же моя, человек того же поколения, — эту общественную формацию, в которой прожила если не бóльшую, то, во всяком случае, значительную часть своей жизни, не осуждала. Впрочем, как и противоположную — если советскую власть можно считать социалистической. За исключением разве что отдельных ее представителей, как-то: маршала Жукова и Хрущева, которые отважились поднять руку на ее сына (первый запретил фильм «Солдаты», второй позволил себе выступить с критикой такой интересной и правдивой, по мнению матери, книги).

Ну, а сын? Что он может по поводу всего этого сказать? В частности, о капитализме?

Не будучи ни философом, ни экономистом, ни социологом, ни даже политиком (хотя с детства мы только политикой и живем), он, не углубляясь в теорию, в которой не очень-то силен, попытаться разобраться только в одном — можно ли жить при капитализме не только под мостом и не только в очереди за пособием?

Учесть надо еще и то, что рассказ будет вестись от имени человека, тридцать лет пробывшего в рядах коммунистической партии и ставшего ренегатом, — а посему отнестись к прочитанному рекомендуется с определенной настороженностью.

Лет до десяти автор этих строк был монархистом, белогвардейцем (по возрасту мог только болеть за них) и убеждений крайне религиозных. (К слову сказать, единственный во всей семье, к монархии и Белой гвардии относившейся весьма скептически и отнюдь не религиозной.) В виде протеста по отношению к существующей системе бегал по городу с карандашиком в кармане, приписывая «Ъ» на всех театральные афишах,

а дома рисовал карикатуры на Ленина и Троцкого, заколачивающих в гроб Россию... И вдруг в тринадцать лет перелом — вернулся как-то домой с отмороженными ушами — хоронил на Крещатике Ленина — а на следующий день, к великому изумлению родителей, повесил на стенку в столовой громадный портрет вождя. Даже конверты (и тогда любил переписываться) старательно обвел черной траурной рамкой, насмерть перепугав своих корреспондентов.

Как видим, во взглядах молодой человек не очень-то был устойчив.

Дальше шло более или менее нормально. Рос советским отроком, юношей, что-то понимал, чего-то нет. Гордился челюскинцами и папанинцами, великими перелетами, защитниками Мадрида (об этом ниже), лучшим в мире метро, МХАТом, даже излишне казавшимся официальным Маяковским (слушал его однажды — покорило рост, голос, покорило развязность). В институтские годы старательно искал образ советской архитектуры, самой демократичной, человеческой...

Тридцать седьмые годы прошли не то что мимо, но в общем-то не задев никого из семьи (если не считать дяди Сережи, дальнего, очень богатого и жадного миргородского родственника-врача, которого никто особенно не любил, очевидно, за скупость).

Почему никого из нашей семьи не тронули? Вот что кажется странным. Основания, как будто, были: и «бывшие», и дворяне, и родственники за границей, и всю жизнь переписка, даже посылки и деньги на Торгсин. Бабушка дважды ездила к своей дочери в Лозанну, правда, до посадок еще, в двадцатых годах... Активная, правдолюбивая тетка бушевала по поводу всех несправедливостей (и первых посадок в том числе), писала письма в ЦК, Крупской, Бонч-Бруевичу. И вот, никаких репрессий, пальцем не тронули.

Сейчас, много лет спустя, мне пришла в голову мысль: а не потому ли не трогали, что в уплотненной нашей квартире в одной из комнат всегда жили... чекисты? Сначала семья Уваровых, потом Кушников, последними, до самой войны, Сидельниковы — он сотрудник милиции. Чекисты чекистами, но мама всех их лечила — от простуды, гриппа, поносов, а бабушку, хоть и из Смольного и вроде помещицу, не любить просто нельзя было — любили и чекисты. Другого объяснения не нахожу. Годы-то были страшноватенькие...

Но вот прошла война, бывший монархист и белогвардеец стал членом партии, начал писать, вырвался в первую или во вторую там десятку и... Теперь вот, Париж. Через месяц минет четыре года...

А за спиной больше шестидесяти вьезшейся во все поры советской жизни. Сравнить есть с чем.

Но смотри же — слышу голоса — будь честен и объективен. Пусть старые накопившиеся обиды не заслонят чего-то главного, существенного. Или, наоборот, каких-то деталей, из которых-то и лепится главное.

Попытаюсь...

Что, в конце концов, нужно человеку? Быть сытым (иногда и пьяным, добавим мы, но не злоупотребляя), иметь работу (желательно хорошо оплачиваемую) и быть свободным.

Начнем с первого, самого банального.

Что больше всего поражает человека, приехавшего из зрелой, как теперь принято говорить, формации в дряхлую? Обилие! Всего! Мяса, яиц, помидоров, фруктов, автомобилей, бриллиантов, гвоздей, кафе, газет, книг, всех, в невероятных количествах и сногшибательного разнообразия, видов алкоголя...

Ну, а секс, порнография, нездоровый эротизм? — обязательнейший из вопросов. Есть! В Париже побольше, в Женеве поменьше. Но, как ни странно, кинотеатры,

где демонстрируются порнофильмы, на три четверти пусты, стриптизы посещают в основном туристы, а наш одиннадцатилетний Вадик (бабушка, когда мы проезжаем Пигаль, лихорадочно хватая его за плечо — «посмотри, какая красивая спортивная машина!») даже головы не поворачивает в сторону этих прекрасных цыпочек и саженных реклам с обнаженными дамами. А может, хитрит, негодяй?

Итак, обилие... Но это ж и есть мир потребления — слышу. Согласен. Возражение принимаю. Копнем глубже.

Нарисуем себе такую картину. Вы выходите, допустим, из дома Жолтовского на Смоленской площади, подходите к газетному киоску возле входа в метро и, отложив в сторону «Огонек», берете «Пари-матч» с фотографией Кристин Онассис и Сергея Каузова на обложке. Потом заходите в стекляшку «Олень» возле площади Восстания и с приятелем, не понижая голоса, листая журнал, обсуждаете детали этого не совсем банального брака.

На это мне умный, побывавший за границей и в меру критически настроенный советский интеллигент ответит:

— Виктор Платонович, это не вполне дозволенный прием. Не скоро еще житель дома Жолтовского сможет позволить себе такую роскошь, но поскольку, как пример, вы привели «Пари-Матч», а он у вас в руках, давайте полистаем его. Ну, что в нем? Свадьба Каролины Монакской — двадцать фотографий. Текст — в основном, кто во что одет, чем угощали, кто присутствовал из высшего света... Дальше. Чем развлекается на курорте предполагаемая невеста Чарльза, принца Уэльского? Последние увлечения Элизабет Тэйлор или Жаклин Кеннеди... А «Иси-Пари»? Там уж просто кто с кем и, главное, как живет — желательно про коронованных особ и кинозвезд... Не оглушение

ли это? Причем массовое? У этих журналов самые большие тиражи...

Что ж, признаюсь, я сам их читаю. Стал ли я от этого глупее, не мне судить — возможно. Но наряду с массовым оглушением нет во Франции человека, который не читал бы (или не говорил бы, что читал, что тоже показательно) «ГУЛаг», книга Л. Плюща на французском языке вышла уже третьим тиражом, множество французов читали уже и Зиновьева...

К слову, о Солженицыне. Три сценки.

Одна в поезде Дувр-Лондон. Я впервые в Англии. И первый англичанин, которого я спокойно мог рассмотреть, усевшись в вагоне после сутолоки на пароходе Кале-Дувр, держал в руках и читал «Август четырнадцатого».

Вторая — проверка паспортов на лондонском аэродроме Хитроу. Молодой человек, впервые столкнувшийся с советским паспортом (тогда у меня еще был серпастый-молоткастый), пока кто-то где-то его проверял, завел со мной разговор о литературе. И выяснилось, что он не только «ГУЛаг» читал, но и «Ивана Денисовича» и «Матренин двор». Вот так-то...

И третий случай. Брюгге. Бельгия. Антикварная лавочка. Вещи — всякие там подсвечники и пистолеты — разложены на тротуаре. Рядом в кресле молоденькая девушка. В руках «ГУЛаг». (Она встала, куда-то пошла, положила книгу рядом, и я увидел обложку.) Это было утром. Вечером я опять проходил мимо — она всё так же сидела, склонившись над книгой, уже кончала.

Мое сердце радовалось.

Так что не только «Пари-Матчи» и «Иси-Пари»... Хотя именно в «Пари-Матч» была напечатана фотография матери Щаранского у здания суда — сидит на каком-то ящичке, седенькая, в очках, что-то читает, а в трех шагах загородка, милиция, с любопытством, тупо разглядывают.

Пойдем дальше, оставив позади обилие и прессу, упоминание о которых считается не вполне дозволенным приемом.

В ящике письменного стола у меня лежит маленькая серенькая книжечка с моей фотографией, именуемая «Титр де вояж». Если я хочу поехать в Италию, Швейцарию, Англию или Германию, я кладу ее в боковой карман, сажусь в поезд, самолет или машину и еду в Лондон, Женеву, Рим. На границе, как правило, никто этой книжечкой не интересуется (если ты едешь машиной — на других видах транспорта задерживают не больше, чем на три-четыре секунды). Правда, в некоторые страны, как-то Австрия, Испания, Португалия, для нас, изгнанников, требуется виза. Получение ее отнимает не больше часа времени. И мы уже ворчим — идти еще надо, стоять в очереди...

Свобода передвижения! Боже, какое это счастье!.. В прошлом году в Афинах, на Акрополе, чертыхаясь из-за обилия туристов — из-за потных, почему-то в большинстве своем японских спин и грандиозных, на голову выше своих хозяев рюкзаков ФРГшных студентов с трудом можно было разглядеть колонны Парфенона, — я с грустью слушал иностранную речь и ни разу не услышал русского слова... В Париже его все-таки иногда можно услышать, в основном, правда, в магазине «Тати», там самые дешевые колготки и лифчики... А в этом году, исколесив чуть ли не половину испанских дорог на машине, мы видели на багажниках обгонявших нас машин только «F», «B», «D», «GB», «NL», «H» — француз, бельгиец, немец (западный), англичанин, голландец, швейцарец, даже если это была «Лада».

А Пласа-Майор в Мадриде? Самый живой, веселый, кипящий, интернациональный уголок Европы. Гитары, песни, хохот, что-то поют, танцуют... И опять эти японцы — рядом с нами человек двадцать расселись, и все с фотоаппаратами, и не лень им и

денег хватает, чтоб пол-земного шара пролететь и именно здесь веселиться — и какие-то бронзовые, курчавые эквадорцы или перуанцы, и хоть бы родной матючок где-нибудь прозвучал... Нет! (Кажется, я заполнил этот пробел.)

Но мы увлеклись. Увлеклись, так сказать, активом капитализма. Поговорим же о язвах. Как ни как, всё же инфляция, безработица, расизм, борьба за существование... С детства учили.

Начнем с последнего.

Когда меня спрашивают, что мне больше всего не нравится в капиталистическом мире, я, рискуя быть проклятым всеми левонастроенными интеллигентами, отвечаю — забастовки! Да — забастовки! И не краснею.

Я вполне разделяю точку зрения В. Буковского, который где-то сказал: «Если говорить о солидарности, то я понимаю ее так: рабочие некоего немецкого, допустим, завода, которые изготавливают, например, трубы по заказу Советского Союза, прекращают работу в знак протеста против преследований в Советском Союзе. Освободите Кузнецова, или Щаранского, или Гинзбурга, тогда и трубы получите. Вот это солидарность!»

Вижу улыбку, а то и сдвинутые брови... Рабочие борются за свои права, это их неотъемлемое право, это и есть демократия. Заступаться за Щаранского и Кузнецова дело, конечно, хорошее, но свой желудок все-таки ближе.

Вот о желудке-то и пойдет речь.

В конце июля этого года работники французских аэропортов, так называемые *aiguilleurs du ciel*, «небесные стрелочники» — диспетчеры и контролеры, объявили забастовку. Одно из основных требований — повышение зарплаты. Законно? Законно. Должен только кое-что разъяснить. Профессор Сорбонны, к примеру, получает 6-7 тысяч франков в месяц. Стрелочник — 8 тысяч! В переводе на советские деньги —

по официальному курсу, т. е. более чем заниженному, — это около 1350 рублей. Много ли вы знаете людей, зарабатывающих столько в Советском Союзе? И можно ли кое-как свести концы с концами и заполнить желудок на этот заработок? Даже при росте цен?

И вот аэродромы бастуют. И это в самый напряженный период — начало каникул. Во Франции август — месяц каникул. Париж пустеет. До 15 миллионов французов — 30-го, 31-го, 1-го, 2-го — рвутся, как безумные, на юг. На дорогах пробки длиною в несколько километров, вводятся дополнительные поезда, на аэродромах не протолкнешься. И в эти-то дни стрелочники и выключились, парализовав не только свои аэродромы, но и всех соседних стран: Париж — главный европейский перекресток. Короче, более полу-миллиона пассажиров в Париже, Лондоне, Брюсселе, Франкфурте, Барселоне что-то около недели провалились на своих рюкзаках и чемоданах, в ожидании рейсов, которые — забастовка была *grève du zèle* — «по всем правилам» — не отменялись, а откладывались — от одного часа до нескольких суток...

Фотографии в парижских газетах напомнили мне московские станции метро, превращенные во время войны в бомбоубежища.

Я спрашиваю — кому в данном случае надо сочувствовать: стрелочнику или пассажиру, на которого стрелочнику с высоты своего неба глубоко наплевать? А ведь кто-то, может, и не отдыхать, а к умирающему летит. И вот никто — кроме пассажиров, но и те больше с голоду, рестораны не управлялись — ни в одной газете не возмущился. Борются за свои права!

За свои! За право купить новую машину (эта прошла уже свои 70 тысяч), или яхту (дети подросли, не отстают), да и вообще Жан-Пьеру надо уже подыскивать квартиру, что-то долго он с этой красоткой гуляет... Разве тут до Кузнецова или Щаранского? А то, что в прошлую, года два тому назад, подобную заба-

ставку из-за неразберих разбился самолет и были жертвы — что ж, выразили соболезнование родственникам. Короче — и на это наплевать.

И профсоюзы — синдикаты, как они во Франции называются, — на защите этих прав. И не мне — приглубленному эмигранту — в эти дела вмешиваться. Да я и не вмешиваюсь. Только удивляюсь. И тому, кстати, что руководители синдикатов, как ни в чем не бывало, принимают у себя деятелей советских профсоюзов и сами ездят в Москву, зная, всё зная о нашей борьбе за свои права. И о Новочеркасске тоже.

Демократия, ничего не поделаешь...

И все же ничего лучшего, будь она трижды гнилой, не найдешь. Просто другого выбора нет. С одной стороны, Советский Союз с беспардонной своей наглостью, со своими ракетами, и передравшиеся между собой Китай, Камбоджи и Вьетнамы, с другой — поддающийся, увы, шантажу, так называемый свободный мир. А между ними «неприсоединившиеся», тоже свара — Египет на Кубу, Кадафи на Египет, Сирия на Ливан, Ирак вообще непонятно против и за кого, за террористов. Есть еще Пиночет и Видела, предмет всеобщей ненависти (лицезрел я не телеэкране и того, и другого, особой симпатии не вызывают. Видела со своей хунтой, довольно долго ожидавший после последнего матча с Голландией этих самых голландцев, так и не пришедших, чем-то очень напомнил мне стоящих на мавзолее наших руководителей — та же невозмутимость на лицах, граничащая с тупостью, ни признака улыбки — что-то есть общее у всех диктаторов). Вот их обвинять можно, везде демонстрации — правые, фашисты! А Иди Амина, бросающего кого не лень в Нил на съедение крокодилам, и эфиопских прогрессивных Менгисту, расстреливающих сотнями своих студентов, лучше не задевать — где-то там у них слово «социализм» существует. А увешанному до колен в три раза больше, чем Жуков и Брежнев вместе взятые,

орденами императору Бокасса I можно даже и наполеоновскую шпагу подарить — он же любит Францию, даже от гражданства не отказался.

И над всей этой шайкой убийц и людоедов высшается и диктует свои условия человек в бурнусе, которого встречают везде с распростертыми объятиями и сто одним выстрелом из орудий, — король Халид ибн Абдул-Азиз, полномостный хозяин Саудовской Аравии, а может, и всего мира. Он прилетает на своем «Боинге», обставленным мягкими диванами, со специальной операционной на случай, если у шейха сердце сдаст, и все двери перед ним открываются — от него зависит уик-энд любого европейца: повысят или не повысят цены на бензин. И беседует он с королями, президентами и премьер-министрами, свита и родственники его тем временем скупают всё, что на глаза попадет, от зубной пасты до особняков и замков, а дома кочевники по-прежнему на 80% безграмотны, и какую-то принцессу публично, на площади, расстреляли за то, что полюбила неверного. И это еще сжалились над ней, а то по закону (XX век!) ее должны были закопать по шею в землю и закидать камнями... А шейх, властелин самых богатых недр земли, тем временем уничтожает устриц и омаров где-нибудь в Букингемском или Елисейском дворце. Того и гляди, в Кремлевский заглянет, попробовать икры.

Но вернемся все же в цивилизованный мир. К своим баранам, к язвам.

Безработица... Встретил я недавно одного безработного. На бульваре Сен-Жермен, в кафе. Сидит себе, кофе попивает, «Франс-Суар» читает. Инженер. Повздорил со своим хозяином, и тот его уволил. Так как он у него проработал менее какого-то срока, пособие будет получать в течение года только 75% последней зарплаты. А зарабатывал он не так уж много, что-то около четырех тысяч — 670 рублей по-нашему...

А я прзволил себе что-то предосудительное говорить о профсоюзах. Нехорошо...

Считается, что большой процент безработных среди женщин. Вероятно, это так, статистика здесь не врет, — но всегда ли учитывается семейное положение безработной? Есть ли у нее муж или нет, никого не интересует — она имеет право на работу, ее уволили, и почему бы ей не получить пособие? И большинство женщин пользуется: дают — бери, за год что-нибудь не пыльное гляди и подвернется.

Хуже с молодежью. Оканчивающей вузы. В основном, гуманитарные. Наблюдается перепроизводство. И устроиться не так уж легко. Правда, хочется по месту жительства: в Париже, Лионе, Бордо — не всякого манит жаркий, сухой или, наоборот, влажный, Сенегал или Чад, там специалисты позарез нужны, и платят неплохо. Но жарко ведь. И далеко...

Возможно, я несколько приукрасил, но, ей-Богу, не очень.

Расизм... Здесь воздержусь. Во-первых, для этого желательно все же предварительно съездить в Америку, посмотреть на крыс в Гарлеме и пылающий ку-клукс-клановский крест, а во-вторых, подождем, чем всё кончится в Родезии, — хочется все-таки ознакомиться со всеми формами расизма.

И, наконец, инфляция, рост цен. С этим сталки-вешься, увы, на каждом шагу и невольно с нежностью вспоминаешь тов. Сталина, который цены не повышал, а снижал, чего многие у нас в Союзе до сих пор забыть не могут. Но, ей-Богу же, не знаю, как француз — думаю, что с раздражением, а я довольно спокойно отношусь к тому, что «Голуаз» стоит не два франка, а 2.30, хотя это, конечно, и свинство. А то, что дорожают квартиры, это действительно плохо, они и без того, особенно в Париже, дороги. В скобках надо, правда, признаться, что вместе с ценами растет и зарплата, но что-то там чему-то не соответ-

ствуется, а вообще — скажу по секрету — затянулась как-то эта инфляция, пора и кончать. Но даже Барр, умный, хитрый, всегда спокойный Барр и тот не знает, с какой стороны к ней подойти.

Ну, и самое скучное в капиталистическом мире, это — налоги.

В силу каких-то неведомых мне причин — все бумаги уже посланы — я почему-то еще их не плачу, боюсь, плохо кончится — но, что касается француза, лучше не заговаривай с ним на эту тему. В Союзе хорошо, там ни о чем не надо думать, всё, что положено, взимают без твоего участия. А здесь всё сам подсчитывай, собирай бумажки, умножай, дели, вычитай и неси, вернее, отправляй, чек. Худшая минута в жизни француза — это запечатывать конверт с чеком внутри. Избежать этой минуты никак нельзя, но что-то там скрыть или перевести деньги в Швейцарию многие пытаются, за что их судят, штрафуют и еще как-то наказывают. Французы таких людей отнюдь не презирают — во всяком случае, и Азнавур, и Холлидей — популярнейшие певцы, у зрителя пользуются не меньшим успехом, а может быть даже и бóльшим.

К слову сказать, в здешней налоговой системе разобраться не так уж легко. Растут налоги чуть ли не в геометрической прогрессии, и случается иной раз (как случилось с известной шведской писательницей Линдгрэн, автором знаменитого «Карлссона»), что налоги превышают заработок. Как и почему, не пойму, но получается. Ингмар Бергман тоже не понял, обиделся и уехал. Кому от этого хуже? Думаю, что не ему, а его родине. Впрочем, по последним сведениям, опомнилась. Бергман возвращается в Стокгольм и приступает к работе над пьесой Стриндберга «Танец смерти». Два года тому назад на репетицию именно этой пьесы явилась полиция и арестовала его. Сейчас решение властей о преследовании Бергмана признано ошибочным. Долгонько думали.

На этом, пожалуй, можно и закончить сии краткие, но правдивые заметки новичка в этом безумном, безумном, безумном мире, хотя к главным язвам мы так и не прикоснулись. Не коснулись терроризма (первый вопрос на всех конференциях — а почему в Советском Союзе его нет? — да потому, что там он не снизу, а сверху...), ограбления музеев и церквей, наркомагии, коррупции. Просто с этими невеселыми явлениями я как-то непосредственно не сталкивался, поэтому и обхожу их. Впрочем, вру. С терроризмом в какой-то степени, косвенно, но столкнулся. Попал в Рим в день похищения Альдо Моро.

Во французских газетах писали, что в этот день Рим походил на осажденный город. «Angoisse!» Тревога! Рим охвачен тревогой. Да, магазины, лавочки — всё закрылось. Боялись эксцессов. И полиции приумножилось. Но я смотрел на этих полицейских, зевающих в своих автобусах, и на двух славных, черноглазых карабинеров, собиравших по карманам мелочь, чтоб купить две бутылочки пива и парочку бутербродов, и что-то никакой тревоги на их лицах не прочел. Чему-то смеялись, полмигивали хозяйке бара.

Другой раз попал я в Турин в день, когда был обнаружен труп Моро. Центральная площадь запружена была людьми. Красные флаги, лозунги с множеством восклицательных знаков, ораторы, громкоговорители, мальчишки со всех сторон облепили памятник то ли Виктору-Эммануилу, то ли Гарибальди... А через час всё утихомирилось, вошло в свои берега, и те же туринцы мирно сидели в кафе и обсуждали очередной футбольный матч... А послезавтра такое же количество людей, даже больше, соберется на площади у собора Св. Петра в Риме хоронить папу, а через две недели смотреть на дым — черный или белый — из Сикстинской капеллы, где по всем правилам замурованный конклав из 115-ти кардиналов будет выбирать нового наместника Св. Петра на земле. Итальянцы — в об-

щем-то приветливый и доброжелательный народ — любят иной раз пошуметь, и поглазеть, и ничего предосудительного в этом нет. А все эти «красные бригады» — болезнь века, а не Италия. Явление это не органическое, а наносное, со стороны, и более или менее известно, с какой стороны.

Итак, подведем некий итог — можно ли жить при капитализме? Большинство западных, в том числе и французских налогоплательщиков — придумали же такое слово, — пожав плечами, ответят, что в общем-то жить можно, но... И «но» у каждого будет свое — у коммуниста, социалиста, радикала, булочника, консьержки, «небесного стрелочника», Жискара д'Эстена, парижского клошара или Жака Месрина — гангстера, врага №1, как его окрестили газеты. И каждый из них может высказать свое мнение, во всеуслышание, кто с трибуны, кто в газетах или журналах, кто за стаканом вина у себя дома или в кафе. Многие, увы, еще верят в то, что социализм (подразумевается «с лицом», непонятно только, с каким) может принести что-то хорошее, хотя и увидели, что в зрелом виде он не очень съедобен. Другие — социалистические партии, например, — считают, что если и не достигли они сияющих (зияющих?) высот социализма, то, взяв в руки кабинеты, неуклонно приближаются к нему. Чего-то они добиваются, даже существенного — зарплата, рабочий день, национализация каких-то отраслей промышленности, — а в чем-то запутываются (те же налоги!), но в конце концов всем надоедают, и их прогоняют. Так случилось в Швеции. Но во все эти дебри я не хочу забираться. Моя задача крохотная. Ответить на самый что ни на есть обывательский вопрос — можно ли жить в этом мире? С его социалистическими или демократическими правительствами, при королях и королевах, с его инфляцией, коррупцией, ну и т. д.?

У меня есть свои «но». Но скорее политические, чем социальные, — робость «капстран», когда они

сталкиваются с хамством Советского Союза, вера в то, что с ним можно как-то договориться, и т. д. Но это политика, а социальное? Теоретически плохо — одни работают, другие наживаются. Не хочется злоупотреблять параллелями (вспоминается анекдот: чем отличается капитализм от социализма? При капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме наоборот!), но капиталист, как правило, наживаясь, никаких законов (своего, капиталистического мира) не нарушает (правда, иной раз довольно хитро обходит), а у нас какой-то Брежнев или Сулов не то что нарушают, они просто живут «своими», народу неведомыми, никем не контролируемые законами. (Один киевский завскладом жаловался мне, что никак не дожидается пенсии. «Сил больше нет, грабят кому не лень. А под суд попаду я. Вчера вот, приехал шофер Ковпака, сам он носу не жает — давай, говорит, апельсины. Даю ящик. А персики есть? Даю и персиков ящик! Заодно и двадцать банок зеленого горошка загребают. Сел в машину — привет! — и укатил. А платить кто будет? Пушкин?»)»

Короче, в капиталистической стране законы обходят, но они есть. По ту сторону берлинской Стены, хотя и существует «свод законов», но нарушают их не знаю, кто больше: злоумышленники или законодатели? А называется всё это одним словом — произвол, словом, начисто исключаящим другое слово — свобода.

Свобода! Господи, как только не обыгрывается это слово, это понятие. Свобода умирать под мостом, свобода издеваться над неграми, свобода вмешиваться во внутренние дела суверенной державы и т. д. И все же, только здесь, на Западе, я понял, что это значит.

Я не озираюсь! Не говорю шепотом, не закрываю все двери и окна, не открываю крана на кухне или в ванной, не кладу подушки на телефон, не говорю «тс-с-с!» и не указываю пальцем на потолок. Никто не

вломится в мою квартиру или в квартиру моего товарища, у которого я остановился на несколько дней, и не скажет «вы нарушили режим прописки, не отметились в милиции», и не посадит в машину, и не отвезет на аэродром, и не купит билет (за мои, дурака, деньги), и не проследит, пока самолет не взлетит (со мной такое было, когда в Москву прилетал Киссинджер). И никто не подойдет к машине моего друга, который встретил меня на вокзале и повез в гостиницу, и не скажет «пройдемте», и мы битых три часа просидим в милиции — есть подозрение, что вы сбили девочку! — и отпустят нас, только когда за окном появится иностранный журналист... Всех этих развлечений я теперь лишен. И писать могу, что хочу, — даже что наш вклад в войну больше, чем всех союзников вместе взятых. И про американские «шерманы», «аэрокобры», «студебеккеры» и свинотушенку тоже могу писать, и никто мне теперь не скажет, что я на них променял кровь советских солдат. Стоит, стоит, тысячи месс стоит Париж, в котором я сейчас живу. И одна из них — свобода умереть под мостом. Что может быть лучше — придешь вечером, ночью к Сене, спустишься по лесенке у Тюильри на набережную, пройдешь под аркой моста Pont-Royal, сядешь себе на лавочку у старого, со свисающими до самой воды ветвями, вяза (люблю я этот вяз) и закуришь. За твоей спиной Лувр, у ног тихо плещется Сена, и одно только окошко светится еще на том берегу. Сидишь и куришь. И думаешь. И сердце вдруг останавливается... Всё... Чем плохо?

10

Жена банкира крайне была удивлена, когда в этот час кто-то позвонил в дверь. Обыкновенно в это время никто не приходил — булочник и молочник всё остав-

ляли у дверей. Она готовила на кухне мужу утренний завтрак (*petit-déjeuner*), он в это время брился.

Она сняла фартук и, взглянув по дороге все же в зеркало, пошла открывать. В дверях стоял молодой, довольно приятной внешности человек. Он улыбался. В руках у него был пистолет.

— Доброе утро... Могу ли я видеть вашего мужа?

Он вошел, закрыл за собой дверь, сделал два поворота ключом и положил его в карман.

— Он еще не встал? Я подожду тогда.

Жена банкира ничего не могла ответить. Она узнала молодого человека. Ей стало страшно.

Из ванной вышел банкир, вытирая лицо полотенцем.

Молодой человек поздоровался. Банкир тоже узнал его.

— Простите за раннее вторжение. Но мне нужны деньги...

Воцарилось молчание. Банкир продолжал машинально вытирать лицо. Молодой человек сунул пистолет в задний карман брюк — он был очень маленький, как в старину говорили, дамский.

— Понимаю, — сказал он. — Больших сумм вы дома не держите. Когда открывается ваш банк?

— В... девять...

Все трое посмотрели на большие стоячие часы в углу. На них было десять минут девятого.

— Ничего, я подожду.

Он огляделся по сторонам, они стояли еще в прихожей, и сделал несколько шагов в сторону столовой. Улыбнулся. У него была приятная улыбка.

— Может, по чашечке кофе? А?

Потом они сидели и пили кофе с круассанами и апельсиновым джемом. Беседовали. Впрочем, беседой это трудно было назвать, говорил, в основном, молодой человек, хозяева больше поддакивали или вставляли короткие «Не может быть... Серьезно?..» и пере-

глядывались — первый страх прошел, но особой раскованности не чувствовалось. Наливая прищельцу в кофе молоко, мадам пролила его на скатерть — руки дрожали. «Гость» сделал вид, что не заметил.

Он рассказывал довольно интересные истории. Его слушали.

В дверях показалась одиннадцатилетняя дочь хозяев. «Гость» тихо сказал, так, чтоб девочка не слышала:

— Не будем травмировать... — и заговорил о затонувшем у берегов Бретани танкере, об этом писали все газеты.

Без десяти девять он, вытерев салфеткой губы, привстал.

— Может, двинем?

Банкир отправился в гараж. Молодой человек стал рассматривать висевшие на стенах абстрактные треугольники и квадраты. Увидев среди них небольшой пейзажик — ветряная мельница, облака — сказал:

— Предпочитаю подобное.

— Это работа деда моего мужа, — сказала хозяйка. — Он был художником.

Вернулся банкир.

Когда они садились в машину, он сказал:

— Надеюсь, вы ее нам оставите? — голос его дрогнул. — Отпуск, знаете ли... Мы всей семьей собрались...

— Ну, конечно, конечно, не беспокойтесь. Я машинами не интересуюсь.

В банке всё прошло очень быстро. Банкир позвонил своему компаньону, тот через пять минут приехал, и они втроем спустились к сейфам. Молодой человек забрал всё, что в них было. Потом поднялись по лестнице, он впереди, банкир с компаньоном за ним, попрощался со всеми служащими и вышел на улицу.

— Было б очень мило, если б вы подкинули меня к Гар дю Нор.

Все трое сели в машину.

Не доезжая вокзала, где-то на улице Лафайет, он попросил остановиться. — Я мигом. Позвоню только.

Оставшиеся в машине двое сидели молча, не глядя друг на друга.

Молодой человек почти сразу же вернулся. Закуривая, сказал:

— Жоржу звонил. Тому самому. Сказал, что свободен. Ваша супруга, естественно, тоже.

Жорж был его напарником, которого он оставил в доме банкира, когда они уезжали — «чтоб вашей жене не скучно было...»

Вылезая у вокзала из машины, он улыбнулся — знал, что улыбка ему идет:

— Ну... чуть-чуть не сказал — «до следующей встречи», но вряд ли вы так уж в ней заинтересованы.

Взял по-военному под козырек и скрылся в толпе.

Все это произошло то ли в апреле, то ли в мае 78-го года в Париже. Имя молодого человека — Жак Месрин — «враг общества №1», как называют его в газетах, с которым читатель дважды уже сталкивался в этих записках. Имя это знакомо любому французу, любого возраста, даже пятилетнему.

Приговоренный в свое время к двадцати годам, он отбывал свой срок в тюрьме Санте. Через пять лет бежал. Опять был судим. Сидел во многих тюрьмах. В начале этого года лихо ограбил одно из знаменитейших казино во Франции, в Довиле. Погоня, стрельба, был ранен. Скрылся. Описанное выше изящнейшее ограбление банка совершил, по словам Месрина, исправляя допущенную ошибку. «Сосьетэ Женераль» крепко его обидело. На одном из процессов, где «Сосьетэ Женераль» было истцом, оно потребовало, чтоб гонорар, полученный Месрином (он в тюрьме написал книгу), был конфискован. Это нечестно. Он так и написал директору «Сосьетэ Женераль»: «Вы

отобрали у меня все деньги. Хорошо! Но я буду считать, что вы взяли у меня их займы». Вот он и вернул то, что ему были должны. Не лишено логики.

В «Пари-Матч» за 5 августа этого года помещено большое интервью с Месрином. Взяла его молодая журналистка Изабель де Вонжен. На большой фотографии они оба. Он снят со спины, вполупорот, сидит в маечке, на кобуре у пояса «Смит и Вессон» типа «Комба-магнум». На другой фотографии справа еще один револьвер — «Кольт-Трупер». С ними он никогда не расстанется. И с гранатой тоже. «Они всегда со мной. В уборной, в душе, под подушкой... Я окружен охотниками, охота началась. Я защищаюсь».

Месрин словоохотлив. Он рассказывает обо всем, во всех деталях, ничего не скрывая. О побегах, ограблениях, о тюремной жизни, о тюремщиках — «есть плохие, но есть и хорошие». Он хитер, ловок, мастер на всякие выдумки, побеги его все продуманы — зажигалки, тайники, веревочные лестницы, переодевания — Дюма! — даже какой-то усыпляющий газ, а сам в маске — такого даже и у Дюма нет. Всё это он называет работой.

Изабель спрашивает:

— Что вы ищете, живя, как вы живете? Денег?

— Денег, конечно! Я не ищу алиби. И не люблю изнанку жизни. Не хочу, стоя перед витриной, думать: нужно десять месяцев проработать, чтоб купить эту штуку. В мире эксплуататоров я не эксплуатирую никого, но я ищу деньги везде, где они есть. И вообще я люблю приключения, риск... Если б меня еще в детстве спросили, кем я хочу быть, я, не задумываясь, ответил бы — бродягой или членом какой-нибудь шайки (truand — возможно, по-русски ближе всего «блатной»). Почему? Да потому, что они вне закона. Я не люблю закон.

В конце беседы Изабель спросила:

— Если б существовала машина времени и вы

могли бы вернуться назад, вы начали б иначе свою жизнь? Или о чем-то сожалели бы?

— Нельзя вернуться в прошлое. О чем-то я, может, и жалею, но сейчас я приперт к стенке. Всё может кончиться завтра утром. Не стоит смеяться над французской полицией. Она лучшая в мире. Француз любит подсмеиваться над ней, но, когда у него сопрут бумажник, он бежит к ней. А я... Я хотел бы жить без этих револьверов, с друзьями, женщинами, быть счастливым. Сейчас это исключено. Кончится всё плохо, знаю. «Le folklore et le champagne, c'est fini»*. Осталось одно — война!

Человеку со Смоленской площади всё это может показаться по меньшей мере странным. Пишут, берут интервью, помещают фотографии (в журнале, кроме двух упомянутых фото, снято еще оружие — а вы думаете, откуда я узнал, что оно типа «Комба-магнум»? — и удостоверение личности зам. начальника Санта, которое Месрин отобрал у него, уложив при побеге наземь, а потом пользовался этим удостоверением, что-то в нем подделав). Чёрт знает что! Человек грабит, убивает, издевается над людьми, осуждает законы, а потом еще говорит, что мечтает о друзьях, счастье... Извращение какое-то — иначе не назовешь, не зря в газетах пишут о растленном Западе.

Возможно, всё это и правильно, но... Опять «но». Между прочим, парижская прокуратура вроде как собирается возбудить дело — нет, не против Изабель, — а против человека, ответственного за публикацию. Очевидно, за недоносительство. Нечто общее с «нами», не кажется ли?

Так о «но»...

Конечно же, где-то глубоко внутри француз (и я вместе с ним) не то что восхищается лихими продел-

* С фольклором и шампанским покончено.

ками Месрина (что там ни говори, никто никогда не бывает на стороне тюремщика), но и не лезет из кожи вон, осуждая его. А о трюках другого гангстера, ограбившего банк в Ницце («ограбление века!»), а потом на суде выпрыгнувшего в окно и прямо на стоящий внизу мотоцикл (кино!) — об этом без восхищения и рассказывать-то трудно. Но при всем при том все качают головой, разводят руками — ну и времечко, ну и порядки, а советские газеты и хлебом не корми — *их нравы!*

Я же, грешным делом, релятивист. Всё относительно, всё в сравнении. А сколько таких Месринов, да и похлеще, водят за нос наши родные органы, которые нас берегут? Может, всё это без утреннего кофе и разглядывания дедушкиных пейзажей, и сейфы не банковские, а сберкасс (тов. Сталин, к слову, предпочитал банковские) — но кто об этом знает? Мы не любим дешевых сенсаций. И вообще — не твое собачье дело!

И суд над Щаранским или Гинзбургом тоже не твое собачье дело. Кто тебя на суд приглашал? Сиди дома и решай кроссворды или с соседом во дворе стучи в козла. Мама на суд явились — еще туда-сюда, всё же мамы — а Сахаров чего приперся? Академик — сиди в своей академии, пока не прогнали. Нет, видите ли, суд, мол, открытый... Для кого открытый, а для кого закрытый. Есть машина — садись и езжай. А нет, вон трамвай четвертый номер, до самого дома довезет (так сказали мне, когда я пытался проникнуть на суд над Сашей Фельдманом. «Писатель? Так пишите, а не нарушайте порядок» — и дальше про трамвай).

Нет, я все-таки за систему, где из зала суда можно, пусть через окно, но удалиться, а не ту, где в этот самый зал и войти-то нельзя. Даже матерям.

Я за систему, где существует то, что называется информацией, пусть даже с тенденциозными, но ком-

ментариями, а не ту, где «обсуждали взаимно интересующие обе стороны вопросы» — точка.

За ту, где газеты — буржуазные, продажные, называйте, как хотите, — могут спихнуть президента, а не ту, где лучшее им место на гвоздике, в сортире.

За ту, где могут оправдать или вынести мягкий приговор преступнику и даже брать у него интервью, а не ту, где люди, которыми страна должна гордиться, называются шпионами и изменниками.

За ту, где могут посадить в тюрьму за то, что ты провез в чемодане двух кошек, нарушив правила карантина (так случилось недавно в Англии), а не за ту, где сажают в тюрьму за книги.

За ту, где пограничник не стреляет в тебя с вышки, а машет на границе ручкой — проезжай, мол.

Называйте, как угодно: капитализмом, империализмом, гнилой демократией, растленным миром купли и продажи, чистогана, потребления, желтого дьявола, и пусть ругают ее и Белль, и Сартр, и все советские, просоветские, и прогрессивные, и левые, и не присоединившиеся ни туда, ни сюда газеты — я за нее. В ней все-таки можно жить! Худо-бедно (скорей, не бедно), но можно. И эксплуатировать тоже можно — знаю. Но и эксплуатируемый живет. Хуже покойного Онассиса или Жоржа Марше, но «дё шво»* если и не в гараже, то под окнами стоит. А у нашего хозяина фабрик и заводов в холодильнике (а фулишь!) поллитровка, если только утром не допил.

А теперь — распните меня!

* Самая дешевая французская машина, в обиходе называемая «две лошадиных силы» или «консервная банка».

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит, бежит
Гвадалквивир...

А. Пушкин

Всегда путал, кто что струит — зефир эфир или эфир зефир. И вообще одно напоминало розовое, пухлое пирожное, а другое — (бр-р!) зубоврачебное кресло. А Гвадалквивир? Вовсе, оказалось, не шумит и никуда не бежит, а так, что-то очень спокойное, застоявшееся. Разочарование. Как и мадридская Мансанарес — помним еще по гражданской войне, линия фронта, — ничтожная, как киевская Лыбедь или так же разочаровавший два года тому назад Иордан...

Гвадалквивир, Испания...

В самом начале, во вступительном слове, я упоминал уже об Испании как о чем-то очень далеком, несбыточном, красивом и недосыгаемом. Испания — мечта, сказка... И никогда ты туда не попадешь.

«А что ты, живя еще на своем Крещатике, хотел бы узнать от друга, оказавшегося вдруг в Париже или Испании?»

И вот я опять оказался в ней.

Испания...

Для моего поколения Испания — это не только корриды, Дон-Кихот, Веласкесы, Эскуриалы и тайны мадридского двора, это и Гвадалахара, Герника, та самая Мансанарес, Университетский городок, Карбанчель, «альто» и «бахо» в героическом — No pasaran! — Мадриде, интернациональные бригады, Пассионария, Хемингуэй... Франко — сволочь и враг, прислужник Гитлера и Муссолини, фалангисты и марокканцы — звери и головорезы, республиканцы — сме-

лые и отчаянные ребята, дерутся, как львы. Все мы мечтали в Испанию...

Вместо этого я, с нарисованными углем усиками, изображал франкистского офицера, ведущего на казнь Гарсия Лорку. Во всеми забытой пьесе Г. Мдивани «Альказар». Играли мы ее на гастролях в Днепропетровске летом 1937 г. (Помню, как обомлели мы, прочитав в висевшей на стене «Правде» сообщение о Тухачевском, Якире, Уборевиче и других изменниках.) Содержания пьесы я, конечно, не помню, помню только, что всё сводилось к героизму республиканцев и жестокости франкистов. История этой войны — репетиции Второй мировой, — очевидно, ждет еще, как говорится, своего историка. Объективного и бесстрастного, как Фемида. Возможно, что-то уже появляется в нынешней Испании — не знаю, — но кое с чем, не совсем совпадающим с тем, как мы представляли себе эту войну, я столкнулся.

Вряд ли кто заподозрит меня в особой симпатии к Франко — диктатор есть диктатор, со всеми им присущими жесткостями и слабостями — но, ей-Богу ж, его режим — это детский сад по сравнению с режимом другого генералиссимуса (Господи, разучился уже писать это слово, запутался в «с»...) Габриэль Амиама, гостеприимный мадридский наш хозяин, в шестилетнем возрасте вывезенный в Советский Союз и вернувшийся в Испанию в 1959 году, рассказывал, что регулярно получал по подписке в Мадриде «Правду», ни один номер не пропал. Само собой разумеется, и заграничные поездки никому не возбранялись — езжай, куда хочешь! И все же фашизм! Без лагерей и Освенцима, но фашизм. В ООН не приняли. Не могут забыть «Голубую дивизию», которую, кстати, кое-кто из русских тоже вспоминает, как одесситы — румын, украинские села — итальянцев.

Но я вспомнил об Альказаре. Вернемся ж к нему, не к пьесе, к другому. Тяжелым, массивным кубом с

башнями по углам возвышается он над Толедо, над путаницей его улочек, над прилипшими друг к другу двух-трехстолетними домами, над извилистой, окружающей весь стоящий на холме-утесе город, на этот раз шумящей и бегущей рекой Тахо. Построен был он как замок, как крепость, еще при Карле I. К началу гражданской войны в толстых стенах его находилась военная академия — пехотная и кавалерийская.

В пьесе Мдивани осада Альказара представлена как некая героическая страница в истории республиканской армии. Насколько я мог понять, это не совсем соответствует действительности. Сама осада длилась недолго — 70 дней — с 21 июня по 28 сентября 1936 года, в самые первые дни войны. В крепости засели франкисты, город был в руках республиканцев.

Как ни странно, но в продающемся в каждом киоске альбоме «Всё Толедо» в самом тексте ни слова не сказано об обороне Альказара, только под одной фотографией — командного пункта полковника Москардо, коменданта крепости, — несколько строчек об этом полуразрушенном кабинете, сохраненном в нетронutom виде, «печальным свидетелем героической обороны».

В малюсенькой брошюре «Эпопея Альказара в Толедо» — в киосках ее нет, только в самом Альказаре — всё изложено подробно.

Защитников было 1200 человек, не считая более чем пятьсот женщин и детей (семьи защитников), упрятанных в подвалы. Осаждавших во много раз больше, поддержанных полевой и 105- и 155-миллиметровой артиллерией, к тому же и авиацией. За два с лишним месяца крепость была почти полностью разрушена. Около половины защитников было ранено, 105 человек убито. Но выстояли. 28 сентября подоспевшие войска генерала Варела осаду сняли. Республиканцы отступили за Тахо.

Один из эпизодов обороны. На второй день после начала осады — 23 июля. Телефонный разговор между осаждающими и осажденными. На одном конце начальник милиции республиканцев, на другом полковник Москардо.

Нач. милиции — На вас лежит ответственность за дальнейшие жертвы и преступления. Я требую сдачи Альказара в течение десяти минут. В противном случае будет расстрелян ваш сын Луис, который здесь, в наших руках.

Полк. Москардо — Не сомневаюсь в этом.

Нач. милиции — В доказательство того, что я говорю, ваш сын возьмет сейчас трубку.

Луис Москардо — Папа!

Полк. Москардо — Что происходит, сын мой?

Луис Москардо — Ничего. Они сказали, что расстреляют меня, если ты не сдашь Альказар.

Полк. Москардо — Тогда вручи душу свою Всевышнему, воскликни «Да здравствует Испания!» и умри как патриот.

Луис Москардо — Крепко целую тебя, папа.

Полк. Москардо — Я тоже крепко тебя целую, мой сын. (Нач-ку милиции): Ваш ультиматум бесполезен, Альказар не будет сдан никогда.

Луис Москардо был расстрелян. Ему было 23 года.

Мне, в свое время воевавшему против фашизма, олицетворявшего всё самое бесчеловечное и жестокое, было как-то не по себе, когда я стоял в Альказаре перед портретами двух фашистов — отца и сына — двух героев... Разве могут у фашистов быть герои? Героическая оборона?

Альказар полностью восстановлен. Перед ним памятник. Женщина. Испания... В воздетых к небу руках меч. Такая же женщина, как в Ленинграде на Пискаревском кладбище, торжественная, величавая, спокойно глядящая в будущее — только у этой в руках меч,

а у той цветы — а на Мамаевом кургане у такой же, уверенной в победе, но экзальтированной, тоже меч, да еще занесенный.

Мамаев курган...

Казалось бы уже столько о нем сказано, написано, вспомнито, а я вот опять к нему. Да. Но не к тому, изрытому лопатами и бомбами, исползанному на брюхе вдоль и поперек, усеянному скрюченными, замерзшими трупами, и нашими, и вражескими, нет, не к нему, а к сегодняшнему, где не найти уже следов окопов, где всё подметено и подстрижено, где лестницы и бассейны, устрашающие скульптуры голых и полуголых защитников и над всем этим та самая Мать-Родина с мечом в руке — стометровая, самая большая в мире, больше статуи Свободы...

Я думал, вспоминал о Мамаевом кургане, подъезжая по длинной, выющейся среди низкорослого сосняка, пустынной аллее, ведущей к Долине Павших.

Valle de los Caidos — Долина Павших — мемориал в честь павших в гражданскую войну. В шестидесяти километрах от Мадрида, недалеко от Эскуриала, на высокой скале, среди лесов, холмов, озер.

Режимы, основанные на силе, не могут без грандиозного. Мощь, величие, циклопические размеры, Нюрнбергский стадион, стадион «Олимпико» в Риме, мемориал в Бресте, Мамаев курган, к счастью, неродившийся Дворец Советов с теряющимся в облаках Ленином.

Памятник, который открылся нам после последнего витка дороги, тоже грандиозен. Скала. На ней крест, видный за десятки километров. 150-метровый. В скале, в самой скале, храм. Перед ним эспланада. Вокруг, насколько хватает глаз, леса, долины, озера, вдали снега Сьерра-Гвадаррамы, над нами небо, жаворонки.

Впечатление сильное — ничего не скажешь. Особенно, когда, пройдя сквозь бронзовые врата, всту-

паешь в прохладную, гулкую базилику, теряющуюся далеко где-то вдали. Полумрак, с трудом можешь различить гобелены на стенах. Сцены из Апокалипсиса. XVI век. Предполагается, что соткано по эскизам Дюрера. Впереди распятие, сияющее среди сумрака. Ты идешь долго, очень долго. В нишах рельефные изображения Мадонны. Мадонн Кармель и Лоретт — покровительниц вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, Мадонны Африки — покровительницы пленных, и четвертой — Пилар. Одна галерея сменяет другую. Крипта... Четыре бронзовых архангела. Михаил — вождь небесной рати, Гавриил — вестник Бога, Рафаил — целитель, и ангел смерти — Азраил с поникшей головой. У Гавриила, возвестившего Деве Марии о рождении Христа, в руках почему-то меч, кажется, единственный во всем этом храме жертвам войны. Посередине алтарь полированного гранита. На нем распятие. Из можжевельника, полихромное — в Испании во всех церквах деревянная скульптура раскрашена. Над головой, на сорокаметровой высоте, купол. Мозаичный — души возносятся к престолу Христа.

У подножья алтаря, с одной и другой стороны, две плиты. Франсиско Франко и Хосе-Антонио Примо-де-Ривера. Цветы.

Идея памятника — идея Франко. Он задумал, при его царствовании и воздвигли. Памятник всем павшим на войне. И тем, и другим. Церковь благословляет всех проливших кровь испанцев. Она не делает различия. Крест на скале осеняет Испанию, всю, всех ее сынов.

А всех ли? — слышу я голоса. Учтены ли две тысячи испанцев, погибших уже после войны по воле этого маленького властолюбивого генерала, лежащего под плитой у подножия распятого Спасителя? Кто ответит на это? Азраил — ангел смерти?

...На кладбище это мы натолкнулись совсем случайно. Искали Усть-Камчатский рыбокомбинат. Нам сказали, что он в конце длинной пыльной улицы, именуемой «Комсомольской», возле кинотеатра «Родина». Мы пошли по длинной пыльной улице и натолкнулись на кладбище. В самом центре площади — громадной, бесформенной, песчаной. Возле самого комбината, напротив «Родины».

Я видел много кладбищ в своей жизни. Разных. Тихие ухоженные рижские, где за оградами на волнообразно причесанном песке лежат как бы невзначай брошенные хризантемы. Заросшие деревенские погосты с черными, покосившимися крестами. Новодевичье с часовенкой над могилой Чехова и двумя холмиками рядом — большим и маленьким — Станиславского и Лилиной. Видел Арлингтонское в Вашингтоне, где похоронен сейчас Кеннеди. Там холмиков нет, только маленькие плитки бесконечными, уходящими вдаль рядами. Средневековое пражское, в самом центре города, где древние каменные плиты с полустертыми надписями подпирают и выталкивают друг друга. Видел по ранжиру построившиеся белые кресты «айзенкрейцрегеров» — кавалеров Железного креста — у развалин универмага в Сталинграде. И старое, разрушенное еврейское в Киеве, у Бабьего Яра. Видел Трептов-парк в Берлине, Вечной славы в Киеве, одинокие крестики на Мамаевом кургане, поставленные окрестными жителями, Марсово поле в Ленинграде и десятки, сотни маленьких кладбищ на околицах сел и деревень со стандартными фигурами печально склонившихся воинов.

Кладбище, на которое мы натолкнулись, не имело ни тропинок, ни дорожек. Десятка два воткнутых в землю железных труб, колючая проволока. Внутри с полсотни почти сравнявшихся с землей холмиков, кресты из тех же ржавых труб, полусгнившие деревянные пирамидки. Здесь давно не хоронят. С трудом

можно разобрать надписи на табличках. Их почти не видно — ветер, дождь, снег, годы...

*В. С. Пекарский
р. 1933, ум. 1940
(Погиб в пургу в своем дворе)*

Семилетний мальчишка вышел, очевидно, по нужде во двор и не вернулся. Пурга. На Камчатке снегом заносит дома иногда по самые трубы...

*Рыжков А. И. р. 1912
Погиб I/IX-40 от удара лошади*

Кому-то показалось необходимым сообщить нам, отчего умер двадцативосьмилетний Рыжков.

Вот мрачный, некладбищенский юмор:

*Здесь покоится прах умерщвленного Бахусом
моряка р. р. «Юпитер» Михайлова С. К. 1902—1954*

Написал друг и собутыльник. И крепко выпил, когда заказывал табличку. И очевидно, так же кончил...

На кресте спасательный круг. Внутри круга табличка, сохранившаяся почему-то лучше других. Может, круг и спас от непогоды. Надпись:

*Погибли в барах 27/1—36
Туманов, Степаненко
Спасая товарищей, погибли вместе с ними,
Спасая Андреева, Сидоркина, Зиновьева,
Слюняева, Кочергина.*

Бары — это подводные наносы песка у устья реки. Это очень опасные места, рыбаки это знают. И все же гибнут. Вот так же и эти ребята погибли.

Кто они? Никто не знает. Никто не помнит. Это было так давно, почти тридцать лет назад.

Еще одну надпись удалось разобрать. Тоже погибли в барах.

*Моряки к/р «Исследователь» —
Куртин Д. Р. 1912, Воскресенский И. П. 1915 г.*

Тоже тридцать лет назад — 9/Х—1935.

Об остальных ничего не известно — остались только холмики, заросшие жалкой травой, размытые дождями; на одном из них — пустая поллитровка и недоеденная банка болгарского перца...

И бльем поросло... Какое меткое, какое грустное, страшное слово.

Стоит себе кладбище, обнесенное проволокой, в самом центре площади, против кинотеатра «Родина». И никто его не замечает. Стоит, ну и пусть стоит. Привести в порядок? А средства? А кому? Дел и без того хватает. Вот с планом, например. Должны были к 1 июня... И тебе начинают говорить о плане, нехватке оборудования, ремонте цехов, прогнозе погоды. И телефон надрывается, и кто-то что-то требует, кто-то в чем-то отказывает, и опять что-то срывается или может сорваться. А ты о каком-то кладбище...

Я позволил себе привести этот маленький, давно мною написанный рассказик о далеких камчатских могилах, так как часто вспоминаю о них. И на Мамаевом кургане, попадая туда, и бродя среди поверженных плит разрушенного по чьему-то высочайшему повелению еврейского кладбища в Киеве, и здесь, у ног гигантского распятия на скале. Вспоминаю и в горестные дни, когда хороню друзей.

Мы хоронили Сашу Галича. Неожиданная, нелепая смерть, в которую как-то и поверить было трудно. Он лежал на полу, большой, грузный, а над ним

его убийца — сияющий никелем «Грундиг» — именно о таком он мечтал, большом, ультра-стерео, с бархатным звуком. Он любил музыку... Потом пришли полицейские. Тихо, беззвучно, точно боясь причинить ему боль, уложили в гроб. Сняли и отдали мне крестик. И ушли. Унесли, тихо прикрыв за собой дверь.

Потом мы его хоронили.

Хоронили на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. И в этом было тоже что-то непонятное, несуразное. Не в Москве, где его знали, любили, слушали собравшись у друзей, не в России, поющей его песни везде — в глухой тайге, на Курилах, в знатных домах, в общежитиях, в тюрьмах и лагерях, — а здесь, в Париже, на тихом кладбище Сент-Женевьев-де-Буа...

Какое красивое, задумчивое, какое нефранцузское кладбище. Там камень, мрамор, гранит, плиты, склепы, мавзолеи. Здесь березы. Много, много берез. И под ними кресты... Бунин... Ремизов... Зиновий Пешков, французский генерал, приемный сын Горького... Вика Оболенская — героиня Сопротивления... Теперь и Саша Галич.

Здесь похоронена эмиграция. Здесь «свалка истории». Та самая, где и мы, грешные, окажемся. И лежать нам рядом с Буниным, Ремизовым, Сашей Галичем... И рядом с дроздовцами, корниловцами, хорунжами Войска Донского, атаманом Улагаем.

Все смешалось в доме... Нашем доме. Разметало живых и мертвых по всему свету. Живые, и тут и там, тянут (одни пешком, другие на машинах) свою неодинаковой тяжести ляжку. Ушедшие, кто на Новодевичьем, кто в Сент-Женевьев-де-Буа, кто в Бабьем Яру, кто просто в яме с биркой на ноге.

Хозяева России... Одного пристрелили, сожгли со всеми близкими, развеяли по ветру. Другой покоится еще в хрустальном гробу, и миллионы, миллионы выстраиваются в очередь, чтоб посмотреть на мумию (кто-то пророчески сказал — пока будет существовать

эта очередь, будет существовать и советская власть). Третий — царь царей — какое-то время пролежал рядышком, потом выдворили — тайно, ночью, без свидетелей, — и на могиле его у кремлевской стены три, включенные в какую-нибудь ЦКовскую ведомость, цветочка, как у какой-нибудь Крупской (у Гагарина до сих пор горы цветов, без всяких ведомостей). Ближайшему другу и соратнику царя пустили пулю в лоб или в затылок другие его соратники. В кремлевскую стену запикивают каких-то Кулаковых, а основные кандидаты туда доживают свой век, копаясь в огородах и гадая, куда их бранные останки денут. Куда, например, девать «Вячека-Каменную Задницу», тов. Молотова В. М. когда он отдаст, наконец, душу Богу или дьяволу? На Новодевичьем, рядом с Никитой? Или можно все-таки на центральную аллею — в деятельности Никиты Сергеевича, как-никак, «проявился волюнтаризм и субъективизм» (БСЭ, том 28), а у Вячеслав Михайловича ничего не проявилось — «с 1962 года на пенсии» (БСЭ, том 16) — грехов не было. Ни крови на руках, ни отклонений от линии. (Тов. Тов. Кагановича и Маленкова в БСЭ и вовсе не найдешь — не было таких, и точка.)

Смешалось, смешалось, всё смешалось...

Хожу по аллеям тихого, зеленого кладбища. Почти как киевское, Байково, где за одной решеткой покоятся мама, бабушка, тетя Соня. Передо мной на столе фотография — скромный памятник, крест. У ограды пожилая, седая дама. Я с ней никогда не встречался, она эту фотографию, снятую в Киеве два года тому назад, прислала из далекой Австралии. И несколько засушенных цветочков с могилы. Вера Павловна Тоцкая... Авось, мы когда-нибудь встретимся, и я смогу сказать ей всё, что в данных случаях хочется сказать.

Брожу по дорожкам среди берез и плакучих ив, ослепительно ярких, пушистых елей... Иван Шмелев.

Константин Сомов. Мережковский и Зинаида Гиппиус. Художница Серебрякова. Я с ней когда-то переписывался — послал ей фотографию с портрета ее няни. Забытый ею, висевший у меня на стенке. Борис Зайцев...

И рядом много-много действительных статских советников, членов Государственного совета, корнетов лейб-гвардии кирасирского Его Величества полка, прапорщиков, поручиков, капитанов. Гофмейстерина Высочайшего Двора Е. А. Нарышкина, урожденная княжна Куракина. Маркиз А. А. Андро де Ланжерон... Монумент памяти генерала Деникина, барона Врангеля, адмирала Колчака, всех тех, с бородками и в папахах, теряя оружие, на костылях, в панике бегущих от красного штыка в мозолистых руках, какими мы знали их по карикатурам Бориса Ефимова, Дени, Кукрыников...

Вот мои будущие соседи...

И среди них один только Саша Галич — близкий, свой, так рано и нелепо ушедший.

Кружу по аллеям. Кресты, кресты, кресты. Мраморные, гранитные, металлические, простенькие деревянные.

Умер, скончался, мир праху твоему... Памяти 15 тысяч убитых в боях дроздовцев... Памяти Вики Оболенской, кавалера ордена Почетного легиона, расстрелянной немцами под Берлином 4 августа 1944 года.

В. С. Пекарский — погиб в пургу в своем дворе...

Погибли в барах, спасая товарищей — Туманов, Степаненко — погибли вместе с ними.

И стоит себе кладбище, обнесенное проволокой, в самом центре площади, против кинотеатра «Родина». И никто его не замечает. Стоит, ну и пусть стоит...

Немцы... Не те, «айзенкрейцтрегеры» у сталинградского универмага, которые в нас стреляли, а другие, у берлинской Стены. Вдоль всей Стены кресты. На них венки, у подножья цветы. Преступники, изменники! Хотели убежать из тюрьмы. При попытке к бегству. Пулю в спину...

12

Бог ты мой, как далеко увела меня могила чужого, маленького (а кто из них был выше? Кажется, один под стать другому) генералиссимуса?

Вернемся ж с печальных кладбищ Камчатки и Франции на раскаленный, плавящий сорокаградусной июльской жарой мозги, Иберийский полуостров. Поговорим о чем-нибудь менее грустном, о красивом, о старине. Всего этого хватает в нынешнем королевстве Бурбонов.

Удивительное все-таки королевство — не привык я к этому в нашей федерации свободных республик — единственный портрет короля Испании (кроме марок) мы увидели за день до нашего отъезда, в маленьком городишке Фигерос, в... музее Сальвадора Дали. Прославленный художник, подаривший родному городу этот музей, отъявленный монархист и друг нынешнего короля Хуана-Карлоса — портрет его, во весь рост, вполне официальный фотопортрет, в адмиральском, если не ошибаюсь, мундире, на самом почетном месте. И без всяких штучек-мучек и выкрутас, столь любимых мастеров. Нет — тут пиетет более чем неожиданный.

Но это было в конце путешествия, до него еще пять тысяч с лишним километров, начнем же с начала, как в старое доброе время.

Выехали мы из дому в субботу, восьмого июля, в семь часов утра. Не на «Симке» или «Рено», а на терра-

котового цвета «Ауди», купленной Витей за 13 тысяч франков (одни считают, что дорого, другие, что дьявольски повезло) и проехавшей у прежнего своего владельца за четыре года 58 тысяч километров. Ехало нас трое — мы с Витей спереди, перетянувшись предохранительными ремнями, Мила, его жена, сзади, где иной раз можно и всхрапнуть, устроившись вдоль сиденья. Тогда на какое-то время прекращались указания насчет светофоров или уменьшения скорости до 90 км/ч, выше которой начинающему водителю (наш, Витя, получил права два месяца тому назад) развивать нельзя.

Маршрут — через Андорру до Барселоны, дальше, по побережью, до Альмерии — это самая южная точка — затем на север — Гранада, Севилья, Кордова, Толедо, Мадрид — и, предполагалось, через Бильбао — Сан-Себастьян назад, домой. Длительность поездки — три недели.

Время для туризма выбрано было не лучшее — нас страшали сверхчеловеческой жарой (была-таки) и тридцатью семью миллионами туристов, которыми пугал зачем-то других туристов испанский министр туризма и информации (не так оказалось и страшно — страшно на Коста-Браво, на модных пляжах севернее Барселоны). Пугали нас и отсутствием гостиниц, вернее, забитостью их всё теми же тридцатью семью миллионами. И мы взяли палатку.

Ах, палатка, милая ты наша палатка... Три минуты, и она разбита. Где-нибудь среди агав и камышей, у самого синего моря. Надуваются матрацы. Разжигается примус, вернее, голубая газовая плитка-горелка. Готовится ужин. Потом, насытившись и развалившись в складных наших креслицах (купили по дороге вместе со столиком, захотелось комфорта), покуриваем, любуясь закатом и первой на чистом-чистом небе звездочкой. Подводим итоги дня...

Буду откровенен — упомянув выше об агавах и камышах, я картину несколько приукрасил. Они укра-

шали наш быт только однажды, под Таррагоной, в основном же, окружавшее нас напоминало скорей свалку. Мы выбирали места попустынное, подичее, но отдыхающий испанец или иностранный турист до нас уже тоже здесь побывал. И не так уж старательно за собой убирал. Но рядом было море, теплое, прозрачное, приветливое, и мы наслаждались им и вечерней звездой, плюя на банки и скомканые газеты.

Ребята жили в палатке, жалуясь иногда на то, что что-то капает сверху, я в машине, откинув спинку. Утром болела шея, но после купания все проходило. Ели комары. Победили и их, купив какое-то средство. Короче — я окунулся в нечто давнее и прекрасное.

В том давнем и прекрасном не было палаток, ночевали в каких-то пещерах или у сердобольных горцев, в душных их саклях. И никаких машин, всё пешком. За спиной жалкие наши рюкзаки (куда до теперешних, с какими-то металлическими рамами), в рюкзаках хлеб, концентраты, пластинки (четыре коробки — уже вес!), громоздкий, с гармошкой фотоаппарат «Фойхтлендер» — перезаряжай ночью, в штанах, укрывшись одеялом. И протопали мы так все Военно-Сухумские, Военно-Осетинские, Ингурскую тропу, всю Сванетию, забрались даже на Эльбрус... Прекрасные, далекие, золотые дни моей весны.

Но и эти, глубоко осенние, немногим уступали тем. К стыду своему, должен признаться, что вечера эти и утра, еще прохладные, пустынные, вдали небоскребы какого-нибудь Аликанте или Бенидорма (на карте генеральной крохотная точка, а в натуре небоскреб на небоскребе и прочий курортный шик), мусорники наши и свалки, и даже двое полицейских (никак не могли понять, что мы собираемся здесь не пять дней просуществовать, а пять часов, до утра), разговор с которыми кончился дружеским похлопыванием по спинам, именно это — окунание в далекое и прекрасное — вспоминается сейчас с особым умилением.

А Мурильо (лучший — в Севилье), Веласкез, Эль-Греко, Гойя, Зурбаран? А Альгамбры, Альказары, Прадо, львиные дворики в Гранаде, мечеть в Кордове? О да, конечно, что вы, — мы ходили из дворика в дворик, из катедрали в катедраль (я уже как дядя Коля — вакансии, авион, синема...), из зала в зал, от Гойи к Греко, от Греко к Гойе, взбирались на стометровую колокольню в Севилье («подъем легкий, без лестниц», там пандус), спускались в Эскуриале в гробницу испанских королей (кто-то из советских почитаемых поэтов, то ли Ошанин, то ли Островой, неплохо сострил — «лежат один над другим, как чемоданы в камере хранения», — действительно, похоже), побывали в Мадриде на корриде (Мила, как все женщины, осудила — жалко быка), а в Кордове даже в Музее тавромахии (портреты, мулеты, эстокос — шпаги знаменитых тореро), скупали охепками открытки, виды, буклеты, проспекты, альбомы всех городов и музеев, снимались на фоне гениальных творений Антонио Гауди (и всех остальных альказаров, памятников, фонтанов, пальм и авенид) и только на канатной дороге над Барселоной не проехали — Мила сказала, что через ее труп. Короче — чести туриста не уронили. И все же...

Давно и всем известно, что в музеях больше двух-трех залов за раз осматривать нельзя («пойду-ка освежу в памяти Кранаха, Босха...»), в Париже я одно время пытался делать такое с Лувром, но, став волей или неволей туристом, ведешь себя, как турист — всё Прадо снизу доверху, справа налево. Потом уже не чувствуешь ног под собой, валишься вечером, как подкошенный, в своей «резиденции» (так именуются в Испании самые дешевые отели, по-старому «меблирашки», в которых мы и находили приют), и в голове сумбур, каша — где ж мы это видели — в Гранаде, в Толедо, в Кордове? А и там, и там, и там мы видели столько прекрасного, истинного, неповторимого, что, переваривая (или не переваривая) потом все это на сво-

ей коечке в резиденции, невольно задаешь себе вопрос — да почему ж всё это? Почему всё вылилось в то, во что вылилось: железо, заклепки, болты, саженные, забрызганные краской полотна, иногда висящее, иногда качающееся, крутящееся, звенящее, пищащее? Понимаешь, что за веком не угонишься, что реформаторы в искусстве всегда были непоняты, что над Клодом Моне и Сезанном в свое время издевались — мазня! — и ругаешь себя за консерватизм, отсталость — и все же — почему? Не буду называть фамилий, чтоб не прослыть дремучим реакционером, но почему на этих, неназванных, я смотрю, потому что нельзя не посмотреть, неприлично, а перед каким-нибудь «Caballero desconcido» — «Неизвестным кавалером» Греко в музее Прадо или перед «Христом, поддерживаемым ангелом» Антонелло де Мессина, впервые увиденным мною в том же Прадо, долго стоишь, и разглядываешь, и что-то стараешься понять, а одним словом — наслаждаешься.

На старости лет я как-то растерялся. Не могу определить, что и почему я люблю. «Кто ваш любимый художник?». Не знаю. Левитан? Пожалуй. А Клод Моне? Тоже. А Серов, Врубель? Да, да, да... Сурикова, вот, меньше. А Микельанджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи? Шагала, Пикассо? Отстаньте, не хочу отвечать... «Мир искусства» люблю — Добужинского, Остроумову-Лебедеву, Сомова, книжную иллюстрацию, само оформление книги — на какую же высоту они его подняли. И это *моя* высота — старый Петербург, каналы, мосты, дворы со штабелями дров, Версальские аллеи Бенуа. Но, когда попав в библиотеку Эскуриала, я увидел рукописные книги XV-XVI века (инкунабулы, что ли?) с изумительной филигранности картинками про королей и принцев, про их охоты и сражения, я понял, что есть высоты в чем-то недостижимые. В Испании таких высот — что ни город, то высота, горные цепи, кряжи. И взбираясь, карабкаясь

по ним, задыхаясь, вдруг останавливаешься перед каким-то пиком и немеешь.

Так было со мной во Флоренции, в Уффици, когда я открыл для себя Паоло Учелло, художника, не так уж много после себя оставившего. С радостью обнаруживал я его потом в Лувре, в Оксфорде.

Впервые увидел я в Лондоне и великого Тёрнёра. Знал о нем, но никогда не видел — его картин в Европе почти нет, в Эрмитаже, кажется, только одна. Знал ли (конечно, знал!), любил ли его Клод Моне?

Впервые в Лондоне же узнал я о существовании Джона Мартина. Немыслимых размеров полотна его (я видел только те, что в «Тэт-галлери») изображают всё самое страшное в жизни нашей планеты (тут это модное нынче слово как нигде уместно) — всемирный потоп, конец света, Страшный суд. Вы хорошо помните брюлловский «Последний день Помпеи» — так это детская идиллия, элегия Масснэ в сравнении с грохотом рушащихся скал, раскатами грома и бешеными молниями, сверкающими в клубящихся тучах над гибнущими, тонущими в кипящих океанах мирами. Стоишь оглушенный всем этим ревом и гулом (ты слышишь его!) и трепещешь в ожидании неизбежного конца... Мне эти живописные катаклизмы противопоставлены, но я стоял, и смотрел, и купил потом альбом, и люблюсь сейчас портретом Джона Мартина работы, очевидно, его брата — удивительно красивое, тонкое, утопающее в бакенбардах лицо английского аристократа. И что особенно поражает, это спокойствие лица — как будто ничто в мире человека не беспокоит, мысли его отдыхают среди изумрудных лугов любимой Англии.

Романтизм... Здесь, в Париже, на выставке «Романтизм и символизм» познакомился я с Каспаром Давидом Фридрихом, немецким романтиком, с его затянутыми утренним туманом домиками и горными вершинами, заброшенными кладбищами, руинами

замков, серпами полумесяцев над всей этой задумчивой грустью, восходами и закатами, несущимися куда-то тучами, распятиями на диких скалах (почти «Долина павших»...), с его, как выяснилось, знаменитым «Путником, созерцающим облака»...

Густава Моро я знал с детства по одной только его «Саломее», копию с которой делала одна наша знакомая. Теперь же, оказалось, я живу в двух шагах от его музея, в который, хоть он и рядом, попал только после многократных «Как, вы еще не были в музее Моро?». Попал и понял, что он как живописец мне чужд (хотя его и считают родоначальником сюрреализма), а нравятся мне только его тонкие, карандашные рисунки и пейзажи.

Я много слышал о знаменитом норвежце Вигеланде, о его скульптурном парке «Жизни человека» в Осло (потом и увидел, и понял, что это тоже одна из вершин), но я никогда не слышал о шведе К. Миллесе, а ведь Millesgården, Сад скульптуры, — одна из главных достопримечательностей Стокгольма. Миллес своими летящими, парящими, куда-то всегда устремленными фигурами знаменит не только в Швеции — во всем мире, а я услышал о нем, увидел его на шестьдесят пятом году своей жизни.

Ах, до чего же приятно открывать для себя что-то новое... Я не открыл для себя Эль-Греко, но открыл его «Евангелистов». В Толедо, в Casa del Greco. Парад складок — так можно было бы назвать эти портреты, где всё как будто построено на одеянии, не пышном, веласкезовском, а простом, ниспадающем и окутывающем, но так хорошо оттеняющем или выделяющем лица самих Евангелистов. И я выбрал себе Иоанна Богослова, молодого, кудрявого, задумчивого, и портрет его стоит сейчас у меня на полочке. Стоит еще и потому, что совсем недавно, в прошлом году, мы были соседями. В Греции, на острове Патмос. Келья, в которой писался «Апокалипсис», была в двух авто-

бусных остановках от меня. У монастыря веселый, черноглазый шофер выкрикивал: «Апокалипси!», и тучи туристов вываливались наружу...

В Прадо открыл я для себя совсем незнакомого Боттичелли. «Historia de Nostagio» — называются три картины, составляющие одно целое. Некий всадник на белом коне, в развевающемся красном плаще, гонится за прелестной обнаженной девушкой, настигает ее, и она, затравленная собаками, падает у длинного пиршественного стола, насмерть перепугав сотрапезников. Содержание картины мне не ясно — кто? что? почему? — но я впервые столкнулся с таким динамичным, действенным, сюжетно-драматичным Боттичелли.

Новое, новое, все время что-то новое, впервые виденное, неожиданное...*

В Испании это на каждом шагу.

И все же, если вы спросите меня, что же мне в этой стране — в общем-то не поражающей красотами природы, без лесов, с сухими, желто-красными, поросшими оливами равнинами, с агавами на юге, с пальмами, с горами, но не ахти какими, с нищеватыми деревушками — если спросите, я отвечу — именно она, с этими сухими равнинами, не ахти какими горами, но зато городами... И не музеи, с собранными в них сокровищами, о которых я только что перед этим говорил (они прекрасны, но все же есть еще и Лувр, и Эрмитаж, и Британский музей, и Мюнхен, и Ватикан, и... и... и), а эти тесные, запутанные, выющиеся в гору улочки Толедо, решетки на севильских окнах, ослепительная белизна южных домов с синими тенями, прохладные галереи вдоль улиц, барселонские фонари (на Пласа-Реаль самого Гауди), бронзовые воины на ко-

* Под большим секретом (потому и в сноске) — стоять перед впитавшимся в тебя с детства поленовским «Московским двориком» или Саврасовым в парижском Гран Палэ — не меньшая радость, но это уже не только область искусства.

нях и штатские господа с бородками или с мольбертами в руках — Веласкез, Мурильо, Гойя (в Союзе одному только Репину памятник, и спроси москвича, где он стоит, — не ответит), кокетливое изящество и бравада тореадоров, и доброжелательность шоферов грузовиков — одно удовольствие их обгонять, всегда махнет рукой, когда можно — и лимонад не со льдом, а со снегом, который долго не можешь высосать через соломинку — одним словом, Испания! Каталония, Андалузия, Кастилия... Только с кухней она нас не порадовала — уж больно соленая, — да и ресторанчики мы выбирали подешевле, и меню всегда было загадкой.

Ну, а трудящиеся? Трудолюбивый, героический, талантливый испанский народ? Испанцы, испанки? Если одним словом ответить — понравились. Даже полицейские — столкнувшись, разошлись по-доброму. А вообще-то Иберийский полуостров, как мы знаем, отнюдь не един. Все жаждут автономии, а то и полной независимости. Это модно. Каталонцы даже на машинах буквы, обозначающие страну (К вместо SP — Испания), поместили на желто-красном вертикально-полосатом фоне. И таблички с названием улиц заменили на каталонские. А в районе Аликанте (это уже не Каталония, это Левант) на всех дорожных знаках кем-то размашисто зачеркнута буква «е» в конце «Аликанте» и «и» заменено «а» — Алакант. Тоже чего-то хотят. В Страну Басков — мы собирались возвращаться через Бильбао и Сан-Себастьян — нам попросту настойчиво рекомендовали не заезжать. Увидят французский номер на машине, побьют стекла. Совсем недавно там были беспорядки, даже границу с Францией пришлось закрыть.

Испания демократизируется. И довольно быстро. Спортсменского вида, широкогрудый король оказался прогрессивным. Даже слишком, как считают некоторые. Сидящий внутри его антифранкизм (генералиссимус не очень-то его жаловал) потянул его вдруг в Ки-

тай, говорят, и в Советский Союз собирается. Но так или иначе, Испания купается (а, может, скорее барахтается) в своей заново приобретенной свободе, которой, как всегда, не хватает. Разрешили партии, автономию, упразднили цензуру, а вот с терроризмом не знают, что делать. Но разве только Испания?

Я задаю себе (да и не только себе) вопрос — а что было бы, если б победили не франкисты, а республиканцы? В ответ пожимают плечами. Вряд ли было бы лучше. Кто кого больше расстреливал в ту войну, трудно сказать, но известно, что Франко открыл границу всем бежавшим из Германии евреям («тс-с... А вы знаете, что сам Франко еврей? Да, да, это точно, уверяю вас...») и вообще обманул самого Гитлера — тому не удалось по-настоящему втянуть Испанию в войну, как Италию, например («Голубая дивизия» была скорее символом, чем реальной силой). И на поклон к нему не ездил — встретились, как равноправные, где-то на границе Испании и Франции.

Нет, победи республиканцы — те самые, в рядах которых было столько прекрасных, честных, искренних людей, — другие, не прекрасные и не честные, превратили бы Испанию в то, во что они умеют превращать любую страну. В Испании нет, увы, своей Воркуты и Колымы, но была Сахара со своим климатом. А кандидаты нашлись бы. И в немалом количестве. И не было бы шумной, веселой, разноязычной Пласа-Маойр в Мадриде, и всех этих укромных, милых таверн, и запретили бы бой быков, и монастырские земли превратили бы в совхозы (а монахов — в Сахару), и секретарь компартии Гранадской волости требовал бы от колхозников выполнения плана, и все вместе без конца благодарили бы партию и правительство за счастливую жизнь. И на всё это взирал бы гигантский, с рукой вперед, Ленин на месте никому не нужного Дон-Кихота со своим Санчо Пансой на пло-

щади Испании, переименованной в площадь Ленина, или Сталина, или Долорес Ибаррури.

Чего только могло ни случиться за эти сорок лет? Могла и Стена появиться. Мадридская Стена... Нет! Советские танки все же далеко. А без них Стену не возведешь.

Три слова об Андорре и на этом закончим наше путешествие. С Андорры мы его начали.

Мой друг Лёля Рабинович, он же писатель Леонид Волынский, как-то сострил. Говорили о перенаселенных супергигантах — Китае, Индии, СССР, США, — и тут он, перефразируя царских жандармов, сказал: «Ох, хорошо бы скомандовать — больше трех миллионов не собирайся!» Действительно, хорошо было бы. А меньше еще лучше.

Может, поэтому я и отдаю предпочтение тому, что называется карликовыми государствами: Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино — больше двадцати пяти тысяч они не собираются. Ватикан, хотя в нем всего тысяча жителей, отбросим, особь статья.

Долины Андорры — официальное название этого со-княжества, со-principauté, расположенного в восточной части Пиренеев на границе между Францией и Испанией. Со — потому что вместо одного суверена у Андорры их два — французский президент (а до этого король, а до короля граф де-Фуа) и испанский Урхельский епископ. Им с тринадцатого века до сегодняшнего дня Андорра платит дань — символическую! — запутались в переводе дукатов и луидоров в нынешние пезеты и франки. Сколько всего андоррцев, не ясно — по БСЭ, шестнадцать тысяч, по «Statesman's Year Book», 26 558. Длинной она тридцать километров, шириной — двадцать. Вокруг горы — миллионы туристов приезжают сюда зимой кататься на лыжах.

Но не это поразило нас — ни «со», ни странный язык, смесь французского, испанского и каталонского,

ни кристальной чистоты воздух — поразило нас то, что не могло не поразить, а заодно и не вызвать лютой зависти, как у всякого нормального русского человека. В Андорре самые дешевые в мире алкогольные напитки. (Кажется, нет косвенных налогов!) Несколько цифр (в переводе на франки): во Франции поллитра московской водки — 37-40 франков, в Испании — 15, в Андорре шесть! И не поллитра, а 0,7. «Московской» мы, правда, не нашли, а купили «Иванова» и «Волкова» с роскошными двуглавыми орлами на этикетке. Долго соображали, сколько же взять — не каждый же день такое встречается! — но победило несвойственное русским благоразумие — урезали свои аппетиты. Испугала еще и длиннющая очередь машин на границе из Андорры во Францию — таможенники прекрасно знают, что французы везут в своих багажниках. Шесть франков не сорок, а француз расчетлив. К слову, в Норвегии та же поллитровка — 90 франков! И в Осло в одном только магазине, и в определенные часы. Бежать из этой страны! Или самогон гнать, чем, между прочим, норвежцы и занимаются.

Больше об Андорре ничего не скажешь — были мы в ней один день. Пробудь мы там больше, я обязательно покопался бы в ее архивах и разузнал бы всё про... царя Бориса. Да, да, был такой царь. Захватил в 1933 г. «андоррский трон» и сколько-то там времени процарствовал. Кто он? Откуда? Единственное, что успел вычитать в путеводителе, — это, что фамилия его-де Скосырев...

Подведем же общий итог. За двадцать дней проделано 5680 километров. На бензин истрачено 1000 франков, на остальное — еда, резиденции, сумки, шали, кинжалы, кувшины, тонна открыток и соломенная бычья голова с рогами — 5000. Говорят, не много. Года три-четыре назад было б меньше, Испания сла-

вилась своей дешевизной. А теперь — инфляция, будь она трижды проклята!

Автомобильно-дорожная сторона предприятия. И водитель, и «Ауди» сдали испытание на пять с плюсом. Зажигание, сцепление, искра и что-то там еще на шоферском языке ни разу не подвели, ни одного чиха. В Барселоне сделали нам крохотную вмятину, тут же исправленную, а в Париже закрашенную. Дороги сносные, автострад мало, главная вдоль побережья. Мы их избегали — скучно. Страстью к обгону водитель не заразился, разве что к самому концу — слишком уж много грузовиков и «караванов» (домик на колесах за машиной) на дорогах. Скорость — 100-110 километров в час. (Увы, мой верный спутник и водитель по дорогам Европы, Вова Загреба, любитель 160 км/час, в конце концов вдребезги разбил свою машину и два месяца пролежал в больнице, что не помешало ему тут же купить еще одну, на этот раз, «Фольксваген».) Единственное, чему Витька за двадцать дней никак не мог научиться, это тушению сигарет. Мнёт, мнёт, мнёт, а она все дымит. А надо спокойненько, аккуратно сбить горящий пепел и не суетиться — все само погаснет.

Взаимоотношения? Как ни странно, но лютой ненавистью друг к другу не воспылали. Чего-то там иногда вспыхивало, в основном, на ресторанной почве («Тут же три вилки изображено — знаете, сколько это потянет? И скатерти слишком крахмальные — не для нас!») — вспыхивало и тут же гасло.

Да! В подсчете расходов я забыл главное — фото пленку. Основная статья расходов, холодею при одном воспоминании... Отснято восемнадцать пленок! 360 кадров! Из них удостоились попасть в альбом сто с чем-то. Впрочем, великий Картье-Бресон считает, что два-три хороших снимка на пленку (36 кадров) уже хорошо. Увы, мой фотоурожай на этот раз был оби-

лен, но шедевров не дал. Штук десять-пятнадцать неплохих снимков и всё.

Правда, самые интересные у меня отобрали. Да, просто взяли и отобрали пленку. Долго не могли открыть аппарат, но открыли и забрали. И где? Не на таможне, не на границе (это меня удивило бы, но не так уж, чтоб слишком), а в музее Сальватора Дали, в Фигерос. Нельзя и точка — вот и объявление висит! Все мои пламенные ссылки на сходство с КГБ («Виктор Платонович, не унижайтесь!») не возымели никакого действия — прекрасные снимки с чудачествами прославленного мастера, которыми я мог порадовать друзей из Союза, непроявленными были брошены в корзину.

Я обиделся, купил новую пленку и злорадно отснял мусорное ведро под мраморной уличной дощечкой «Площадь Гали и Сальватора Дали»...

13

Есть люди, которые с детства любят ковыряться в будильниках, разбирать замки, возиться с разными колесиками, винтиками, не расстаются с отвертками, стамесками, гаечными ключами. Мне все это было чуждо. Я любил путешествия. И до сих пор мне кажется это самым интересным.

Так начинается вступление «от автора» к книге «Путешествия в разных измерениях», выпущенной «Советским писателем» через пять лет после опубликования в «Новом мире» моих злосчастных очерков об Италии и Америке.

Дальше идет рассказ о юности, рюкзаках и Эль-брусах, а за ним другой:

«В войну я несколько охладел к пешему хождению, но к путешествиям — нет. Будь у меня возможность, время и деньги, я б подобно Меркурию, богу

не только торговли, но и путешествий, объездил бы весь земной шар... Что может быть интереснее?»

Сейчас — это уже не из вступления — возможность и время появились (с деньгами, правда, не так уж густо), и я с радостью отдал себя во власть Меркурия.

За четыре года изгнаннической жизни я побывал в восемнадцати странах. Из европейских (по сю сторону Стены) не был только в Португалии, Дании, Ирландии и Люксембурге.

О границах уже говорил. Не замечаешь. То, что ты в Германии, определяешь по увиденному на какой-нибудь станции черно-желто-красному флагу, да *entrée* превращается вдруг в *Eingang*. Вот и всё.

О свобода передвижения! Подобно Катону с его Карфагеном, я готов каждую свою речь не только кончать, но и начинать с этого восклицания!

Свобода передвижения!

Суслов хвастался Светлане Аллилуевой тем, что никто из членов его семьи не был за границей — просто не интересуются. Ну и семейка, подумал я. А сколько раз мне говорили: «Что вы всё за границу рветесь? Мало вам Советского Союза? Жизни не хватит, чтоб весь его объездить...» Что ответишь? Живи Миклухо-Маклай не при проклятом царизме, а сейчас, ему, наверное, то же самое сказали бы: «Дались вам эти папуасы... Своих эвенков, что ли, не хватает?»

Весь мир (капиталистический!) на колесах, на крыльях, с рюкзаками за спиной. Летят, едут, идут, взбираются, купаются, ныряют, щелкают фотоаппаратами направо и налево, изнывают в музеях, храпят в палатках, сидят друг у друга на шее в бесчисленных кемпингах, рискуя взлететь на воздух (мы проезжали мимо того самого Лос-Альфакес, где взорвалась цистерна с газом протан-бутаном — словами не опишешь, черным-черно, все сгорело!)...

Мир на колесах! Хотят видеть, знать, расширять. И среди этого моря, затопившего всю Европу, загорелых, потных и свободных людей, жалким островком промелькнет сплоченный коллективчик наших, советских. То в Лувре их увидишь, то на Пер-Лашез, то в том самом «Тати», где колготки по карману. И всегда озирающиеся, ищущие друг друга. Был и я когда-то таким. Знаю. «Не позже одиннадцати! Не опаздывать! Не рассредотачиваться!» Не!.. Не!.. Не!.. Кругом провокации!

Свобода передвижения!

Свобода выбрать то место, где ты хочешь жить...
Свобода возвращения.

Всю жизнь я мечтал жить в Париже. Почему? А чёрт его знает, почему. Нравится мне этот город. Хочу в нем жить! (Ей-Богу ж, советская власть сделала мне неоценимый подарок, предоставив мне эту возможность.) И я в нем живу. И мне нравится. Прижился. Позади, далеко уже позади дни, когда я говорил себе: «Вика, остановись! Ведь перед тобой Эйфелева башня! Ты понимаешь — Эйфелева башня, Тур Эфель?.. А там вот Лувр, внутри Джоконда, Венера Милосская, можешь зайти, посмотреть, всего пять франков... Понимаешь ты это или нет? Париж! Ты в Париже!» Всё это уже позади. (А в Толедо еще говорил, и в Мадриде, Севилье, Кордове...)

Больше того, он стал *своим* городом. Я возвращаюсь в него, как домой.

И, как в свое время возвращаясь из дальних путешествий в свой родной Киев, я замечал, с радостью или огорчением, все новшества, все появившиеся или убранные киоски, выросшие дома, посаженные деревья, перенесенные остановки, я огорчаюсь или радуюсь теперь всем новшествам здесь, в Париже, в моем девятом округе, на моей улице...

Вспоминаю, каким событием было в моем детстве появление на нашей Кузнечной (виноват, Пролетар-

ской, потом Горького) улице первых пяти фонарей. Высокие, изящные, с крутой завитушкой вверх, столбы эти сиротливо и бесцельно с царских еще времен стояли по обе стороны бульвара. И вдруг в один прекрасный день какие-то дядьки по лестничкам взошли до этих загогулин и повесили фонари. Вечером они зажглись. Сколько света! Сколько радости! Пять жалких фонарей на весь квартал. По вечерам мы выходили на балкон и любовались. Бродвей!

И сейчас, через пятьдесят с лишним лет, не в Киеве, а в Париже, я иду от станции метро по авеню де Лисе к дому, где живут дети, и с какой-то радостью (тогда была еще и гордость — вот наш Киев какой!) смотрю на то, как ставят новые фонари, асфальтируют проезжую часть, делают какие-то стоянки для автомобилей между деревьями. Что это такое? Районный микропатриотизм? «Приезжайте к нам сюда, посмотрите, как у нас хорошо...»

Ну, а в Киеве что?

Не знаю... Стена!

Иногда, очень редко, преимущественно из «Правды», кое-что узнаю. Воздвигли новый памятник Ленину — очень большой вождь, а перед ним четверо с винтовками, охраняют, что ли? Теперь на Крещатике два Ленина — у Бессарабки и здесь, на площади Калинина, которая стала вдруг Октябрьской Революции, а Всесоюзного старосту сослали куда-то на окраину. Строят второй музей Ленина. В начале Крещатика, на месте прокуратуры. Новая линия метро, с Подола. Памятник — наконец-то, через тридцать лет, — в Бабьем Яру. Что там вылеплено, по фотографии понять трудно, что-то героическое, мускулистое, уверенно смотрящее в будущее. Жертвам «временной оккупации». О национальной принадлежности — упаси Бог! — ни звука.

Вот и всё, что знаю о Киеве, городе, с которым так много связано, где каждая улица, каждый дом,

каждый фонарный или трамвайный столб что-нибудь да напоминает.

В далекие, прекрасные дни юности, когда мы с Ясей Светом издавали газету «Радио» 1979 года (Господи, через год уже!), милый наш Киев рисовался как-то Нью-Йорком. Но детская фантазия была убога, предел нью-йоркости заключался в ста (!) линиях трамвая (тогда их было девятнадцать). Тогда же гордостью нашей был кинотеатр Шанцер (даже в Москве такого нет!), самый большой пляж (пожалуй, это так и есть), лучший из вокзалов (я его строил и очень им гордился), ну, а парки, сады — весь мир знает...

Но все это сейчас где-то далеко-далеко позади. Было и нету. Забито последующим. Последними годами, полковниками Старостинными, обкомами, райкомами, парткомами — позор Некрасову!

(Во «Взгляде и нечто», рассказывая о своих партийных передрыгах, я упоминал о некоем Солдатенко — в прошлом секретаре райкома, позднее ответственном секретаре Союза писателей, с которым я перед отъездом имел беседу. Упитанный, разжиревший, он сидел в своем громадном кабинете и утверждал, что не читал и никогда не будет читать «ГУЛага» — антисоветчины он не читает...

Уже здесь, в Париже, просматривая материалы очередного украинского съезда писателей, я обратил внимание, что нигде нет фамилии Солдатенко. Ни в президиуме, ни в правлении, ни в секретариате, ни даже в ревизионной комиссии. Чудеса! Проворовался, значит... И выяснилось, что, действительно, проворовался — брал взятки за путевки в Дома творчества. Вы думаете, судили его? Как бы не так. Сейчас он директор какого-то университета культуры.)

Киев уплыл от меня. Далеко-далеко... Со всеми своими парткомами, Солдатенками, садами и парками, золотистым песочком пляжа, фонарями, каштанами, последними трамваями, доживающими свой век

где-то на окраинах. Когда нашего Вадика как-то спросили, знает ли он, где находится Киев, он ответил: «Знаю. За границей». А для меня за Стеной. Все за той же Стеной, из-за которой не доносится до меня уже ни одного голоса. Из Киева.

Последним был голос Снегирева. Но и он умолк. Все умолкли. Один за другим. Запугали, застращали.

Господи, что же это за страна такая? За что ей выпала такая доля? И неужели конца этому не будет?

И опять-таки нет ответа.

В медицине есть такой термин — холодный абсцесс. Это нечто тянущееся, гниющее, незаживающее. Здесь, по-моему, тот самый случай. Что-то изменится, что-то смягчится, что-то, наоборот, завинтится, уйдет Брежнев, появится новый (как огня, боятся этого в Союзе — почему-то никогда не верят в лучшее), и все будут по-прежнему терпеть, выполнять, пере-выполнять, обманывать, воровать и шепотом восторгаться Сахаровым или каким-то новым, дающим право думать, что не всё еще у нас сгнило...

А вдруг? А вдруг всё будет иначе? И настанут времена... Давайте же помечтаем об этих временах. Ведь мы народ романтиков, мечтателей, об этом все газеты пишут.

МЕЧТА № 1

— *Что прикажете?*

— *Двести грамм салями. Только не венгерской, а итальянской... И сто грамм осетринки... Или, нет, севрюги лучше*. Сыры у вас какие?*

— *Вам остренький или попреснее?*

— *Камамбер, пожалуй, грамм двести... Лангусты свежие?*

* Где-то я прочитал, что на Сахалине в те далекие времена Николая Кровавого бурлаки чуть ли не подняли бунт из-за того, что их каждый день стерляжьей ухой кормили.

— *Лучше омары возьмите, только что получили.*

— *Омары так омары. Парочку вот этих вот.*

— *Икры не желаете?*

— *Представьте, не ем.*

— *Жаль. А то у нас свеженькая, и не иранская. Взвешивается, заворачивается в тонкий пергамент и укладывается в целлофановый мешочек. Улыбка. Заходите, пожалуйста.*

(Место действия отнюдь не «Гастроном №2» на углу Арбата и Смоленской, а любой продмаг Ярославля или Вологды.)

МЕЧТА № 2

Омск, Томск, Курск, Стерлитамак... Промтоварный, обувной, писчебумажный, ювелирный. Отмеряют, упаковывают, целлофановый мешочек, улыбка, заходите, пожалуйста...

В автосалоне несколько задерживаетесь, колеблетесь между «Ауди» и «Вольво».

— *Знаете, я посоветуюсь с домашними, никак не решу. Завтра загляну.*

— *Милости просим. Всегда рады. Кстати, будет новая партия «Тойота». И мотоциклы «Ямамота».*

МЕЧТА № 3

— *Что новенького получили?*

— *Набоков, Авторханов, мемуары Геббельса.*

— *Имеется.*

— *«Чонкина» пятую часть брали?*

— *Брал.*

— *Корнилова «Две мобилизации»?*

— *Даже с дарственной надписью.*

— «Реквием» Ахматовой с иллюстрациями М. Шемякина?

— Вот этого нет. Покажите.

Листаю.

— Поля узковаты. Поэзия любит воздух.

— Вам для подарка? Тогда возьмите подарочное издание. Вадим Делоне, «Мордовская лирика».

— Уже вышла? Дайте-ка. И Зиновьева, вижу у вас на полке.

Ну, и т. д.

(И это не лавка писателей на Кузнецком мосту, и даже не магазин № 100 на улице Горького, и если не Сыктывкар или Йошкар-Ола, то Горький или Днепропетровск — виноват, Нижний Новгород или Екатеринбург.)

МЕЧТА № 4

Издательство «Писатель» (бывш. «Советский писатель»). Новый директор, вместо исключенного из Союза писателей Лесючевского, но всё та же Валечка Карпова — главный редактор.

— Дорогая Валентина Михайловна, забудем прошлое. Раз и навсегда. Читатель не хочет В. Кожевникова, понимаете? И Г. Маркова тоже. Не хочет! Читатель! Ясно?

— Да, но...

— Что но? Разве я сказал выбросить из плана? Нет, не сказал. Но тираж дать по 5 тысяч... А где Ерофеев? Почему не на «Е», а в конце? Ох, Валечка, Валечка... Ему двойной массовый тираж. Ясно? Со всех сторон запросы.

МЕЧТА № 5

Зал «Мютюалитэ» в Париже. Забиты все проходы, сесть негде. В президиуме ученые, писатели, Но-

белевские лауреаты. Приехал из Вермонта 'А. И. Солженицын. Председательствует Пьер Эмманюэль.

Выходит к трибуне.

— Мы собрались сегодня в этом зале, чтоб чествовать приехавшего в Париж после стольких лет тюрьмы, замечательного русского человека и писателя...

Лавина аплодисментов не дает возможности услышать имя писателя. Все встают. По проходу идет бледный, усталый, худой, красивый человек. Эдуард Кузнецов...

МЕЧТА № 6

Берлин. Потсдаммерплац. Под стеклянным колаком нечто серое с колючей проволокой.

Э к с к у р с о в о д : — Перед вами остатки того, что называлось когда-то Стеной позора. Сейчас ее нет, но кусок ее, как некое напоминание и предостережение, решено сохранить, законсервировать. А теперь прошу в автобусы. Отправимся в здание бывшего ЦК СЕПГ. Там сейчас выставка «Сталин и Гитлер, искусство одной эпохи».

МЕЧТА № 7

Пленум Центрального Комитета КПСС И н ф о р м а ц и о н н о е с о о б щ е н и е

22 июня 198... года, в Москве, в Большом Кремлевском дворце, состоялся пленум ЦК КПСС. С докладом «О выполнении и перевыполнении всех намеченных планов» выступил, встреченный овацией, Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. ...

Постановили:

Заслушав доклад Генерального секретаря ЦК КПСС о выполнении и перевыполнении всех планов,

признать линию партии правильной. Учитывая сложившуюся ситуацию — выполнять больше нечего, всё выполнено — считать существование Коммунистической партии нецелесообразным и нерентабельным, а потому распустить ее.

Москва, Кремль, 22 июня 198... г.

Восьмая мечта вырисовывалась, как всенародное ликование после опубликования Информационного сообщения, но, поскольку в этот день упились все и автор в том числе, восстановить картину невозможно.

14

Я один. Совсем один. Все разъехались. Семья — четверо в одной «Ауди», не считая собаки, — на юг, к морю. Друзья-иерусалимцы, а в прошлом киевляне, — на восток, туда, куда дальше на восток не пускает Стена.

Я один. В пустом Париже. Тишина, покой. Никуда не торопись (к телефону в том числе), не решай неразрешимых семейно-бытовых проблем (главная — куда деваются деньги? Совершенно непонятно), вставай, когда хочешь, укладывайся спать, когда вздумается, лежи и читай, сиди и пиши. Думай. Вспоминай. Размышляй о бренности существования, глядя в окно на ставни противоположного дома. Хотелось бы бескрайнего неба с клубящимися, розовыми от заката облаками и голубую полосу дальнего леса, но, ей-Богу, и в парижских ставнях своя прелесть. Им — из моего окна — лет сто, а может и больше. Как и всей улице, не изменившейся со времен Мопассана и Бальзака. В трех или четырех кварталах от меня, на улице Дуэ, жил когда-то Тургенев у Полины Виардо. И Гюго, и Густав Моро, и Ренуар, и Ван Гог, позднее — родоначальники сюрреализма: Бретон, Арагон, Пре-

вер, Дюамель — все они жили, писали, встречались, ссорились, мирились именно здесь, в моем девятом «аррондисменте», на соседних улицах. А дальше, выше, ближе к Монмартру — пляс Пигаль, та самая...

Вот и сижу. И пишу. Поглядываю на ставни. Они белые, с жалюзи — в Париже почти все такие, — большинство из них закрыто, парижане еще не вернулись с юга. А надоест смотреть на ставни, смотрю прямо перед собой, на стену. Это другая стена. Прекрасная. Фотографии, рисунки.

Внизу — мама. За вечерним чаем. На Крещатике 15. Сидит в своем кресле. Любимая поза, когда слушает, — сложенными руками подпирает подбородок. Беседует с кем-то из гостей. Все пьют чай. С вареньем. В открытую дверь видна спальня — карта Парижа во всю стену, на ней портрет Жана Габена...

Над мамой — панорама Киева. Тылы Большой Житомирской, заросшие кустарником холмы и овраги, вдали силуэт Андреевской церкви, шпиль «замка Ричарда Львиное сердце» — когда-то мальчишками играли мы во дворах его в «сыщиков и разбойников».

Над Киевом — сталинградская передовая. 1950 год. Пусто, голо. Слева — водонапорные баки — сколько пролито было крови из-за них; справа — обвалившиеся, размытые дождями окопы. Выросли какие-то кустарники. Одинокая братская могила — столбик-obelisk «Защитникам Сталинграда». Кому точно — неизвестно. Обелиск чуть побольше, бойцам нашего полка, на фотографию не попал — он в стороне... Ничего этого теперь нет. Стометровая Мать-родина, ступени, гранит, бетон.

Рядом с панорамой офицеры 88-го гвардейского саперного батальона. Где-то в Польше. Все молоденькие, все в орденах — очень любили мы тогда ордена. На самом переднем плане Коля Митясов, пилотка кокетливо сбита набок...

И много-много еще фотографий... Иван Сергеевич прикуривает трубку. Огонь спички озаряет его горбоносое, с опущенными на трубку глазами лицо... Лёля Рабинович у приемника ВЭФ, закинув за голову руку, чуть хмельной, слушает, по-моему, «Болеро» Равеля... Исачок Пятигорский, любимый Исачок, самый умный, самый добрый, самый верный из моих товарищей. Никого из них уже нет — ни Ивана Сергеевича, ни Лёли, ни Исачка. О них потом. Для друзей. Для себя.

Вверху слева — Ваня Фищенко, лихой мой разведчик. Шарж, морда бандитская, с цыгаркой во рту. В Париж бы тебя, а?

В маленькой металлической рамке Славик Глузман. Кудрявый, совсем еще мальчик... За плечами уже шесть лет лагерей. А впереди, если выпустят, еще пять ссылки... Мама не дождалась — умерла...

Алик Гинзбург... Бородатый, с ребятишками своими. Подарил мне это фото в последний раз, когда мы виделись. На квартире у Наталии Солженицыной — Исаич был уже в Цюрихе. Звонил оттуда. И все были тогда веселы. И веселее всех Алик. А сейчас... Восемь лет! И ссылка.

И еще много, много фотографий. И рисунков. Сохранившиеся моего брата, ультра-левые, абстрактно-футуристические. Талантлив был, а нигде никогда не учился. Семнадцать лет...

И крохотный, свешивающийся с лампы Мессершмит — Me-109. Медленно крутится на нитке, пикирует.

Все это — прошлое. Разное. И чай с вареньем, и Болеро, и братские могилы... И настоящее. Невеселое. Славик Глузман, Алик...

И между нами Стена.

Раньше она называлась Железным занавесом. В советской транскрипции обязательно в кавычках и с предварительными «якобы». Сейчас это реальность

в 165 километров длиной. В самом центре, самом сердце Европы.

А теперь закройте глаза и представьте себе на минуту следующее:

Вы выходите из центрального Телеграфа — посылали кому-то телеграмму — и направляетесь вверх, по улице Горького, допустим, в редакцию «Нового мира». Идете себе, не торопясь, покуривая. Мимо «Мехов», Моссовета — направо Юрий Долгорукий на своем коне, Институт Ленина. Глазеете по сторонам. Но народу почему-то все меньше и меньше. И троллейбусов нет, машин. Миновали Малый Гнездииковский, подходите к Большому и... Из Большого Гнездииковского лезет Стена. Высоченная, метра три, а может быть и больше, гладкая, серая, сверху на распорках в виде буквы «V» колючая проволока... Вылезает из переулка, тянется вдоль тротуара, потом под прямым углом через улицу Горького и упирается в ВТО...

Стоп! Дальше нельзя!

За стеной пустырь... Нет Пушкинской площади, садика, памятника. Пустырь. До самого здания «Известий». А от «Известий» до сберкассы вторая стена. А посередине ничего, ровно, бурьян. И в два ряда, с этой и той стороны, то есть в четыре ряда — стальные ежи. Там, где был памятник, — вышка. И там, где раньше стоял Пушкин, — тоже вышка. И на ул. Чехова тоже вышка. Везде вышки...

Страшный сон. Кошмар. Бред. Кафка...

Вот так и ходит пожилой берлинец по своему Берлину. Когда-то, молодым, назначал свидания на Потсдаммерплац. Под часами на высокой башне регулировщика, хотя на крохотном этом островке и повернуться было негде. (Сохранилась только открытка — трамвай № 72, пятый номер двухэтажного автобуса, кто-то под самыми часами торопливо влезает в

открытую машину, на часах двадцать минут второго...) Потом гуляли по Тиргартену, через Бранденбургские ворота выходили на Унтер ден Линден...

Аккуратненькой трапецией с закругленными углами окружает Бранденбургские ворота четырехметровая, новая, гладкая, бетонная, вместо прежней грубой, из шлако-блоков, Стена. Налево, мимо Рейхстага, к Инвалиденштрассе, к стадиону им. Вальтера Ульбрихта (а в Москве улица такая есть, и живет там мой друг по имени Юлик), направо, к тому самому Чекпойнт-Чарли, вдоль заросшего чертополохом пустыря, где была когда-то Имперская канцелярия, к Потсдаммерплац и дальше. И от Травемюнде, от Любекской бухты до Рудных гор Чехословакии, до города Аш, всё вышки, вышки, колючая проволока, пулеметы, самостреляющие установки. В маленьком целлофановом конвертике (приобрел у Стены) металлический кубик $0,5 \times 0,5 \times 0,5$ см, один из ста десяти таких же кубиков, который вопьется в тебя из самострела М-70, если отважишься пересечь границу... 1578 — запомните эту цифру — 1578 таких смельчаков нашлось за один только первый семестр 1978 года, не побоявшихся смерти, лишь бы вырваться. И еще 3764 были проданы Западной Германии за деньги, за валюту*. А всего бежало на Запад за всё существование ГДР — три миллиона человек! Единственная страна, в которой население уменьшается. С 19 миллионов упало до шестнадцати.

Вот так и живут берлинцы. Старики вспоминают часы на площади, где теперь пустырь с дикими кроликами (а может, и то, как кричали «Хайль», вытянув руку вперед), тридцатилетние отцы семейств помнят, что в их детстве Стены еще не было, и можно было... Ну, хотя бы сесть в метро и проехать из одного конца города в другой. А дети их, появившиеся на

* По сведениям западноберлинского «Комитета 13 августа».

свет одновременно со Стеной, уже бредутся, тайком покуривают, вспоминать им пока не о чем.

О чем же они думают? Отцы и дети.

И те и другие — представить только, два поколения! — родились уже при оккупации. Тридцать три года в их стране чужие войска, казармы победителей. Состояние войны не кончилось. Мир не подписан. Тридцать три года...

Так о чем же они думают? Отцы эти и дети? По эту и по ту сторону Стены?

По ту, именуемую Германской демократической республикой... Одни бегут, другие стреляют по этим бегущим, третьи смотрят западное телевидение, читают «Neues Deutschland» и вздыхают, не зная, что отвечать, когда сын спрашивает, правда ли, что есть две немецкие нации — западная и восточная.

А по эту сторону? Бежать некуда и незачем*. Читают, что хотят, пишут, что хотят, почему-то не бастуют, за кружкой пива осуждают или не осуждают Баадера со товарищи, а о Стене... Ох, боюсь, что уже привыкли. Не утверждаю, но боюсь. Возмущаются, негодуют, а она всё стоит и стоит, семнадцать лет стоит.

Что ж — стрелять по ней, атаковать ее? А детант? Не начинать же гражданскую войну, немец на немца? И гражданскую ли? Всемирный пожар.

И другое я слышал, упоминал уже об этом. Любим мы или не любим Хонекера, но понять его можно — убери он Стену, и опустеет его Германская, та самая демократическая республика. Хрущев это давно понял.

* Впрочем, читал я в газетах, что один такой нашелся. Трижды перебирался через стену. С Запада на Восток. Трижды его хватали и сажали в психушку. ГДРовцы, конечно. Потом им это надоело и обратились к ФРГшным властям — заберите его, наконец, нам он осточертел. А за лечение заплатите, даром ничего не делаем.

И стоит Стена, рассекает нелепыми своими выступами, зигзагами город, страну, весь мир, рассекает надвое. И у подножья ее кресты.

Дитер Вольфарт... Герда Бланк... Ганс Дитер Везер... Аксель Ханнеманн... Эрн Кельм... Хорст Франк... Ольга Зеглер... Аксель Брюкнер... Оттфрид Рекк... Вернер Пробст... Гюнтер Литфин... Рольф Урбан... Лотар Зеннманн... Школьник Берндт — 13 лет...

Их убили. Им не удалось преодолеть Стену. Пятьдесят четыре человека! (А тех, кого пуля миновала, — три тысячи — в тюрьму!) Имена этих пятидесяти четырех несли на плакатах мимо Стены те, кто привыкнуть к ней не может, те, кто по мелочам (мелочам ли?) собрали обвинения, хранящиеся в музее у Стены. Те, у кого Стена проходит через самое сердце...

Мир разделен, разрезан, разорван, растерзан надвое.

Но и там и там живут. Кто как может. Одни хорошо, но говорят, что плохо. Другие плохо, но говорят (не думают, упаси Бог), что хорошо. Третьи ничего не говорят — стреляют. Четвертые подают им патроны. Пятые только говорят, по бумажке или без. А остальные? В каждом мире по-своему, но живут...

Я жил в обоих мирах. В одном долго, в другом только начал. Одному отдал всё, что мог отдать: молодость, мечты, устремления, в какое-то время даже веру, к другому только присматриваюсь.

— Ты о прошлом не жалеешь? — спросил меня как-то мой друг.

— Нет, не жалею.

— И об ошибках тоже?

— Тоже. Они всегда чему-то учат.

— А я жалею, — сказал мой друг. — Я считаю, что у меня прошлого нет. Я учился, работал, воевал и, кажется, не хуже других, вырастил и выдал замуж дочерей и только сейчас, на склоне лет, понял, что начал жить. У меня теперь своя страна, я ей нужен.

Я могу принести ей пользу. Там я не знал, кому я приношу пользу. Поэтому у меня нет прошлого.

На этом разговор кончился. Ни один из нас не пытался убедить другого. У одного не было прошлого, но теперь нашлась своя страна. У другого прошлое было, но страну свою он потерял. А может, она его? А может, никто никого и не потерял? Только разъединили...

А теперь сказочка.

В некотором царстве, в некотором государстве жил да был человек. Человек, как человек. Учился, потом учил, потом воевал. Потом посадили. Потом выпустили. И написал он книгу. Всем очень нужную. И прославился.

В том же царстве, в том же государстве жил-был и другой человек. Талантливый. Даже очень. Умел доставлять людям радость. И жена его тоже. И всем было хорошо.

Нет, не всем. Есть на свете дураки. Мягко выражаясь. И прогнали они, эти дураки, и первого, и второго, и третью. Первого за то, что язык за зубами не умел держать, второго за то, что приютил первого, третью за то, что была женой второго...

Кому стало от этого хуже? Думаю, что дуракам. Но они этого не понимают, потому что дураки.

Сказочка, которую я рассказал, на то и сказочка. В жизни все посложнее.

Когда строчки эти увидят свет, первому герою сказочки минет шестьдесят лет. Десять лет тому назад, когда ему стукнуло пятьдесят, я пришел на свой киевский Главпочтамт и послал ему телеграмму. Сейчас я тоже пошлю. А так как она будет написана порусски латинскими буквами и телеграфистка всё перепутает, повторю ее здесь:

Дорогой Александр Исаевич, — напишу я в телеграмме. — Дорогой Саня! Живешь ты далеко от нас,

в лесу, в каком-то Вермонте, и пишешь. Скучаешь по России, веришь, что вернешься в нее (дай-то Бог!), и всё пишешь. И пиши! И спасибо этим дуракам, что додумались «выдворить» тебя. А могли — как в том анекдоте про Ленина — и убить, или к чёрту на кулички загнать, в памятные тебе места... Пиши же! Ты это умеешь. И не ленишься никогда. И все это, сквозь тысячи преград и рогаток, дойдет до тех, для кого ты пишешь. А пишем-то мы все-таки для них, по ту сторону Стены. Да не иссякнет твое перо! Нам на радость, врагам на посрамление. И да здравствует Вермонт!

Славе Ростроповичу и Галине Вишневской, хотя никакого юбилея не предвидится — прошел уже — тоже скажу. Плюньте вы на эти паспорта. Дал вам Бог талант и расточайте его направо и налево. Нет Большого театра — велика беда, нет зала Чайковского, есть другие, не хуже. А то, что москвич и киевлянин, тунгус и вольный сын степей калмык не могут вас послушать — не огорчайтесь, вы еще молоды, а те, дураки, на ладан дышат. Поживем еще...

И всем друзьям своим, по обе стороны Стены — и тем, кто многим рискуя, будет читать эти строки, и тем, кто заходя в книжный магазин, теряется, не зная, за что ухватиться, — всем близким и далеким друзьям хочется повторить — доживем еще! И не такое было...

Себе же пожелаю — в тот радостный, светлый день протиснуться сквозь тысячную толпу в зал Мьютьюалитэ, подняться на сцену и пожать руку Эдуарду Кузнецову... И обнять Славу Глузмана... И выпить свои сто грамм с Аликом Гинзбургом... И слушать экскурсовода у обломка берлинской Стены, положить затем цветы у памятника Солдату в Тиргартене, на аллее 17 июня*, потом пройти под Бранденбургскими

* 17 июня 1953 — день восстания в Берлине. А 42 года до этого, в тот же самый день, родился и автор этих строк...

воротами, выйти на Унтер ден Линден, сесть в кафе, заказать чашечку кофе с венской сдобой и попросить газету с Информационным сообщением ЦК КПСС...

Пока же — *dum spiro, spero*, как говорили древние римляне — пока дышу, надеюсь. Помечтаю об этом. В парижском кафе, где-нибудь на бульваре Сен-Жермен. Париж еще пуст. И я один. Торопиться некуда...

РЫЛЬСКИЕ ОКТАВЫ

*Перевод с украинского и вступительная заметка
Леонида Плюща*

Наиболее яркой фигурой трагедии украинской культуры советского времени является Павло Тычина. Вообще говоря, путь от восходящего гения 10-20-х годов до министра, «Президента» Украины и бездарного «виршомаза» 30-50-х — путь, оригинальный лишь тем, что гениев не бывает много и еще меньше их, так низко павших.

В начале оттепели несколько талантливых поэтов украинского Расстрелянного Возрождения, в том числе «неоклассик» Рыльский, сделали попытку возродиться вновь и что-то сделать для возрождения украинской культуры. Многие ждали, что и Тычина скинет маску чиновника советской культуры и хоть в малой степени проявит свой былой талант. Увы, маска так приросла к бывшему поэту, что, видимо, навсегда задушила его талант. Более того, он передал традицию чиновничьей маски молодому талантливому поэту Дмитро Павлычко. Недвусмысленный поздний Тычина и — в еще большей мере — двусмысленный «возродившийся» Рыльский своим авторитетом талантливых поэтов помогли Павлычко, а через него Виталию Коротичу и Ивану Драчу встать на путь лжи, полуправды и двусмысленности во времена двусмысленной хрущевской эпохи.

Рыльский и Тычина дали им свое собственное моральное оправдание измены Музе: «Чтоб сохранить крохи украинской культуры для народа, можно и нужно лгать, лицемерить, наступать своей песне на горло».

Но под какой бы маской ни выступали ныне духовные дети Рыльского и Тычины: право на «чистое искусство», формализм, право на страх, спасение остатков культуры, — на самом деле речь идет о праве поэта продать свой дар за чечевичную похлебку, официальное признание, за место у кормушки, за заграничные поездки, за «бляху». Маска нонконформизма, легализованного модернизма и даже «вольнодумства» — сегодня это маска культуры, надеваемая

государством для «заграницы». Чиновничья маска, надетая хитроумными поэтами для того, чтоб скрыть от государства свое поэтическое лицо, исказила это лицо настолько, что позволила остатки поэтического таланта использовать как маску для государства.

Спор Ивана Светличного с Рыльским — это спор с «идейным» обоснованием права поэта на ложь. Это не спор о праве быть или не быть гражданином, садиться или не садиться в лагерь, а спор о том, возможно ли остаться поэтом на путях лжи, обмана и самообмана, полуправды и двусмысленности. Жизнь и поэтический путь самого Рыльского показали, что второе лицо красоты-Януса не может быть лицом Музы. И Муза не прощает измены, не принимает «второго лица» поэта, украшающего страшную прозу — поэт умирает и распространяет вокруг себя запах прижизненной смерти.

Русский читатель, не знающий творчества наследников Рыльского: Павлычко, Коротича, Драча, — может вспомнить для себя поэтическую смерть Евтушенко на путях двусмысленности. Чтобы не быть голословным в этом споре о чиновниках и поэтах, о праве поэта на ложь, о неизбежной гибели таланта, я принял совет Андрея Вознесенского и позволил себе написать подражание нынешнему Вознесенскому, культполпреду страны Советов на Западе*. Это скорее не пародия, а эпитафия на смерть поэта — или же ода секретарю Союза писателей. Не ручаясь за точность соблюдения жанровых норм, надеюсь, что смог верно передать смысл и уровень современного поэтического творчества Вознесенского.

Л. Плющ

1. «Гречиха в дождь запахла тёпло, вкусно,
Как будто разлился ядреный мед...»
Идиллия! И в ткань ее искусно
Вплетается намек извечный тот,
Что классиком о таинстве искусства
Умно произнесен: «поэт поет,
Как птица, — *что захочет, как захочет*».
Увы!.. И Гёте не всегда пророчит.
2. Иль *так* Максим Тадеевич хотел,
Такое ль музы вещи творили,

* Напечатано вслед за переводом стихов Светличного. — Прим. ред.

Как на Украину коршун налетел
«Из-за горы высокой сизокрылый» —
И полилася кровь из братних тел,
И трупы землю отчую укрыли.
О нет! Не соловьиною' была
Та песня вольная в когтях орла.

3. Что воспевал он? Мед и сад за хатой,
Случалось, и Венерам был улов.
Но чаще муз избранник эlegantный
Бросал толпе немало красных слов
(«Сын истины» и истины глашатай)
Во славу воронов... пардон, орлов.
И получал за оды и баллады
И мед, и гречку, славу и награды.
4. А тех, кого в Сибирь, на Колыму
Как в бездну гнали, кто полег костями,
Тех помянуть всё не было кому,
О них Боян неложными устами
Молчал, как будто отнялось ему,
Молчал до посиненья, по уставу,
И был готов, чтоб задушить свой крик,
Не прожевавши проглотить язык.
5. А впрочем, и молчанье было подвиг.
О чем молчишь? Чем дышишь? Что за дух?
За вздох, за выдох, за легчайший роздых
Судили как преступников. И двух
Дышавших вместе не было — поодаль
Дышали в одиночку. Тонкий нюх
Тычин и Рыльских подсказал эстетам:
Не пискни, бди, но не молчи при этом.
6. И бард гремел, и валом бился в брег,
Стократным эхом умножая славу.
Метал он кары за условный грех
На безусловно срубленные главы.
Кидаясь с пылом неофита в брешь,
Сражал он всех налево и направо.

Земля дышала гарью от лесов...
«Эпохи новой знак, — он пел, — Весов».

7. И, сидя по уши в дерьме, как в лаврах,
Всех прочих, смертных, зазывая в рай,
Он восклицал «Ура», и пел он «Слава»,
Вливая глас певца в вороний грай.
Одна была душе его отравя:
Что, если и его придет пора
Вослед за Зеровым... О нет! Чтоб выжить,
Не грех и гимн для сизокрылых выжать.
8. Нет, он доносом не запачкал рук,
Не замарал в крови ладоней тонких,
Не им был предан, продан Зеров, друг,
И не один он славил власть подонков,
Но это он, войдя в почетный круг, —
Он свой кроваво-черный век потомкам
Воспел идиллией. Вот почему
Нет вовсе милости во мне к нему.
9. Я жёсток? И жесток? И мало вкуса
Охаивать под занавес Парнас?
Да полно! Музу Калынца и Стуса
При всем честном народе, и при нас,
Насилуют наследники Прокруста.
И где тот рыцарь, тот несвинопас,
Что встал бы за несчастную горою?
Ищи-свищи меж бардами героя.
10. Толпой, бедняги, прутся на Олимп
По мед гречишный и гречишный запах,
На жестяную бляху, медный нимб
Меняют солнце, и на задних лапах
Усердствуют: звонят-то не по ним.
И тешатся: не им сдыхать в этапах.
И, как ни персонально зреет мысль,
Эстетика едина: здравый смысл.
11. А он, тот смысл, на то и есть здоровый,
Что даже из дерьма добудет прок,

Что на здоровье сразу две коровы
Сосать умеет, ласковый телок.
Когда ж дубраву вырубают снова,
Припомнит здравый смысл былой урок:
Нет дураков!.. Пускай на *те* искусства
Клюют наивно Калынцы да Стусы.

12. А лесорубы — парни будь здоров!
Их топоры проверены, не ржавы.
Когда Отчизна скажет: надо дров! —
Лесов не пожалеют для державы.
Летели щепки, разливалась кровь —
Ни разу топоры не задрожали.
Орлы!.. Иль — вороны?.. Страшуся я —
Летит стервятник на круги своя.
13. И дождь, и мед, и гречка — всё высоты,
Амброзия поэзии, нектар!
А в мире черном вышек и решеток,
В толпе голодной, на твердынях нар,
Какой уж там нектар, добро, красоты,
Где греза грез — один гнилой сухарь...
Увы! Ваш мед, гречихи трубадуры,
В том мире мрака — жанр литературы.
14. Поставлю, наконец, вопрос ребром,
И пусть я снова изъясняюсь грубо,
Когда клубком единым зло, добро,
Чеканный стих и жертв чекистских гряда —
В рефлексии искать ли нам ядро:
«Что он Гекубе? Что ему Гекуба?»
Гекуб насилуют, и в этом суть.
А вы всё *то же, так же...* про красу.
15. «О красота, сестра с двуликим взором,
Как древний Янус...» Курва, тварь — сестра
Твоя, Боян, покрытая позором,
А ты, апостол правды и добра,
Ты чести рыцарь и ее опора,
Кто ты при ней? Не скурвленный ли брат?

Ты — не альфонс гундосый? Кто еси?
Я груб? Готов прощения просить...

16. Но — а за что просить?! Я ль не сидел
По бурам на баланде, и в натуре
Не познавал эстетику судей,
Абсурд-мажор убогих трубадуров,
Занудный опий гречаных блядей...
Всё это на своей постиг я шкуре,
И я — на эвфемизмы не мастак!
Что, снова грубо? Пусть... Оставлю так.
17. Ведь топоры пока еще в резерве,
И крутят Стусов, Калынцов в узлы,
Пропедевтичные узлы из нервов...
Седлают Смысла Здравого послы
Пегаса, в трансе славы и шедевров
Вгрызаются поэзии в мослы.
А чреву здоровому Олимп пророчит:
Что хочет — будет есть, и пить — что хочет!
18. Пока у нас не сказано о том
Простого, строгого, мужского слова,
А курва-муза с испытным лицом
Подстилкой ветхой всем служить готова,
Поэт! не соблазняй себя венком
Лавровым. Твой венец — терновый.
Завидуй музе Стуса, Калынца.
... А песня — долгая. Ей нет конца.

СВЕТЛИЧНЫЙ Иван Алексеевич — родился в 1929 г. на Луганщине. В 1962 г. закончил филологический факультет Харьковского университета. Работал в словарном отделе Института языкознания АН УССР, был научным сотрудником Института литературы АН УССР и ответственным редактором журнала «Радянське літературознавство». За критику политики русификации, проводимой Институтом языкознания, и за другие выступления в защиту культуры был арестован в 1965 г. и провел 8 месяцев под следствием. До ареста Светличный опубликовал ряд статей, памфлетов об официальных писателях (Стельмах) и ученых-филологах (Билодид), а также свои переводы из Беранже. После 1965 г. путь к публикациям ему был практически закрыт, поэтому многие работы Свет-

личного были напечатаны под псевдонимами, и истинное их авторство остается пока неизвестным. Как один из самых активных участников правозащитного и национального движения на Украине, Иван Светличный был арестован в январе 1972 г. и приговорен к 7 годам лагеря и 5 — ссылки. Отбывая заключение в Пермских политических лагерях, Светличный был одним из самых активных участников лагерных протестов, в том числе многодневных голодовок, открытых писем и заявлений. Отказался от советского гражданства. Сейчас находится в ссылке в селе Усть-Кан Горно-Алтайской автономной области. За рубежом издан сборник его тюремных стихов «Гратовані сонети» (Сучасніст, 1977).

СЕМИУГОЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ
из 3-х наступлений и 4-х отступлений

*Не продается вознесенье,
но можно дорого упасть...*

СОКОЛ 1-й

ПРЕЛЮД

Пари —
я увижу Париж!..
Придется напялить парик
И вставить свечу и Богу, и чёрту.
Загранка ведь стоит обедни?..
Вот гранки моей поэмы
О матче на мачтах,
Печатают в «Пари-матче»!
Мечтайте и Вы, Маоза.

Ах, эти Озы, Розы, позы...
Я вам сыграю Маркиза Позу,
Ноктюрн неведомой угрозы,
И блеск, и нищету коррозий...

За гранью грань,
за гранью гранки,
Граненый хруст и сталь,
Застойный хмель берез,
Застольных ностальгий
похмелье.

СОКОЛ 2-й

ПО СЛЕДАМ ПОЭТА

Я вышел на трибуну
И вижу, что попал
Какой-то хмырь орет: «Пошел
И роза треугольная

в Помпиду
в беду,
в узду».
в бреду.

Тогда я вышел на Монматр,
Я стал пигалиться,
Я — сингапурский шут.
Там где-то пялится
какая-то
пигалица.

Монблан, мон шер, Монмартр,
На улицах давно уже не март,
Душа горит, как совмещенный писсуар,
Поет Монтан, смеются Сартр и Бовуар.

Я кличу старое таксо:
На ветровом стекле его
Комочки эмигрантской грязи
(а мой шофер из белых князей).

СОКОЛ 3-й

ОТСТУПЛЕНИЕ В БЫЛОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

Есть еще такая партия!
Есть еще русский поэт!
Есть еще рódная мафия!
Есть еще рódная мать!

Играют с детишками волки:
Лысина как планета ловка.

Лысиной я заморожен:
«Дети, ведь он любил вас!
Вас и клозеты, Розетты,
За то, что вы есть...
и вас нету».

СОКОЛ 5-й

СТАЛЕНЬЕ

Ленин прост как амеба,
Сталин тот даже проще,
Ну, а

новых

два

микроба

Лишь

лакеи

у их

гроба.

Жизнь хитра,

ну, а смерть — мура.

Наш народ — не дурак,

и пуля — не дура.

Фанька метила в лоб,

А попала на Лоб-

ное место.

Он любил попариться в баньке,

С Манькой помыслить,

и с Ванькой,

Поэтично кроил черепа,
И лирически крыл
всех матом.

Накачавшись от массы,
Он скрывался на мазе,
Вызревал свои мысли
на мысе,
А потом —
в 18-й том.

— Скажите Ильич...
почем поллитра?..
И Ленин склонившись под лампой
Провидит грядущую рампу,
Где новый Пушкин
размазывает палитру
На ваших ушках
и пьет политуру.

На все вопросы
ответит Ильич
Ваньке, Феньке
и Митеньке
На ближайшем
митинге.
В театре Бобур —
матерый бобёр.

СОКОЛ 6-й

НЕЧТО ОБ УНИТЕ И ОБ УНИТАЗАХ

Я как Парис среди Богинь:
Богиня Слез, Богиня-Муза,
Богиня хамов, Богиня-уза
Я Музу в лузу,
Себя же в лужу.

Парис в Париже, Лондоне и Риме,
Парис поперся на Парнас
Зачем ему на Россинанте,
Когда в руках узда Пегаса?

Вот яблочко для вас,
Для Униты, для унитаза,
И пусть ругает наша власть,
А я зато кривляюсь
вслась.

СОКОЛ 7-й И ПОСЛЕДНИЙ

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Детант,
десант,
досад осадок,
В Москве сейчас грустит
Асадов,
Чего-то там клеветет
Садо,
А я герой
и там
и тут.
А я пою
о писсуарах,
о Малярмеаксесуарах,
об имперьяльных
ягуарах,
Освободившихся
Сахарах.

КОН-
ЧИК,
ЧИК,
ЧИК!
КИЧ-
НОК,
НОК,
НОК!

29 июля 1978 г.

Россия и действительность

Андрей Сахаров

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СССР И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ — ЦЕЛИ, ЗНАЧЕНИЕ, ТРУДНОСТИ

Поставленное в заголовке этой статьи слово «движение» не должно наводить на мысль о какой-либо организации или ассоциации, или, тем более, партии. Речь идет просто о людях, объединенных некоторой общей точкой зрения и способом действий. Являясь одним из этих людей («инакомыслящих», или «диссидентов»), я ни в коем случае не выступаю в роли идеолога или руководителя; каждое мое публичное выступление, в том числе данная статья, отражает исключительно мое личное мнение по волнующим меня вопросам.

Общественно-политическая идеология, выдвигающая на первое место права человека, представляется мне во многих отношениях наиболее разумной в рамках тех относительно узких задач, которые она себе ставит. Я убежден, что никакие идеологии, основанные на догмах или метафизических построениях или слишком существенно опирающиеся на современную им структуру общества, не могут соответствовать сложности, быстрой изменчивости и непредсказуемости развития человечества. Императивные и догматические концепции всевозможных преобразователей мира так же, как иррациональные миражи национализма и национал-социализма, на деле до сих пор обра-

чивались насилием над внутренней свободой людей и прямым физическим насилием, воплощенным в XX веке ужасами геноцида, революций, межнациональных и гражданских войн, анархическим и государственным террором, адом Колымы и Освенцима.

Коммунистическая идеология, с ее обещанием общемирового общества социальной гармонии, труда, материального процветания и свободы в будущем, на деле в государствах, называющих себя социалистическими, трансформировалась в идеологию партийно-бюрократического тоталитаризма, заводящую, по моему убеждению, в глубочайший исторический тупик.

Сейчас уже нигде не существует также в чистом виде капиталистическая прагматическая философия разумного индивидуализма. Потрясения XX века — великий мировой экономический кризис, разрушительные войны, призрак экологической и демографической катастрофы показали ее недостаточность.

Я считаю технико-экономический прогресс, в значительной мере снимающий остроту проблемы распределения материальных благ, важнейшим положительным фактором социальной жизни; но я также остро чувствую связанные с ним опасности и сознаю недостаточность технократической идеологии в решении всего многогранного комплекса проблем жизни.

В противовес императивности большинства политических философий, идеология прав человека является по своему существу плюралистической, допускающей свободу разных форм общественной организации и сосуществование разных форм и предоставляющей человеку максимальную свободу личного выбора. Я убежден, что именно такая свобода, а не давление догм, авторитета, традиции или власти государства или общественного мнения может обеспечить разумное и справедливое решение тех бесконечно-сложных и противоречивых проблем, которые непредсказуемо возникают в личных, социальных, культурных и мно-

гих других явлениях жизни; только такая свобода дает людям непосредственное личное счастье, составляющее первичный смысл человеческого существования. Я убежден также, что общемировая защита прав человека является необходимым фундаментом международного доверия и безопасности, условием, предупреждающим разрушительные военные конфликты, вплоть до глобального ракетно-термоядерного, угрожающего самому существованию человечества.

В послевоенное время идеология прав человека нашла наиболее последовательное выражение во Всеобщей Декларации прав человека ООН, в движениях в защиту прав человека, во всемирной кампании Эмнести Интернейшнл за амнистию узников совести.

Идеология защиты прав человека заняла особое место в общественных движениях в СССР и в странах Восточной Европы. Это связано с историческим опытом народов этих стран, переживших на протяжении жизни одного поколения сначала бурный и краткий период опьянения коммунистическим максимализмом (это относится главным образом к СССР), с сопровождавшими его нетерпимостью и догматизмом, всеобщей разрухой и страданиями, преступлениями белых и красных во имя того, что они считали великой целью, затем кровавый кошмар сталинского фашизма, унесшего десятки миллионов жизней и постепенно перешедшего в нынешнюю стабильную фазу партийно-государственного тоталитаризма. С таким опытом за плечами мы особенно естественно принимаем идеологию, ставящую на первый план защиту конкретных людей и конкретных прав принципиально ненасильственными, не разрушительными методами, опирающуюся на законы, на подписанные их правительствами международные документы. Близость идейной позиции инакомыслящих и даже форм борьбы за права человека позволяет говорить о Едином движении защиты прав человека в СССР и странах Восточной

Европы, несмотря на отсутствие организационной связи между движениями в СССР и в странах Восточной Европы и практическую невозможность коммуникаций — переписки, телефонной связи, взаимных поездок, полностью блокируемых властями.

Замечу, что одной из форм реакции властей этих стран на такую абсолютно законную и конструктивную позицию явилось нарушение именно властями их собственных законов, в особенности при судебных процессах, все более широкое использование подпольных методов провокаций и даже методов индивидуального террора внутри и вне страны. В свою очередь, антиправовые действия властей усиливали правовую ориентацию инакомыслящих.

В ЧССР защита прав человека составляла существенный элемент «Пражской весны», а в последние годы легла в основу знаменитой Хартии-77, которая по всей своей направленности и пафосу очень близка ко многим документам движения инакомыслящих в СССР и других странах Восточной Европы. В Польше возник Комитет защиты рабочих и другие ассоциации. В СССР 10 лет назад в качестве реакции на несправедливые судебные процессы и другие нарушения прав человека возникли Инициативная Группа защиты прав человека, Комитет прав человека, в последние годы Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений. Важнейшим этапом формирования движения за права человека в СССР было создание замечательного самиздатского информационного журнала «Хроника текущих событий», который регулярно — несмотря на многочисленные репрессии и неопишуемые трудности — выходит вот уже 10 лет с традиционным эпиграфом: текст статьи 19 Всеобщей Декларации прав человека. Я считаю, что именно этот журнал полней всего отражает самый дух движения — его беспристрастность и внеполитичность, плюрализм, стремление к точности и достоверности, преимущест-

венный интерес к конкретным нарушениям прав человека, к конкретным судьбам людей, ставших жертвой несправедливости.

Движение за права человека в СССР и в странах Восточной Европы принципиально выдвигает на первое место гражданские и политические права, в противовес официальной государственной пропаганде этих стран, умышленно (в противоречии даже с высказываниями основателей марксистской теории) смещающей акцент в сторону экономических и социальных прав. Я убежден, что в современных условиях именно гражданские и политические права — право на свободу убеждений и распространение информации, право на свободный выбор страны проживания и место проживания внутри страны, свобода вероисповедания, право на забастовки, право образования ассоциаций, отсутствие принудительного труда — являются гарантией свободы личности, осуществления социальных и экономических прав человека, международного доверия и безопасности. Гражданские и политические права наиболее систематически и откровенно нарушаются в тоталитарных странах.

Нарушается ключевое право на свободный выбор страны проживания, в особенности грубые формы эти нарушения имеют в СССР и ГДР с ее «берлинской стеной».

Роль свободного выбора страны проживания не только в том, что он обеспечивает воссоединение разрозненных семей (я не преуменьшаю значение этого), но также в том, что это право дает в принципе возможность покинуть страну, не обеспечивающую своим гражданам их национальных, экономических, религиозных, политических, гражданских и социальных прав, и возвращаться в нее при изменении личной или общей ситуации, что неизбежно должно приводить к общему социальному прогрессу.

В СССР только наличие вызова от близких родственников дает право на подачу заявления на выезд, это ограничение находится в прямом противоречии с имеющим силу международного закона Пактом о гражданских и политических правах. Так «с ходу» отмечается большое число лиц, желающих эмигрировать или временно выехать из страны по экономическим, религиозным, национальным, политическим, культурным, медицинским и иным личным причинам. Но и эмиграция имеющих вызовы, в частности немцев, евреев, литовцев, эстонцев, латышей, армян, украинцев, встречает то и дело колоссальные трудности, недаром существует слово «отказник». Мне кажется несомненным, что постоянно происходящие аресты и несправедливые осуждения стремящихся к эмиграции людей — это попытка сломить движение за эмиграцию, запугать и остановить на полпути потенциальных эмигрантов. В уголовных кодексах РСФСР и других республик в статье «Измена Родине» наряду с общепринятыми признаками этого преступления названо «бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР». По этому признаку сотни людей были присуждены к жесточайшим наказаниям, многие помещены в тюремные психиатрические больницы. В последнее время широкую известность приобрела судьба осужденных еврейских отказников Щаранского, Слепака, Иды Нудель, Гольдштейна, Бегуна, ранее — участников Ленинградского самолетного дела. Особенно много отказов и всевозможных преследований среди желающих эмигрировать немцев (в 30-50-е годы сотни тысяч немцев погибли от сталинских депортаций и репрессий). Трагична судьба трех поколений крестьянской семьи Петра Бергмана, безуспешно добывающей выезда в Германию более 50-ти лет.

В СССР — в противоречии с общепринятой нормой свободы передвижения внутри страны (статья

13 Декларации прав человека и соотв. статья Пакта о правах) существует паспортная система с обязательной так называемой «пропиской» (выдачей права на жительство в органах МВД). Особенно сильно ограничена свобода передвижения у колхозников. Колхозный Устав не предусматривает гарантий свободного выхода из колхоза, фактически превращая десятки миллионов людей в крепостных. То, что часть из них теми или иными способами все же добивается разрешения на выход из колхоза, не меняет нетерпимости общего положения.

Особая группа нарушений прав человека в СССР связана с национальными проблемами. Крымские татары, в 1944 году ставшие жертвой сталинского геноцида вместе со многими другими народами (при выселении из Крыма стариков, женщин и детей — мужчины были на фронте — погибла почти половина всех крымских татар), до сих пор подвергаются дискриминационному запрету вернуться на родную землю. Издевательства и жестокости, которым подвергаются решившиеся вернуться в Крым семьи, не поддаются описанию. Отказы в «прописке» и заключение в тюрьму за нарушение правил о «прописке» (об обязательном разрешении органов МВД на жительство), отказ в оформлении покупки домов и разрушение уже купленных, оставляющее семьи с детьми и стариками на улице, насильственные выселения, отказ в приеме на работу — все это части последовательной дискриминационной политики.

Летом этого года крымский татарин Муса Мамут совершил акт самосожжения, желая привлечь внимание к трагическому положению крымских татар. Когда его, уже умирающего, везли в больницу, он сказал: «Должен же был кто-то это сделать».

Острота национальных проблем в СССР подчеркивается жестокостью политических репрессий в национальных республиках — на Украине, в Прибалти-

ке, в Армении и других. Приговоры в национальных республиках особенно суровы, а поводы к ним еще менее обоснованы.

Конституция СССР формально провозглашает свободу совести и отделение Церкви от государства. Но фактически официально признанные Церкви находятся в унижительном положении тотальной зависимости от государства в административном и в материальном отношении; они лишены права религиозной проповеди, права церковной благотворительности, их священники и старосты назначаются советскими органами.

В этих условиях необходимо отдать должное скрытому нонконформизму многих рядовых священников и верующих этих Церквей.

Восстающие против зависимости от властей Церкви подвергаются особо жестоким преследованиям — вплоть до отбирания детей от родителей, помещения верующих в психиатрические больницы, арестов, осуждений, конфискаций и даже террористических актов, которые никогда не расследуются.

Недавно мы все были потрясены арестом восьмидесятитрехлетнего духовного руководителя Церкви Адвентистов Седьмого Дня Владимира Шелкова, ранее проведенного более 25-ти лет в заключении. Приверженцы этой Церкви подвергаются особенно безжалостным репрессиям за религиозную деятельность и вынуждены зачастую жить на нелегальном положении.

Не менее трудным является положение независимого крыла Баптистской Церкви, униатов, пятидесятников, так называемой Истинно Православной Церкви и некоторых других.

В республиках Прибалтики и в западных областях Украины преследования религии часто носят антинациональный характер. Так, в Литве большим ограничениям подвергается Католическая Церковь и же-

стоко преследуется анонимный журнал «Хроника Литовской Католической Церкви», его издатели и распространители.

Я говорил выше о положении в СССР, являющемся особенно нетерпимым. Как известно, в некоторых странах Восточной Европы героические усилия верующих и руководителей Церкви, таких, как Миндсенти в Венгрии и Вышинский в Польше, способствовали установлению гораздо более нормального положения. Авторитет, которым пользуется Церковь в этих странах, явился одним из факторов, способствовавших уменьшению тоталитарного давления на человека.

Особая проблема — эмиграция по религиозным мотивам. Сейчас в американском консульстве в Москве уже несколько месяцев находятся в добровольном заточении члены двух семей пятидесятников — Ващенко и Чмыхаловы, уже более шестнадцати лет добивающиеся выезда из СССР, прошедшие все формы преследований, вплоть до тюремного заключения. Теперь советские газеты, издающиеся по месту их постоянного жительства, объявляют их «шпионами» иностранных государств, кто знает, не готовят ли им участь Щаранского, если они решатся покинуть территорию консульства, около которого день и ночь дежурят машины КГБ. Выезда безуспешно добиваются очень многие их единоверцы (некоторые общины почти в полном составе), многие баптисты и другие верующие.

Наравне с правом свободного выбора страны проживания, облик общества сильнее всего определяется правом на свободу убеждений и распространение информации. Этому праву противоречат имеющиеся в уголовных кодексах республик СССР статьи, дающие возможность преследовать именно за эти ненасильственные и законные в любом демократическом государстве действия (статьи 70 и 190-1 УК РСФСР). Сот-

ни узников совести — в том числе один из редакторов «Хроники текущих событий», крупный ученый-биолог, мой близкий друг Сергей Ковалев — находятся в заключении по этим статьям. Политические суды по обвинениям этого рода в СССР и странах Восточной Европы происходят с грубейшими нарушениями права обвиняемых на рассмотрение их дела по существу, на защиту от инспирированной клеветы, с нарушениями гласности. Никого, кроме самых близких родственников обвиняемых, не пускают на формально открытые процессы, а на многих последних судах не могли присутствовать даже жены и матери обвиняемых — воистину есть что скрывать (так же, как в лагерях и тюрьмах, но об этом ниже).

Недавно внимание всего мира было привлечено к подобным незаконным судам над членами Групп содействия выполнению Хельсинкских соглашений, которых судили по этим же статьям, — над Орловым, Гинзбургом, Щаранским, Пяткусом, Лукьяненко, Костава, до этого — Руденко, Тихим, Мариновичем, Матусевичем, Гаяускасом и др.

Московская Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в последние месяцы выпустила ряд важных документов. К некоторым из них я присоединился, в том числе к заявлению Группы от 30 октября 1978 года, требующему отмены ст. 70 и 190-1 УК РСФСР и той части статьи об измене родине (ст. 64), которая позволяет трактовать как измену родине попытку покинуть страну.

Недопустимым нарушением прав человека несомненно являются те условия, в которых отбывают свои сроки в советских лагерях и тюрьмах полтора миллиона заключенных (цифра приблизительная, точная цифра не известна) и в их числе — сотни политзаключенных. Подневольный труд в тяжелых условиях, причем за невыполнение непосильных норм выработки следуют репрессии, чаще всего карцерная пытка голо-

дом и холодом, отсутствие сколько-нибудь приличной медицинской помощи, провокации и придирки администрации — вот их быт. На состоявшейся 30 октября 1978 года пресс-конференции, посвященной традиционному — с 1974 года — «Дню политзаключенного», я передал иностранным корреспондентам письмо из лагеря особого режима в Сосновке, в котором эти условия описаны с впечатляющей конкретностью и достоверностью*.

Чрезвычайно важные для нормально функционирующего общества права, не реализованные в СССР и странах Восточной Европы, — это право на забастовки и право на создание независимых от властей ассоциаций. На примере этих прав особенно ясно проявляется, что без осуществления политических и гражданских прав не может быть эффективного решения социальных и экономических проблем.

Советская пропаганда объявляет нашу страну развитым социалистическим государством с максимальной заботой о человеке. Действительность далека от этих рекламных заявлений. Существует огромное социальное неравенство между основной массой трудящихся (в особенности работников массовых интеллигентных профессий — младших служащих, врачей и учителей) и так называемым начальством, которое обладает множеством привилегий. Это неравенство особенно болезненно воспринимается при крайне низком для относительно развитой в экономическом отношении страны уровне жизни (приведу несколько цифр — средняя зарплата составляет около 150 руб. в месяц, но существует зарплата 80, даже 70 рублей — это в Москве, где зарплата выше, чем в провинции. Максимальная пенсия — 120 рублей (но существует множество видов персональных пенсий), а минимальная — около 40 руб. Пособие матери-одиночке — 5 руб. в месяц, но если в семье на члена семьи меньше

* Опубликовано в этом же номере «Континента». — Прим. ред.

50 руб. в месяц, то пособие на ребенка дается — только до восьмилетнего возраста — 12 руб. в месяц.

В большинстве городов отсутствуют важнейшие продукты питания (в частности — мясо), медикаменты и многие необходимые промышленные товары. Люди приезжают в Москву со всех концов страны, тратя деньги, время и силы, чтобы приобрести самое необходимое.

Человечество стоит перед рядом сложнейших проблем, угрожающих нормальной жизни и счастью будущих поколений, угрожающих самому существованию цивилизации. Наиболее коварной и трудно предотвратимой опасностью прогрессивному и свободному развитию человечества является распространение тоталитаризма. Именно этой опасности непосредственно противостоит борьба за права человека. Все более широкое понимание этого отразилось в таких исторических событиях последних лет, как Хельсинкский Заключительный Акт, в котором подписями 35-ти глав государств зафиксирована неразрывная связь международной безопасности и соблюдения основных прав человека. Эти же сдвиги общественного мнения нашли отражение в провозглашенной в январе 1977 года президентом США принципиальной линии защиты прав человека во всем мире как моральной основы политики США. В этой концепции особенно важен ее глобальный характер, стремление применять одинаковые правовые и нравственные критерии к нарушениям прав человека в любой стране мира — в Латинской Америке, в Африке, в Азии, в социалистических странах и в своей собственной стране. Я знаю о важных и плодотворных последствиях этой позиции в Южной и Центральной Америках и в других местах. Я совершенно не склонен недооценивать важности борьбы за права человека всюду, где они нарушаются, или стремиться ограничить эту борьбу рамками СССР и Во-

сточной Европы. Устранить страдания, происходящие сегодня, важнее всего, и совершенно неважно, далеко они или близко в географическом или национальном смысле. Но я также подчеркиваю в то же время, что угроза распространения тоталитаризма своим эпицентром имеет СССР, и это также необходимо учитывать.

Я считаю, что занятая президентом США Картером принципиальная позиция соответствует требованиям времени и демократическим традициям американского народа; она способствует объединению всех демократических сил во всем мире; она имеет историческое значение, которое не может быть перечеркнуто отдельными неточностями конкретного осуществления этой политики. Я считаю очень важным еще более широкую поддержку принципиальной позиции администрации США в защите прав человека, а также в тех начинаниях, которые предназначены для укрепления позиций США, необходимых для успешного выполнения роли лидера западного мира в противовес наступлению тоталитаризма. Я имею тут в виду даже такие сугубо внутренние дела, как энергетическую программу и борьбу с инфляцией; мне кажется, что обсуждение ключевых проблем в современной напряженной ситуации должно проводиться с отвлечением от всех межпартийных и иных внутренних расхождений. В поддержке нуждаются и такие ключевые события международной жизни, как мирное урегулирование между Египтом и Израилем, которое отвечает интересам всех народов Ближнего Востока и всего мира, и более скромные на вид, но важные для экономической и политической независимости Запада усилия в области мирной ядерной энергетики (недавно мы с огорчением узнали о негативном исходе референдума в Австрии по этому вопросу).

Американский народ — свободолюбивый, щедрый, деятельный и энергичный (так мне рисуется его

образ) — несомненно окажется на высоте стоящих перед ним — и перед всем миром — задач.

Особенно важным отражением сдвигов в общественном мнении явились политические амнистии во многих, часто далеко не демократических, странах. Амнистия прошла в Югославии, Индонезии, Польше, Чили. Назначена амнистия в Иране и на Филиппинах и намечается в некоторых странах Латинской Америки. Борьба в защиту прав человека в СССР и странах Восточной Европы явилась одним из факторов, которые способствовали этим событиям — освобождению тысяч людей.

Сейчас та маленькая горстка инакомыслящих, которых я знаю лично, переживает трудный период. Арестованы многие прекрасные, мужественные люди. Усиливается кампания клеветы и провокаций, частично непосредственно исходящая из КГБ, а частично использующая или отражающая расслоение, брожение и разочарование среди некоторых диссидентов и им близких кругов. Жизнь сложна. И в этих условиях обиды и амбиция толкают некоторых на весьма сомнительные действия и высказывания. По-видимому, число активных участников движения и в Москве и в провинции заметно уменьшилось.

И всё же я считаю, что нет никаких оснований говорить о поражении движения в защиту прав человека. Это тот вопрос, где арифметика имеет очень мало отношения к делу. За последние годы борьба за права человека в СССР и Восточной Европе кардинально изменила нравственный и политический климат во всем мире. Мир не только получил богатейшую информацию, но и поверил в нее. И это такой факт, который никакие репрессии и провокации КГБ уже не в силах изменить. Это историческая заслуга движения за права человека. Сейчас, как и раньше, единственное оружие этого движения — гласность, свободная, точная и объективная информация. Это оружие остается

действенным. Совершенно очевидно также, что пока не изменились условия и не отпали задачи борьбы за права человека, новые люди силою обстоятельств и душевных стремлений будут вливаться на место вышедших. Этого репрессии властей тоже не могут предотвратить. Наоборот, прекращение репрессий было бы важным фактором улучшения положения с точки зрения властей.

Чего я жду от людей Запада, сочувствующих борьбе за права человека? Несомненно, что их помощь очень нужна. И в связи с этим я хочу остановиться на некоторых вопросах, дебатированных в настоящее время. Большое внимание к проблемам прав человека в СССР и странах Восточной Европы, в особенности усилившееся весной и летом 1978 года после полосы судебных процессов, является чрезвычайно важным фактором, на который я возлагаю большие надежды. Но расширившиеся возможности требуют одновременно чрезвычайной четкости и разумности действий с всесторонним учетом всех возможных последствий.

В западной печати иногда высказывалась мысль, что переговоры по ограничению стратегических вооружений, в успехе которых заинтересован Советский Союз (как и весь мир), открывают возможности давления на СССР в вопросе прав человека. Мне такое мнение кажется неправильным, я считаю, что задача уменьшения опасности уничтожения человечества в термоядерной войне имеет абсолютный приоритет над всеми остальными. Я считаю совершенно правильным сформулированный администрацией США принцип практического разделения вопроса о разоружении от других вопросов. Поэтому, например, договор об ограничении стратегических вооружений должен рассматриваться сам по себе, с той единственной точки зрения, уменьшает ли он опасность и разрушительность термоядерной войны, увеличивает ли он международную стабильность, не создает ли он односторон-

них преимуществ для СССР или не фиксирует ли уже существующие преимущества. Такой раздельный практический подход не отменяет, конечно, того несомненного факта, что прочная международная безопасность и международное доверие невозможны без соблюдения основных прав человека, в частности политических и гражданских прав. Замечу также, что Запад не должен рассматривать в качестве основной цели сокращения вооружений уменьшение военных расходов — основными целями могут быть только международная стабильность и предотвращение возможности термоядерной войны.

Другая обсуждавшаяся в западной прессе проблема — о бойкотах (научных, культурных, экономических и т. д.) как средстве давления на СССР с целью добиться освобождения хотя бы некоторых политзаключенных. После судов над Орловым, Щаранским и Гинзбургом многие западные ученые отказались участвовать в научных семинарах и конференциях, происходящих в СССР. Некоторые научные ассоциации стали вообще отказываться от сотрудничества с советскими научными учреждениями. Я приветствую все подобные формы бойкота как выражение протеста мировой общественности против нарушений прав человека в СССР. То же относится к экономическому бойкоту, например, к отказу в продаже компьютерной техники или нефтебурового оборудования. СССР и другие тоталитарные страны должны знать, что политика защиты прав человека — это не просто красивая фраза западных политиков, а выражение общенародной воли в странах Запада, и что продолжение нарушений прав человека несовместимо с продолжением и углублением разрядки. Эту же мысль могут внушать руководителям тоталитарных стран имеющие с ними дело западные бизнесмены, политические и спортивные деятели, юристы и многие другие.

Однако проблема бойкотов — сложная и проти-

воречивая. Несомненно, что соображения внешнеполитического престижа, соображения борьбы за власть и ее удержание в обстановке закулисной борьбы и просто традиции сильной власти не позволяют руководителям тоталитарных государств непосредственно реагировать на оказываемое на них давление. Несомненно также, что бойкоты попутно ослабляют реально полезные контакты и уменьшают число рычагов давления в будущем. Однозначного, пригодного на все случаи жизни, ответа в таком сложном деле дать нельзя. Я могу лишь высказать некоторые общие соображения. Мне кажется, что следует, за небольшим числом исключительных случаев, избегать ультимативных бойкотов, т. е. не ставить в явном виде прекращение бойкота в зависимость от каких-то конкретных шагов властей. В этом случае бойкот продемонстрирует заинтересованность в том или ином конкретном деле и в то же время не создаст «тупиковой» ситуации, из которой нельзя выйти без потери лица. Я убежден также в необходимости сочетания разнообразных и внушительных публичных кампаний с энергичной и разумно планируемой тихой дипломатией. Важным полем тихой дипломатии могут явиться обмены политзаключенных. Я уже писал, что не понимаю и не принимаю прозвучавших на Западе возражений против обменов. Мне кажется, что в некоторых случаях это почти единственный реальный способ помочь людям вырваться из ада лагерей и тюрем, пусть даже немногим, но он всё же прорыв, брешь, и безусловно ничем не вредит оставшимся, и никак не подрывает авторитета правозащитных организаций, например, таких, как Эмнести Интернешнл, которая ставит своей целью всемирную политическую амнистию.

Особая проблема — отношение к предстоящей Московской Олимпиаде. Моя точная позиция соответствует документу Московской Хельсинкской Группы — письму Международному Олимпийскому Комитету

и его Президенту лорду М. Килланину, к которому я присоединился. Авторы письма отмечают имеющиеся в СССР нарушения прав человека и предупреждают, что власти намерены на предстоящей Олимпиаде ограничить контакты между людьми в полном пренебрежении олимпийскими принципами; авторы призывают не допустить этого, призывают потребовать прекращения преследований за ненасильственные действия в защиту прав человека, за религиозную деятельность и попытку добиться осуществления права на свободный выбор страны проживания и места проживания внутри страны; призывают освободить всех узников совести. Авторы письма пишут, что они придают большое значение предстоящей Олимпиаде и просят довести письмо до сведения Национальных Олимпийских Комитетов и спортивных обществ разных стран с тем, чтобы каждый участник будущей Олимпиады мог высказать свое отношение к поставленным вопросам. К сожалению, нам неизвестна реакция Олимпийского Комитета на этот документ.

Идеология защиты прав человека — по-видимому, единственная, которая может сочетаться с такими различными идеологиями, как коммунистическая, социал-демократическая, религиозная, технократическая, национально-«почвенная»; она может составить также основу позиции тех людей, которые не хотят связывать себя теоретическими тонкостями и догмами, устав от изобилия идеологий, не принесших людям простого человеческого счастья.

Защита прав человека — это ясный путь к объединению людей в нашем смятенном мире, путь к облегчению страданий.

8 ноября 1978 года
Москва

Восточноевропейский диалог

Моника Л о в и н е с к о

ЛИТЕРАТУРА И ДИССИДЕНТСТВО В РУМЫНИИ

«Их всех били, но не все от этого умерли».

Лафонтен

Симон Лей сказал о Китае, а Ален Безансон — обо всех «социалистических» странах: где бы ни воцарялся коммунизм, он повсюду использует некоторые национальные традиции властвования и превращает их в карикатуру. Несмотря на общность идеологии — принесенной и введенной в Восточной Европе с помощью советских танков, — совершенно понятно, что у каждого народа одновременно и свой собственный коммунизм, и тот самый, о котором думал Маркс, который упростил Энгельс, который Ленин превратил в трезник и рабочий инструмент для захвата власти и которому Сталин сообщил бредовый размах.

Будучи в своей основной части карикатурой на марксизм и на русскую политическую традицию, румынский коммунизм несет в себе в карикатурном виде также и некоторые чисто балканские черты, ставшие методами руководства.

Если и можно говорить об оригинальности Румынии в контексте стран Востока (а об этом и придется говорить до конца), то при единственном и обязательном условии: постоянно держать в памяти и подтексте

эту двойную карикатурность, без чего никакой анализ невозможен.

Но карикатурность не объясняет всего. Если Маркс не умер в марксизме-ленинизме, то это потому, что зародыши идеологии содержались в его философии; если Ленин узнаваем в ГУЛаге, то это потому, что именно он создал полицейский аппарат, задуманный, как отточенное копье — не только революции и гражданской войны, но и гражданского общества в мирные времена, даже и во времена нэпа; если Сталин продолжается в постсталинизме, то это потому, что он довел до высшего совершенства «потемкиаду» слова и превратил страх в павловский рефлекс *rag excellence*. Не заходя столь далеко, чтобы вместе с Андре Глюксманом и Бернаром-Анри Леви искать истоки и ответственность за «варварство с человеческим лицом» у немецких мыслителей или французских энциклопедистов (хотя и правомерно выстраивать такую «генеалогию виновностей», о которой говорил и Ален Безансон), скажем: в этом черном карнавале воспринятых и внушенных идей абсолютно невинных нет.

По парадоксальной логике, румыны представляются повинными в слишком большой трезвости, в том, что они никогда не верили в коммунизм. Когда Красная армия в 1944 году оккупировала страну, она привезла с собой в военных фургонах несколько десятков румынских коммунистов, во время войны бежавших в СССР. Вместе с несколькими сотнями оставшихся на месте румынская компартия не считывала и тысячи человек (700-800, по всей вероятности). Оккупанты, стало быть, должны были трансформировать эту голодную партию в единственную правящую — а чтобы сделать это, ее надо было раздуть до отказа, и рекордными темпами. Оппортунисты, карьеристы, конформисты за любую цену — тем более, если ценой является власть, — добавили к на-

чальной цифре необходимое количество нулей. Новобращенные — а они составляли подавляющее большинство — были тем покорнее, чем сомнительнее было их политическое прошлое; тем послушнее, чем меньше в них было фанатизма. Как только колесики и винтики системы были поставлены на место и их нормальное функционирование было обеспечено, на самые ценные политические и интеллектуальные кадры страны обрушились репрессии — и степень вины определялась именно степенью ценности. В обретенном таким образом молчании слово имела только идеология, и глашатаи государственной лжи в тем большей степени открывали в ней свое призвание, что они никогда не принимали ее за истину и никогда не примешивали к ней веры. Чем ничтожнее они были, тем лицемернее.

Достаточно сказать — крайне схематизируя эту картину, в которой исключения всего лишь подтверждают правило, — что кризис совести, охвативший интеллигенцию Восточной Европы после XX съезда КПСС и доклада Хрущева, не произвел особой бури среди румынских писателей. Что они узнали такого, что уже не было бы им известно раньше? Их вера не была поколеблена, поскольку они ее не имели. Они не были сталинистами, они были всего лишь инструментами, обеспечивавшими власти ее ежедневный словесный рацион. По первому же заказу слова могли быть изменены, и единственная проблема румынских писателей была в том, чтобы заказы не иссякали. Стоит ли в таком случае удивляться тому, что в момент польского и венгерского восстаний румынские писатели оставались немые, другим — и прежде всего студентам — оставив заботу и риск совести? (Одним их тех, кто взял на себя в 1956 году этот риск, оплаченный двумя годами тюрьмы и четырьмя годами поселения, был не кто иной, как Па-

уль Гома, вокруг которого позднее группировалось движение в защиту прав человека в Румынии.)

Нужно помнить обо всем этом, чтобы объяснить себе, почему румынские писатели по смелости — бедные родственники на Востоке, почему они не соединяются в единую, способную реагировать интеллигенцию; почему, наконец, почти никто из них не присоединился к сопротивлению, которое один оказывал на протяжении всего 1977 года. Причина эта, конечно, не единственная, но, несомненно, самая главная.

Румынская литература была в осаде, она пережила возрождение, она пытается теперь выжить — это три этапа, общих для всего востока Европы: сталинизм, либерализация и неосталинизм. Или, в партийных формулах, примененных к культуре: социалистический реализм, гуманистический реализм, революционный гуманизм. Кстати, все три формулы фальшивы — в них находишь не то, что они пытаются определить, но то, что они пытаются скрыть.

Социалистический реализм.

Разумеется, не реализм и не социалистический. Определение столь же путаное, как и доктрина, которая за ним скрывается. Существуют всего два текста, две статьи, где в полной мере обрисована — приемами черного юмора — эта смесь из абсолютного дурного вкуса Ленина, кастрирующей воли Сталина и нечистой совести Горького. Первый — это памфлет, опубликованный Дьёрдем Палоши-Хорватом в «Иродалми Уйшаг» и затем перепечатанный в номере «Тан Модерн», посвященном венгерской революции. Второй, опубликованный в 1959 году журналом «Эспри», был подписан псевдонимом Абрам Терц, под которым, как мы узнали позже, скрывался Андрей Синявский. Румынам нечего к этому добавить, потому что социалистический реализм — по-

всюду одно и то же: государственный террор в чистом виде, не оставляющий оригинальности ни малейшего просвета.

В свой первый приезд в Париж, в 1972 г., Пауль Гома так говорил об этой «паралитературе», вспоминая один из типичных для этого периода романов в нашей беседе перед микрофоном радиостанции «Свободная Европа»: «В этом году я сделал над собой усилие и перечитал одну книгу, называть которую не буду и которая была кошмаром целых поколений школьников и студентов. Я прочел ее до конца. (...) Но я не чувствовал, что это книга... это было нечто другое... нечто уму непостижимое. Как бы это сказать?.. Там были слова, были чувства, но они казались собранными вместе по каким-то законам, о которых я решительно не могу сказать, известны ли они были раньше и помнит ли их кто-нибудь теперь. Это было нечто невероятно любопытное... Словно я открыл какое-то животное, существование которого можно было заподозрить только рикошетом...»

Социалистический реализм, некий питекантроп, которого никто сегодня уже не увидит и не будет изучать в музее окаменелостей, был, однако же, весьма эффективен в стирании талантов тех, кто его практиковал, — столь эффективен, что нынче они даже не заслуживают перечисления. Некоторые из них — собственно, большинство — опочили вместе с ним. Другие попытались пережить его — либо благодаря произведениям, написанным «в стол» (но чаще всего изувеченным самоцензурой, коварно продолжавшей функционировать), либо возобновив привычную службу в неосталинский период. Этот период продолжается и теперь, но кормится он более свежими силами компромисса. И старые ветераны фантастики лжи оказываются травмированы, измучены, бессильны, как в сказке с простой и строгой моралью: преданная ими литература мстит им. Чудесно исцелен-

ные от социалистического реализма настолько редки, что их можно сосчитать на пальцах одной руки.

Гуманистический реализм,

обещанный в качестве новой литературной доктрины на съезде румынских писателей в феврале 1965 года, был формулой, быть может, тоже неадекватной, но отказ от понятия «социалистический» сам по себе уже означал программу. Времена переменялись без особого участия писателей.

Чтобы по-настоящему понять либерализацию, которая была скорее им подарена, чем ими вырвана, нужно было бы проанализировать долгий процесс румынской «десателлизации», что сильно превысило бы возможности и пропорции простой статьи. Придется, следовательно, ограничиться напоминанием его наиболее характерных черт и его парадоксов. Ибо десателлизация, затеянная с целью избежать десталинизации, не может привести к добру, если не достигнет обратного: то есть не десталинизирует. Находясь под угрозой потери своей абсолютной власти, а может быть, и своего поста — Хрущев в других народных демократиях заставил заменить слишком скомпрометированные старые кадры более либеральными, — первый секретарь румынской компартии Георгиу-Деж сумел воспользоваться всеми козырями, которые открывало перед ним скользкое наследование Сталину. Он начал с того, что освободился от единственного серьезного конкурента, способного предложить либеральную альтернативу его власти: он казнил в 1954 году Лукретиу Патрашкану, «титовца до Тито». После венгерской революции он добился также вывода из Румынии советских войск (отчасти, вероятно, благодаря своей верности Кремлю: не он ли выдал Имре Надя, «бежавшего» в Румынию?). Это изменение статуса не обошлось без создания новых проблем (советские войска обеспечива-

ли устойчивость режима, принесенного на их штыках). Он разрешил их, затопив страну новой волной террора, столь же сильной, как в сталинские времена, которая к 1958 году совершенно очистила поле: всё, что еще оставалось от потенциальной оппозиции, очутилось за решеткой. Отныне он мог позволить себе сопротивляться экономической интеграции в рамках СЭВа, сыграв на советско-китайском соперничестве, и обратиться к Западу и его экономической помощи, сильный своей политикой разрыва с Москвой. Но, чтобы быть еще более уверенным в своей тактике и в обеспечении собственной власти, ему нужно было, в пределах возможного, превратить терроризированное и полностью враждебное население в нейтральную, если не доброжелательно настроенную массу. Для коммуниста невозможного не существует. Тем более, когда он располагает таким оружием, как национализм, естественный для народа, который в течение столь долгого времени угнетала и грабила Москва. Георгиу-Деж воспользовался этим весьма широко и не остановился перед мерами более чем выразительными, настоящим оскорблением Москве (в сентябре 1963 года он закрыл институт им. Горького в Бухаресте и отменил приоритарность изучения русского языка в школах; в 1964 году, опубликовав одну из работ Маркса, он поставил вопрос о Бессарабии, аннексированной Советским Союзом после войны).

Для этой новой политики нужны были новые кадры. Настолько же компетентные и убежденные, насколько их предшественники были посредственны и оппортунистичны. Георгиу-Деж, таким образом, был вынужден закончить тем, чем отказался начинать: он либерализовал свой режим. В 1964 году всеобщая амнистия освободила тюрьмы от политических заключенных (отчасти, как говорят, при бесценной помощи американцев). Возникла необходимость также сделать уступки интеллигенции, писа-

телям, художникам, призванным найти в национальном прошлом прототипы коммунизма, столица которого должна отныне переместиться из Москвы в Бухарест.

Наследнику Георгиу-Дежа после смерти его, Николае Чаушеску, не оставалось ничего иного, как продолжать начатое, развивая дальше эту политику, которая настолько стала его собственной, что он перестал признавать за своим предшественником какие-либо заслуги, зато всячески чернил его память. И так национализм и либерализация шли рука об руку, достигнув кульминации во взрыве возмущения оккупацией Чехословакии, после чего ситуация головокружительно деградировала. Угроза возможной советской интервенции стала для Чаушеску оружием шантажа, чтобы заставить население смириться с ужесточением режима, который в конце концов стал одним из самых диктаторских в Восточной Европе. Таким образом, национальные чувства трансформировались в националистическое алиби, патриотизм превратился в маскарад, любители вновь забрали свои старые места у профессионалов, ничтожество воцарилось повсюду, и единственная цель, предписанная писателям и артистам, состоит в прославлении Вождя при самом безумном из культов личности.

Совершив этот исторический экскурс и расставив по местам основные имена и события, которыми отмечено то, что с избытком оптимизма иногда называют «румынской независимостью», вернемся к писателям и их съезду в 1965 году. На нем партия принесла в жертву в качестве козла отпущения председателя Союза писателей, ненавистного всем Михая Бенюка, и вместе с ним — социалистический реализм. Другие уступки, сделанные писателям, заключались в следующей двойной жертве: был поднят железный занавес, чтобы пропустить в Румынию западную литературу, а предававшиеся до тех пор позору и

анафеме великие национальные писатели прошлого были реабилитированы; современным формам и способам художественного самовыражения было позволено заменить обветшалый академизм, и эстетический критерий снова получил право на существование. Но партия все же принимает некоторые меры предосторожности и, как всегда, одной рукой частично забирает то, что дает другой: классики и крупные авторы, еще запрещенные, могут угнездиться в этом New-look марксизма не иначе, как пройдя строжайшую вакцинацию: публикуются только части произведений или сокращенные варианты, страницы съедены многоточиями, предисловия превращены в трибуналы, где судят, насколько обосновано содержание с точки зрения прогрессивности. Современные приемы письма, принесенные с Запада, накладываются на старые схемы, несколько смягченные. Ценность произведения отнюдь не должна освобождать его от необходимости нести политический заряд — всё тот же самый. Что до критики отдельных сторон и деталей режима, то она никоим образом не должна затуманивать энтузиазма по отношению к целому. Для любого коммунизма, национальный он или нет, трагедия может быть только оптимистической.

Ловкость, изворотливость, бесчисленные хитрости, которыми пользуются румынские писатели, не лишены вдохновенности. Не атакуя партию в лоб (а напротив, куря ей фимиам), они скачут таким аллюром, за которым тяжеловесный аппарат цензуры, унаследованный от сталинизма и привыкший к простенькому раздвоению, не в состоянии угнаться, так что ему далеко не всегда удается, что называется, поймать их на горячем. Они огибают препятствия, нарушают табу. За исключением одного: им запрещено иметь память. Двери тюрем закрылись только в 1964 году, кровавая коллективизация закончилась только в 1962-м, воспоминания еще совсем свежи,

ужас еще липнет к коже. Но он должен быть поставлен в скобки. В то время как повсюду вокруг «Иван Денисович» символизирует начало настоящей оттепели, в Румынии он *предшествует* памяти о пережитом. Исключения очень редки — в том числе единственное масштабное: романист Марин Преда, который уже в 1955 г., первым томом романа «Могометii» начинает сагу о румынской деревне, где, кстати, в центре повествования оказываются не столько следствия коллективизации, сколько образ отца, носителя крестьянской мудрости, который судит людей и события с точки зрения вечности. Диалог, в котором сын-революционер противопоставлен отцу-традиционалисту, заканчивается во втором томе романа (1967) моральной победой последнего. Этот образ настойчиво возвращается в произведения Преда, и именно ему мы обязаны наиболее памятливыми страницами, смысл которых — выступление против кафкианского мира.

Но нужно было ждать еще до 1969 года, когда Д. Р. Попеску в своем романе «F» показал коллективизацию как некое онтологическое кощунство, богохульство; и 1970-го, когда Аугустин Бузура открыл в своем романе «Absentii» («Отсутствующие») настоящий процесс над обществом, где царствует карьеризм, продажность и предательство. Но даже у них включение в прозу фантастического или метафорического элемента превращает реальность в нечто совершенно зашифрованное. Путь, который избрала румынская литература, чтобы снова обрести настоящие ценности, редко приводит к открытым столкновениям с властью. Она идет к изображению действительности окольными путями (парабола, фантастика, аллюзия) или совершенно избегает ее, уходя от современной истории и политики. Но если язык румынской литературы не всегда соответствует правде исторической, то он почти всегда соответствует правде художественной. «Маги-

ческая власть мертвой буквы», о которой говорил Пастернак, поколеблена; декорация из картонных слов выброшена, выметена; намеки, параллели сегодняшней действительности путают все карты идеологическим фикциям — литература перестала быть инструментом, с помощью которого утверждали несуществующее.

После долгой ночи догматического сна всё надо было открывать заново: поэзию, роман, критику, музыку, театр. И это было сделано — почти спонтанно — новым поколением, поддержавшим и укрепившим ряды тех, кого, наконец, отпустили тюремный архипелаг и молчание. Лирический взрыв 60-х годов был беспрецедентным.

С появлением Марина Сореку поэт становится мастером пера, обладающим сознанием истории. Вежливая улыбка, с которой он как бы извиняется за то, что осмелился потревожить мнимости; покорность, с которой он принимает существование невероятного и перечисляет его формы; воспитанность, будто бы мешающая ему говорить громко, — весь этот черный юмор, невиннейшим образом обнаженный, способен скрыть крик, но не задушить его. В его скованной ужасом Великой Корабани матери производят на свет старцев, старики хоронят себя сами из страха перед землетрясением, горы существуют только для того, чтобы царапать человеческие лица, космос постоянно перемещается. Найти свое место в этом полном ловушек мире невысказано. Марин Сореку разрешает эту проблему по-своему в своей первой пьесе «Иона» («Иона»), где единственный персонаж, проглоченный китом, проводит время, вспарывая ему брюхо. Оказывается, что первый кит, проглотивший Иону, был затем сам проглочен другим, а другой — третьим, и Ионе ничего не остается, как переходить от одного к другому, оставаясь вечным заключенным, которого освобождает только самоубийство.

Йон Александру не видит иной возможности уйти от греха и виновности за свое существование в мире, в *этом* мире, кроме мистики. В этом взлете, идущем от первых его стихов, полных сомнений, до самых последних, которые уже не что иное, как гимны, он открыл для себя религию и родину, однако родина отнюдь не избавила его от необходимости продемонстрировать свой энтузиазм по отношению к этому грешному миру, с отрицания которого он начинал.

Никита Станеску, с которого началось поэтическое пробуждение 60-х годов, тоже несколько раз попался в ловушку. Ана Бландьяна, наоборот, с безмятежным спокойствием учится сомнению, и если всё, к чему она прикасается, превращается в слово, и если ей угодно свалить всё в кучу, поджечь и так «раздеть мир», то она никогда не позволяет себе петь дифирамбы — дифирамбы, определенным образом направленные, разумеется.

Поэзия покоряет этику — с Мирчей Чобану, одиночество — с Соринем Макулеску, гнев — с Ионом Георге, барочные арабески — с Леонидом Димовым.

Те, кто вышел из тюрьмы, всем весом своего концентрационного опыта присоединяются к этому сомнению, к этому горькому вопрошанию. Стефан Аугустин Дуанас не отказывается, в меру вкуса и здравого смысла, от классических форм, не изменявших ему даже в час испытаний, — и творчеством своим вносит серьезность и глубину настоящей поэтической культуры в эту атмосферу горячечной импровизации. Йону Карайону никогда не изменяют его пыл и горячность, как и умение находить разнообразнейшие метафоры, с помощью которых он говорит все о том же разочаровании, о той же безнадежности, ибо источник земной жизни наполнен одним лишь ядом. Вышедший не из ГУЛага, но из молчания, которое тоже своего рода тюрьма, Димитрие Стелару (в военные времена одна из главных надежд румынской поэ-

зии) в свободные стихи вложил уязвимость человека, с которого содрали кожу. Ему подарено было всего несколько лет голоса — он умер в 1970 году.

Гео Думитреску, очень ярко дебютировавший во время войны, нашел затем себе место в партии, но не в литературе, которую эта партия вдохновляла. В годы возрождения поэзии он снова начал писать, причем словно пользуясь рогаткой как методом познания: агрессивность его лирики позволяет ему разбивать привычные клише, а ироничность — скрывать глубокую и безошибочную эмоциональность.

Для Раду Станка и Констана Тонегару возвращение в литературу было посмертным.

Вся эта поэзия последнего десятилетия не смогла бы утвердиться, если бы не имела двух примеров, преданных позору в сталинские времена: Лучиана Влады с его метафизическим духом и Йона Барбу с его смысловым герметизмом.

Прозе нужно было гораздо больше времени, чтобы обрести свой истинный язык и облик. Но начало было блестящим: Стефан Банулеску, автор сборника «Jarna Vărbatilor» («Зима людей»), написанного в 1965 году, порвал со всеми иллюзиями реализма, чтобы с помощью воображаемого фольклора открыть для себя фантастику. От новеллы к новелле этого сборника магическое постепенно освобождается от излишней живописности, а стиль, поначалу утопающий в пышности, становится яснее и прозрачнее.

Прежде чем стать под пером Д. Р. Попеску способом развенчания действительности и истории, фантастика была способом бегства, возможностью избежать западни ирреальности, которую порождает идеология. Этот отказ от общего с властью языкового кода еще более вызывающим был у «ониристов», литературного течения, основанного прозаиком Думитру Цепенягом и поэтом Леонидом Димовым, которые не ждали от фантазии ни туманов немецкого романтизма, ни

автоматической диктовки сюрреализма, но образцов математической точности.

Я привожу эти примеры для того, чтобы показать, как румынская литература в течение всего нескольких лет весьма относительной свободы научилась жонглировать всеми приемами современной стилистики и литературной техники. Для этой новой литературы нужна была и новая критика, и эта критика родилась, она насчитывает десятки имен действительно талантливых людей, достойных этого удивительного этапа отечественной культуры.

И только философия оказалась бедной родственницей в этом возрождении — как и везде, где марксизм остается государственной догмой и монополизирует самое понятие философии. Один из крупных румынских философов, Мирча Вулканеску, умер в тюрьме; два, переживших ГУЛаг, — Константин Нойка и Антон Думитриу — появились снова на страницах печати, их пока терпят. Для молодых, которые пытаются преодолеть груз идеологических догм и выйти на простор настоящей философии, особых надежд на снисходительность властей не предвидится. Пока одному только Габриелю Лийчану удалось выплыть со своей замечательной «Феноменологией трагического».

Этот итог либерализации несомненно слишком краток и неполон. Он был бы еще более неполным, если бы, говоря о либерализации в литературе, мы забыли упомянуть об эволюции и путанице в литературских нравах, обычаях и — почему бы и нет? — в характерах. В этом вальсе колебаний между тем, что дозволено, и тем, что не дозволено; между великим открытием, каким было для писателей пробуждение гражданского самосознания одновременно с литературным, и приманкой привилегий, которую подбрасывала власть, чтобы покончить с сопротивлением, смягчить непримиримых, привязать к себе с помощью

коррупции юных бунтарей и превратить их в новую гвардию компромисса, — во всей этой свистопляске ясно различимы два этапа. В течение первого этапа, кульминация которого пришлось на оккупацию Чехословакии, писатели, казалось, твердо решили не считаться с лимитами, хотя и действовать с осторожностью. Ониристы, костяк которых сформировался вокруг плодотворных ересей Мирона Раду Парашивеску, были не только литературным авангардом, но и авангардом по гражданской смелости. На первое партия еще могла закрыть глаза, второе было покушением на основы основ. Это литературное направление и, прежде всего, самый яростный его представитель Д. Цепеняг были отданы на растерзание официальной критике. Между тем, не став по-настоящему экзистенциальной моделью, эта гражданская смелость, тем не менее, стала общей для нового поколения. Одно из собраний писателей-комсомольцев потребовало отмены цензуры. Пражская весна сделала партию осторожной: она сдалась всего наполовину и, не трогая, разумеется, цензуры, предоставила самым беспокойным несколько рубрик в одном из литературных еженедельников.

Благодаря полнейшему недоразумению, в августе 1968 года возник противоестественный союз между непримиримыми и партией, и начался второй этап. Чаушеску заявил о том, что он возмущен оккупацией Чехословакии и готов дать отпор советским войскам, если им придет в голову перейти румынскую границу. Он говорит о раздаче оружия, о сплочении нации. Лирические иллюзии достигают апогея (именно в эти дни один молодой писатель, не так давно вышедший из тюрьмы, вступает в партию. Это был Пауль Гома — и не он один). Писатели видели теперь в Чаушеску ярого сторонника манифеста «2000 слов»; он и был им, пока этого требовала его собственная политическая линия; в течение последующих лет он не мог успо-

коиться, пока не сделал абсолютно невозможным повторение подобного феномена в Румынии. Для этого он воспользовался прежде всего козырем национализма. Писателям дали понять, что для того, чтобы сопротивляться Москве, надо быть безупречными во внутреннем положении, не выходить за рамки догмы, поддержать и усилить видимость верности идеологии, скорее отказаться от свобод, чем рисковать потерей национальной самостоятельности. Ничего не было сказано ясно и прямо, всё — окольно, намеками внушено. О речи Чаушеску шушукались. Политика заговорщического подмигивания установилась между партией, которая вынуждена ресталинизироваться, и писателями, которые должны послушно — если не с энтузиазмом — подчиниться, поскольку существование нации поставлено на карту. А раз нация должна выжить любой ценой, то между цензорами, которые должны бдительно следить за тем, чтобы никакая аллюзия, ни запятая, ни параллель или восклицательный знак не смогли бы задеть Кремля или не понравиться ему, и автором, который должен прикидываться, что верит, будто эта запятая, или параллель, или восклицательный знак могут послужить предлогом для оккупации Румынии Советской армией, возникает завидное единение. Для тех, кто умеет склоняться перед требовательностью «заговорщического подмигиванья», власть делает и остальное: привилегии скрасят переход от иллюзий к их потере и заставят чудовищное недоразумение продолжаться. Новая гвардия компромисса, мобилизованная среди тех, кто еще совсем недавно требовал отмены цензуры, сильно отличается от предшествующей. Во времена сталинизма действовали с помощью террора (выбор, стало быть, был между сознательным принесением себя в жертву и сознательной проституцией). При новой волне коррупции сознательная проституция легко прикрашивалась добрыми намерениями, дававшими жертвам или рев-

нителям ее комфортабельный альянс незапятнанной совести с прекрасной карьерой. Одним из наиболее впечатляющих взлетов такого рода было мгновенное возвышение Николае Бребана, в один день ставшего директором одного из крупнейших бухарестских литературных еженедельников и членом ЦК: Не все поддались этому опьянению, но все должны были пожинать плоды новых заморозков и прежде всего — Июльских тезисов 1971 года, которые, открыв второй этап, упали ножом гильотины.

Революционный гуманизм.

Вернувшись из Китая, по всей вероятности, под сильным впечатлением того, как Мао усмирил свою интеллигенцию, Чаушеску, до сих пор позволявший себе лишнюю роскошь принимать свою во внимание, внезапно решил больше не считаться с ней, раз Мао мог это сделать. Своей «культурной мини-революцией» он швырнул им в лицо всё презрение, на которое только был способен. Литература и искусство должны заниматься только воспитанием масс, и, чтобы достигнуть этого, возьмем в качестве источника сами массы. Любитель отныне имеет первенство перед профессионалом, а задача этого последнего сведется к тому, чтобы отыскивать в национальном прошлом вероятных или невероятных предков Вождя. Это не то что бы ресталинизация, а просто государственная паранойя.

Писатели и художники, в основном страдающие аллергией к партийным документам и читающие их разве что ради умственной гигиены, тем не менее, немедленно почувствовали опасность, содержащуюся в этом последнем документе. К тому же, если в самом тексте и не было достаточной ясности, то оскорбительность, с которой его начали воплощать в жизнь, раскрыла им глаза. Не блистающий культурой активист, вызванный на сцену, производит первые опусто-

шения: среди общей паники выставляются к позорному столбу книги, с которыми возникают какие-либо сложности; программы радио и телевидения перечеркиваются; заграничные театральные гастроли аннулируются; кантаты Баха исчезают с витрин; издательства, выставочные, концертные, театральные залы грозят превратиться в посмешище.

Впервые писатели организуют единый фронт. Почти все — и пришедшие с разных берегов, представители самых разных направлений. Естественно, что находящийся в Париже Д. Цепеняг выражает свое крайнее возмущение. Но Николае Бребан, тоже находящийся в это время в Париже, посылает в Союз Писателей заявление об уходе из «Литературной Румынии», и это меньшее из того, что происходит. Никого не удивляет, что А. Е. Баконски дает отпор Чаушеску во время грозовой дискуссии между ним и писателями. Но тот факт, что то же самое делают Эуген Жебеляну или Дан Дешлиу, при сталинизме фигуры первого плана, — уже наводит на размышления. Оппозиция Тезисам в известной степени организуется вокруг Стефана Банулеску в еженедельнике, которым он руководит, и этот беспрецедентный факт, совершающийся в органе прессы, более чем послушном власти, не может не произвести впечатления. Но самым большим сюрпризом является поведение самого Чаушеску. И действительно, кроме него, никто не может отдать приказ к отступлению. Но еще с ленинских времен известно, что на самом деле за шагом назад следуют два шага вперед. Писатели, видимо, об этом забыли. Они верят, что выиграли. Подготовительный документ к их национальному съезду — который должен состояться в мае 1972 года — будто бы это подтверждает, ибо в нем выбирается средний путь: осуждены результаты соцреализма и высказано сожаление о чрезмерности либерализации. Этих смягчений и нюансов, которые не противоречили директивным

запретам Тезисов, хватило для того, чтобы ослабить боевой дух и отвлечь внимание. Что до единства, то оно уже начало давать трещины под нажимом групповых интересов и борьбы за влияние. Numerus clausus довершил остальное. Партия просит писателей послать на съезд в качестве делегатов каждого в т о р о г о из членов Союза. Раньше *все без исключения* писатели имели право участвовать в своем съезде. Это означает — с полуслова дает понять партия — устранить особо нежелательных, которые грозят превратить трибуну съезда в трибуну оппозиции. И — прежде всего — Пауля Гому. Не он ли был первым румынским писателем, положившим свой тюремный опыт в основу романа («Ostinato»), не он ли имел наглость предложить его румынскому издателю, а после запрета цензуры отправить свои рукописи за границу, издать их там и завоевать успех? Не окажется ли его пример заразительным для других? Не следует ли лишить его возможности делать зло? Его имя, не появлявшееся в румынской прессе с 1970 года, начало приобретать известность на Западе, его присутствие на съезде может привлечь внимание иностранных журналистов, которые там будут.

Второй диссидент, которого надо удалить, — Д. Цепеняг. От него властям никак не удастся избавиться: он вернулся в Румынию, разбив все надежды на то, что она ему опротивела (в то время как он находился в Париже, на его бухарестской квартире был произведен обыск). Разве нет и у него своего издателя в Париже? Разве не запретили одну из его книг при выходе Тезисов?

Что до третьего нежелательного, Николае Бребана, то он вернулся в Румынию, обнаружив себя, естественно, исключенным из ЦК.

Стало быть, этих троих надо держать подальше от съезда. Не репрессировать (власть хочет избежать слишком шумных мер), всего лишь устранить. И не-

возможное произошло: писатели сдались. Достаточно было пригрозить ущемлением авторских прав, пересмотром пенсионного режима, оживить страхи, разбудить зависть (почему Гома и Цепеняг публикуются на Западе, а нас он игнорирует?), освежить дурные воспоминания (слишком стремительное возвышение Бребана по партийной лестнице отодвинуло на второй план его несомненное дарование романиста), сыграть на нечистой совести (чего это Гома бравирует своей храбростью — мы не в России, чтобы разыгрывать из себя героев!) — и дело сделано. Это было равносильно смертному приговору всему, что было накоплено культурой в течение нескольких лет. Ибо отныне машина входит в рабочий режим, и ничто не в состоянии ее остановить.

Бедствие затронуло не одну только литературу. В 60-х годах такие композиторы, как Стефан Никулеску, Аурел Строе, Мирьям Марбе, Анатолий Виеру, Костин Миерану, Михай Митра-Селарьяну могли бы — и об этом говорила западная критика в Руане, в Дармштате, в других местах — создать румынскую школу современной музыки, ни в чем не уступающую польскому взрыву 1956 года. Но возможности, которые позволили бы им быть известными: партитуры, пластинки, радиотрансляции, участие в зарубежных фестивалях — предоставлялись очень скупо, а затем были и совсем закрыты. Нет больше румынской школы, есть просто несколько композиторов: одни — в изгнании (Костин Миерану, Михай Митра-Селарьяну, Хоратиу Радулеску в Париже), другие — дома, взаперти. Отныне музыковедам достаточно попытаться защищать музыку этих композиторов или их самих, чтобы получить отказ на просьбу о любой визе. Наиболее интересный из румынских музыковедов, специализирующихся на современной музыке, Раду Стан, не смог получить паспорт для поездки в Дармштадт, куда он был приглашен.

И другая школа была фактически уничтожена: режиссерская. Благодаря Лучиану Пинтилье, Давиду Эсригу, Ливиу Чюлеи, Раду Пенчюлеску, Андрею Сербану, румынская сцена доказала, что она может соперничать с наиболее смелыми западными экспериментами. После Тезисов талант художника стал чем-то вроде первородного греха: одни были «экспортированы» (Лучиан Пинтилье), другие эмигрировали (Андрей Сербан и Раду Пенчюлеску, первый — чтобы поставить в нью-йоркском театре «La Mama» трилогию из греческих трагедий, второй — чтобы отказаться — во всяком случае пока — от работы в театре).

Что до кино, то единственный фильм, созданный до Тезисов, мог бы иметь право на существование: «Reconstituirea» («Восстановление») Лучиана Пинтилье, сначала запрещенный, потом на короткое время разрешенный в 1969 году. Он смог попасть в Канны только совершенно частным, чтобы не сказать — тайным, путем. После Тезисов позаботились о том, чтобы больше не допустить подобных возмутительных исключений.

Те же проблемы были и у художников и скульпторов, вынужденных либо эмигрировать, либо продолжать работать в Румынии, погрузившись в полное одиночество.

Перед решимостью власти медленно, но верно воплотить в жизнь Июльские тезисы, придать официальную форму любительству (постоянный общерумынский фестиваль самодеятельности группирует все любительские начинания, неизбежная тема которых — культ партии и Вождя), отказаться от теоретических исследований (Математический институт был закрыт, а математики-теоретики отправлены на заводы и в учреждения счетоводами), от искусства (после землетрясения 1977 года, пользуясь им как поводом, государство эвакуировало все частные коллекции, которые переходили ему по завещаниям, все частные музеи Бу-

хареста были закрыты, произведения искусства были перевезены в подвалы Центрального музея, а опустошенные таким образом здания превращены в рестораны или резиденции, сдающиеся внаем иностранным посольствам); уничтожить, насколько возможно, шедевры прошлого (опять-таки под предлогом землетрясения была разрушена одна из древнейших в Бухаресте церквей, Biserica Ienei, которую стихийное бедствие полностью пощадил); углубить и расширить цензуру, заявляя о ее отмене, преследовать и наказывать за качество, — перед решимостью власти реализовать всё это интеллигенты бессильны, они не могут больше реагировать на ее действия сообща, они изолированы в мужестве, как и в трусости, и обречены только на индивидуальный протест. Тем не менее, для удобства изложения имеет смысл выделить три группы реакций.

Поддержка и энтузиазм.

И то, и другое — одинаковая редкость; исключениям обеспечены презрение собратьев и милость власти. Типическая фигура — Адриан Паунеску, риторика которого раньше питалась несколько неуверенным, но все же протестом. Он сделал головокружительный вираж и превратился в основного подпевалу Чаушеску, которого объявил «творцом выше Бога» и на которого излил такой поток елеля, что сделал совершенно невозможной или, во всяком случае, крайне затруднительной любую конкуренцию по части подхалимажа. Компенсацией был дождь из милостей: от персональной виллы до руководства газетой, не считая Музыкального общества, где поп-музыка поставлена на службу самого агрессивного национализма, с целью привлечения молодежи.

Двуличие.

Неизмеримо более распространенное, оно встречается столь же часто у молодых, которые не могут про-

биться, не пройдя — словно в каком-то выворотном посвящении — через испытание лозунгами, сколь и у самих цензоров. Двудлицие неизменно пользуется двумя перьями: одним пишется газетная статья или речь на те темы и тем языком, которые требуются на сегодняшний день; другое служит созданию произведения, кристального по художественной чистоте. Газетная статья со своей угодливостью, согласно этим расчетам, обеспечит публикацию произведения эстетически безупречного, поскольку власть будет довольна соблюдением партийного ритуала. Однако перья линяют друг на друга, ничто не может помешать заразе идеологического языка проникнуть в «кристально-чистое» произведение, и дело кончается тем, что оба кода бесповоротно переслаиваются. Именно таким образом появился на свет фальшиво «политический» и фальшиво «смелый» роман, в котором, будто бы желая разоблачить «ошибки» сталинизма, автор пользуется чисто партийной мифологией. На место партии, поставленной у власти Красной армией и ею одной, официальная фантастика предлагает яркие действия подпольной коммунистической партии, находящие свою кульминацию в народном восстании. Применяв эту официальную схему, автор получил право противопоставить положительного активиста — выходца из этой воображаемой генеалогии — отрицательному, который разбил слишком много яиц для своего революционного омлета, и походя поговорить об «ошибках» сталинского «отклонения», с тех пор исправленных, поскольку с приходом Чаушеску революция получила свое настоящее гражданство в Румынии. Для этого Рахметова, переодетого в дунайского крестьянина, для этого «Что делать?» по-балкански все средства хороши — и иногда самые что ни на есть модерновые. В течение нескольких последних лет некоторые по-настоящему одаренные романисты начали учиться фабрико-

вать фальшивки, в которых они рискуют утопить не только правду, но и собственный талант.

Оппозиция и сопротивление.

Оппозиционность распространена по меньшей мере в той же степени, что и двуличие. Она состоит в отказе пользоваться двойным языком, а значит — и в отказе от всех привилегий. Прав в Румынии не существует — есть только привилегии, которые простираются от пожалования квартиры до выдачи заграничного паспорта, которые влияют на книжные тиражи (сотни тысяч экземпляров для преданных партии, несколько сотен — для составляющих резерв), обеспечивают возможность выхода на радио и телевидение, нормальный ритм появления книг и статей, пребывание в «домах творчества». Бойкотировать власть, с достоинством удалившись в создаваемое произведение, означает принять риск весьма скромного, если не бедного существования, почти полной неизвестности. Для молодых, которые отказываются от партийного пути в самом начале своей литературной карьеры и которых засылают в провинциальные дыры, риск может превратиться в полное принесение в жертву своих способностей. Крайне редко случается, чтобы поэты уровня Михая Урзаши или еще более молодого Мирчи Динеску смогли бы утвердиться, как им это удалось, без каких-либо уступок с их стороны. Николае Йонель, первая книга которого была осуждена как излишне «мистическая» и в период Тезисов выставлена у позорного столба, с тех пор не публикуется. Поэтому надо принимать в расчет эту молчаливую и, по видимости, пассивную оппозицию всякий раз, когда возникает стремление осудить и всем скопом обвинить румынских интеллектуалов за то, что они отказываются — или не используют возможности — составить некое единство, интеллигенцию. Ибо перебои сердца в Румынии есть перебои мужества.

Случаи открытого сопротивления, следовательно, исключительно редки. Власть не хочет эскалации репрессий, ибо очень заботится о хорошем впечатлении за границей (Чаушеску проводит время в бесконечных поездках из одной столицы в другую, пытаясь поддержать свой престиж как в глазах глав западных государств, так и в глазах простых смертных на Западе), поэтому она обновила методы наказания: для тех, кого она считает известными за пределами румынских границ, она заменяет тюрьму заграничным паспортом.

Лучиан Пинтилье поставил в 1972 году в Бухаресте гоголевского «Ревизора», в котором усмотрели карикатуру на местные партийные нравы, — спектакль был немедленно запрещен. Пинтилье получил заграничный паспорт, позволявший ему приложить где-нибудь на стороне свой талант, с которым было слишком много сложностей.

Еще паспорт — для дерзостей Д. Цепеняга. Когда он стал в Париже главным редактором журнала «Cahiers de l'Est» («Восточные тетради»), правительственным указом его в 1975 году лишили гражданства. Всё, что угодно, — лишь бы он не вернулся. Такой же паспорт — для Вирджила Танасе, близкого к Цепенягу, разделяющего его эстетические позиции и тоже считающего себя ониристом. (После интервью с Цепенягом, опубликованного во французской прессе при появлении его первой книги в Париже, на него оказывают давление: предлагая заграничный паспорт, от чего Цепеняг долго отказывается; навязывая ему его снова; обещая выпустить в Париж его семью, — короче, всё, абсолютно всё используя, лишь бы заставить его уехать.)

Наконец, сам Пауль Гома. В июне 1972 года ему выдали заграничный паспорт и через некоторое время позволили его жене присоединиться к нему. Вдруг ему придет в голову мудрая идея не возвращаться? Он пишет во французской и немецкой прессе статьи против

цензуры, он выступает по «Свободной Европе», он преступает все запреты, но в июне 1973 года все-таки возвращается в Румынию, чтобы вести ту же борьбу внутри страны. Там уже организованы его литературные похороны. Остается только отнять у него пост редактора «Литературной Румынии», подождать, пока Запад его забудет, а сам он подуспокоится, задавленный нищетой. Особенно пока зависть и осторожность его коллег не создадут вокруг него пустоты. Эта пустота еще более расширяется после того, как Гома, преступив последнее табу, атаковал самого Чаушеску в письме Цепенягу, переданном «Свободной Европой». Атака была такой силы и агрессивности, что в воздухе запахло серой. Что он мог сделать, находясь в такой полной изоляции? Ответ был отнюдь не тот, которого ждали власти: он один — из круглого своего одиночества — создал румынское диссидентство.

Ибо такова отличительная черта румынского диссидентства: начал его писатель, к нему присоединились соотечественники любых профессий (по большей части — рабочие), но только не литераторы. Естественным для него было ждать поддержки от них. Безрезультатно. Тогда он решил от своего собственного и единственного имени послать письмо «Павлу Когоуту и его товарищам», чтобы выразить свою солидарность с Хартией-77. Датированное 26 января 1977 года, переданное «Свободной Европой» 9 февраля, это письмо было актом рождения румынского диссидентства.

«Я заявляю о своей солидарности с вашей акцией, — писал Пауль Гома. — Ваша ситуация — моя ситуация, чехословацкое государство — приблизительно то же, что и румынское. Мы живем, мы выживаем в одном и том же Лагере, в одной и той же Биафре (столица — Москва). (...) Вы оккупированы

русскими, мы оккупированы румынами — что, в конце концов, более болезненно и более эффективно, чем иностранная оккупация».

И в конце письма:

«Я с вами — чехи, словаки, венгры, поляки, немцы. И духовную близость к вам ощущают многие румынские интеллигенты, даже если их имена не поставлены рядом с моим».

Находясь в совершенной «безнадежности цели» — это его собственное выражение, — Пауль Гома в феврале решил написать письмо непосредственно Чаушеску (в «королевский дворец»), чтобы с тем же едким юмором предложить тому тоже выразить свою солидарность чехам, поддержав его, Гому, раз другие его сограждане не осмеливаются сделать это.

«...Поскольку нашлось тридцать венгров, то румын пропорционально должно подписать 90. Положим 50. Или хотя бы 10. Но где их найти? Я Вам признаю: румыны боятся Госбезопасности. И получается, что в Румынии всего два человека не боятся Госбезопасности: Ваше превосходительство и я».

Будет не 10 румын. И не 50, что лучше. И не девяносто, что прекрасно. Но — 200, которые превратились бы в тысячи, если бы Чаушеску не решил арестовать Гому. После того, как испробовал все возможные методы.

Первоначально их было шесть человек, и все хотели уехать — они подписали вместе с Гомой и его женой «Предисловие к открытому письму участникам Белградской конференции» (8 февраля 1977 г.). Им разрешили уехать. Но после их отъезда движение расширилось. Пока у Гомы работал телефон, ему звонили со всех концов страны, к нему приходили, огибая или преодолевая все преграды. Казалось, что ничто не в состоянии остановить этот поток, даже землетрясение 4 марта, которое его еще усилило. Правда, часто приходили подписывать письма для того, чтобы полу-

чить «паспорт Гомы», как его вскоре начали называть, ибо правительство, чтобы освободиться от «подписантов», разрешало им уехать, в полной уверенности, что они уезжают навсегда. Но это никак не должно вызвать недооценку значения этого движения, ибо среди прав человека, подтвержденных Хельсинкскими соглашениями, право на свободную циркуляцию людей занимает не последнее место. Гома, отказавшийся уехать, как его заставляли сразу после возникновения первой группы «подписантов», попытался объяснить свой отказ одержимостью других:

«... у нас, в социалистической Румынии, заграничный паспорт стал навязчивой идеей в национальном масштабе, мечтой, одной из целей жизни. В Румынии паспорт ценится неизмеримо дороже, чем хорошее место работы, машина или вилла».

Среди двух сотен имен (до ареста Гомы, потому что другие примкнули к движению после), только два имеют вес в интеллектуальном мире: литературный критик Йон Негойцеску и психиатр Йон Виану. Первый в громовом письме на имя Пауля Гомы разоблачал фальшивый патриотизм, обнищание литературного языка, удушение прессы, превращенной в «бесконечный сеанс, на котором много говорят, чтобы не сказать ничего», «черное болото мерзости и невежества, которое простирается до самых границ страны, как нескончаемый кошмар, и в котором тонет духовная жизнь». Под угрозой гражданского процесса Йон Негойцеску, испугавшись, раскаялся — в статье, опубликованной 14 апреля в «Литературной Румынии», которую не к чему анализировать, ибо ее название более чем выразительно: «Патриотизм».

Что до Йона Виану, то он уже раньше бил тревогу, опубликовав в «Румынской жизни» статью о преступлениях «гиперпсихиатрии». Ссылки на Галилея, которые он там делал, никого не навели на истину — ни цензоров, ни читателей. Эзоповым языком он гово-

рил о фактах заключения в психиатрические больницы с целью заставить людей изменить убеждения, что практикуется в Румынии по примеру Советского Союза. Но вместо того, чтобы запереть недовольных в спецбольницы, румынская госбезопасность рассовала их почти по всем обычным психиатрическим больницам страны. Не желая участвовать в применении такого рода терапии в больнице №9 Бухареста, Йон Виану в течение многих месяцев просил разрешения на выезд с женой и детьми. В своем письме Паулю Гоме, не затрагивая прямо вопроса о гиперпсихиатрии, он писал:

«Вы всё еще возлагаете надежды на будущее нашей страны. Наперекор стихиям, Вы верите, что исторические обстоятельства однажды нам улыбнутся. Или, быть может, Вы принадлежите к тем высоким идеалистам, которые до конца, против всего и всех, борются за безнадежное дело. Что до меня, то я устал. Устал, оттого что слишком много видел здесь, в Румынии. Слишком часто я видел тупую посредственность, делавшую ученых вид, грубую силу, душащую творческий порыв, ложь, ставшую абсолютной догмой и нагло дающую уроки здравого смысла самым очевидным истинам. (...) Я устал, как и множество других людей, и только поэтому я смиряюсь с этим ужасным шагом — эмиграцией».

В действительности, Йон Виану не первым со всей ясностью заговорил о заключениях в психиатрические больницы в Румынии. К Паулю Гоме приходили с рассказами жертвы этой «медицины», и впервые он сказал об этом в интервью, которое дал по телефону Вирджилиу Танасе (опубликовано 13 марта в «Нувель Литерер»). Он сказал тогда, что заключения в психбольницы производятся согласно указу №12 от 1967 г. и ему лично известны восемь случаев такого злоупотребления психиатрией. Были случаи, когда людей, подписавших открытые письма, арестовывали

прямо у дверей его дома и водворяли в психушку. Показателен случай с рабочим Василе Парашивом, письмо которого Пауль Гома опубликовал за границей. Василе Парашив вернул свой партийный билет, не желая больше состоять в партии, и за это несколько раз попадал в психиатрические лечебницы.

Широкий резонанс движение Гома получило потому, что вначале ему удалось найти отклик на Западе, а оттуда, через радио «Свободная Европа», в Румынии. Действительно, Пауль Гома не только давал интервью иностранным журналистам и даже французскому, американскому и канадскому телевидению, но ему удавалось передавать на Запад имена и письма оппозиционеров.

С тех пор, как с помощью террора было ликвидировано ожесточенное сопротивление пятидесятых годов, партия больше не знала ничего подобного. Движение Гома захватило ее врасплох и кинуло в панику, которая выразилась в зигзагах самых противоречивых мер. Сначала дело пытались решить тихо и хитро: давали загранпаспорта и быстро «эвакуировали» за границу; самого Пауля Гому при посредничестве Николае Бребана пригласили на встречу с неким высокопоставленным лицом, занимавшимся вопросами культуры, сделавшим ему заманчивое предложение: переводы его жены, в течение многих лет не публиковавшиеся, будут немедленно напечатаны, его собственные романы будут прочитаны «свежим глазом», в прессе прекратится замалчивание его имени. Сделать такое предложение Гома могли только те, кто плохо его знал. Какое значение могли для него иметь те или иные личные выгоды, когда во всех своих выступлениях он тревожился только о других людях — о тех, например, кто был арестован, выходя из его дома! Ибо одновременно с выдачей паспортов и завлекательными разговорами своим чередом принимались совсем другие меры: телефон не работал и

включался только для того, чтобы агенты безопасности, маскирующиеся под возмущенных почтенных граждан, смогли прокричать свои угрозы и грубости; кордон полицейских в форме и в штатском дежурил у дверей дома. Притеснения возрастали с увеличением числа оппозиционеров: бывший боксер, служивший теперь в органах, несколько раз пытался избить Гому, в прессе была организована кампания против него, его исключили из Союза Писателей, даже не сообщив об этом самим писателям; все, кто подписывал какие-либо письма, лишились работы, их арестовывали, избивали, часто подвергали пыткам.

То самое высокопоставленное лицо, что вело соблазнительные разговоры, передало Гоме: «Товарищ Чаушеску дал специальную инструкцию не принимать против вас никаких мер». Это было 22 февраля. 1 апреля «товарищ», вероятно, изменил мнение: Гома арестован, избит лично заместителем министра внутренних дел Николае Плешицей, который в виде прамбулы принялся клочьями вырывать ему бороду. Следствие велось с целью заставить его признаться в заговоре «против безопасности государства» при соучастии «известных фашистов» — Генриха Белля, Пьера Эмманюэля, Эжена Ионеско, Мирчи Элиаде. Об аресте Гомы стало известно на Западе только 12 апреля. Вскоре после этого были организованы акции протеста: четыре уличных демонстрации прошли в Париже — 21 и 26 апреля, 4 и 9 мая (три из них — перед зданием румынского посольства); призыв к освобождению Гомы был подписан многими видными деятелями Франции; он был принят в члены французского Пен-клуба — знак признания его таланта и знак солидарности перед лицом выпавших на его долю испытаний; выразил свой протест и американский Пен-клуб; возмущенные и тревожные статьи появились в самых разных органах западной прессы. В Бухаресте ничего подобного не ожидали, и там снова воца-

рилась паника. 6 мая Пауль Гома выпущен на свободу в тяжелом физическом состоянии, совершенно измученным, и посажен под строгий и постоянный надзор полиции, сделавший для него свободу новой тюремной камерой, более широкой, но столь же изолированной. Без рукописей, без записной книжки (всё было конфисковано), без телефона, в крохотной новой квартире, к которой никто не может приблизиться (за улицей ведется постоянное наблюдение, у любого прохожего проверяют документы и предлагают следовать дальше), ему ничего больше не оставалось, как покинуть Румынию. Это он и сделал в ноябре 1977 года, чтобы, обосновавшись в Париже, здесь стать эхом своих сограждан.

Движения Гома больше не существует. Но дисидентство как таковое продолжает существовать, ибо изменилась общая психология, однажды искупавшись в правде. Группами или индивидуально румыны посылают за границу — в основном на радиостанцию «Свободная Европа» — свои жалобы и протесты, подписанные их именами, с указанием адресов и номеров телефонов. Похоже, что они себя чувствуют в Москве, в Ленинграде, в Варшаве, в Праге. Когда из 35 тысяч бастующих в долине Жиу шахтеров 800 заявляют о своем присоединении к движению Гома за права человека; когда в начале лета 1978 года создается Комитет по защите религиозных свобод — после того, как инициаторы первого протеста баптистов были подвергнуты пыткам и избиениям; когда молодежь собирается группами, чтобы требовать разрешения на выезд, и угрожает демонстрацией на улицах Бухареста; когда молодой писатель Александру Мончу-Судинский 15 мая 1978 года начинает голодовку, чтобы освободить из психушки молодого философа Сезара Митителу (некто вроде бродяги-метафизика или Диогена-антиматериалиста, который отказался работать — работать, чтобы жить той жизнью, какой

там всем приходится жить), — румынский режим встречается с тем же протестом, что возник в СССР, и, несомненно, с тоской вспоминает о том, что он был единственным режимом, сумевшим избежать такого положения до 1977 года. Но теперь не время тоскливых воспоминаний. Скорее, время паники и растерянных импровизаций. Реакции Бухареста, шумные или приглушенные, отныне будут такими же, как и повсюду на Востоке: варьирующимися от заключения в психушки до заграничных паспортов, от полицейского запугивания в изгнании — до пыток и избиений в трудовых лагерях.

И отныне не одни только писатели будут охранять самобытность Румынии. Начиная с шестидесятых годов, они создали, несомненно, одну из самых богатых на Востоке литератур. Но они сорвали движение сопротивления. И если дух сопротивления продолжает существовать, то это при их безучастии, несмотря на них, в стороне от них. В какой беспредельной, чудовищной карикатуре нужно искать этому причин?

ЛОВИНЕСКО Моника — начала свою литературную карьеру в Румынии перед войной публикацией нескольких новелл и романа. После войны вела отдел драматургии в журнале «Демократия». Там же, в Бухаресте, начала заниматься режиссурой. В 1947 г. эмигрировала во Францию и в Париже продолжала режиссерскую работу (в частности, вместе с нею Никола Батай поставил «Лысую певичку» Ионеско). Опубликовала множество исследовательских и критических статей о румынской литературе и театре в различных французских газетах и журналах. Ее перу принадлежит статья о румынском театре в «L'Histoire des Spectacles» (Encyclopédie de la Pléiade).

На радиостанции «Свободная Европа» она ведет из Парижа серию передач «Тезисы и антитезисы», имеющую огромный успех в Румынии. Во время недолгой румынской либерализации перед ее микрофоном в Париже выступали многие румынские писатели, приезжавшие во Францию на короткое время.

В течение всего 1977 года Ловинеско подвергалась ожесточенным нападкам со стороны бухарестской прессы; член ЦК Румынской компартии писатель Титус Поповичи на заседании ЦК упрекал своих коллег-писателей в том, что они боятся проявлять преданность коммунистической идеологии из страха перед ее передачами.

Перед выездом в эмиграцию Пауль Гома был предупрежден замминистром внутренних дел Николае Плешницей, что ему следует за границей вести себя тихо, ибо «у революции длинная рука», доказательства чему он получит, прибыв во Францию. За день до приезда Гомы в Париж Моника Ловинеско была жестоко избита двумя неизвестными на пороге собственного дома. На пресс-конференции, данной по приезде, Гома сказал, что в этом он увидел «обещанное» ему Плешницей доказательство.

Но ни Монике Ловинеско, ни Пауля Гому это не запугало.

Борис Парамонов

АМЕРИКА В ТЕНИ ДЖОНСТАУНА

В середине ноября 1978 года калифорнийский конгрессмен Лео Райан с группой помощников и журналистов вылетел в Гвиану для расследования жалоб своих избирателей — родственников американских граждан, вступивших в так называемый Народный Храм, руководимый пастором Джимом Джонсом. Последователи Джонса во главе со своим лидером основали сельскохозяйственную колонию в джунглях этой южноамериканской страны, и, по имеющимся сведениям, некоторые из желавших покинуть ее удерживались в ней силой. Еще раньше, в августе 1977 г., калифорнийская газета «Нью Вест» опубликовала статью, вскрывавшую странные порядки, установленные в Народном Храме его пастором. В свете поступавших с разных сторон сообщений (поток которых начался еще в апреле этого года) прояснились многие темные стороны в практике калифорнийской секты и планах ее руководителя Джонса. Все это настоятельно требовало детального расследования. С этой целью Райан вылетел в Гвиану, чтобы посетить колонию в Джонстауне и на месте ознакомиться с положением дел.

Проведя в колонии вечер и ночь, Райан с сопровождающими, а также с несколькими лицами, захотевшими покинуть Джонстаун, возвратился на аэродром Порт-Каитума, в шести милях от Джонстауна. Здесь он, трое журналистов и женщина из числа покидавших колонию были убиты сопровождавшими их членами колонии. Многие были ранены, но все же боль-

шинству инспекторской группы удалось улететь. Получив известие об этом, пастор Джонс дал сигнал «Белой Ночи» — так называлась акция массового самоубийства, которая, как выяснилось позднее, давно уже была запланирована им. Созвав всех членов колонии, Джонс сказал им: «Конгрессмен и журналисты убиты. Гвианские войска будут здесь через 45 минут. Мы должны умереть с достоинством». Члены коммуны приняли яд, приготовленный джонстаунским врачом Ларри Шахтом. Сам Джонс застрелился.

В Джонстауне погибло свыше 900 человек, в том числе более 250 детей.

Это произошло 18 ноября 1978 года.

КТО ТАКОЙ ПАСТОР ДЖОНС?

Еще в 1965 г. двадцатидвухлетний студент Джим Джонс, возмущенный расовой сегрегацией в своей религиозной общине, принял решение образовать собственную церковь. В конце 50-х годов он тяготел к так называемой Христовой церкви, известной также под именем церкви Учеников Христа, — протестантскому объединению, которое привлекало его своей обращенностью к социальным проблемам, а также сложившейся традицией самой широкой автономии местных приходов, обладающих правом избирать своих священников (традиция конгрегационизма). В феврале 1964 г. Джонс был посвящен в сан священника, но уже в 1960 г. Христова церковь числила «Народный Храм» в качестве одного из своих отделений в Индианополисе. Джонс проявил бурную активность в создании своей церкви и ее материального фундамента, вплоть до того, что для сбора средств занялся уличной торговлей ручными обезьянками. Все свидетельствующие о нем в один голос говорят о его выдающихся организаторских способностях.

Уже в 1965 г., т. е. на второй год своего официального пасторства, Джонс перебрался в Калифорнию, сначала в городишко Укиа, а потом в Сан-Франциско. Отделение Народного Храма было создано также в Лос-Анджелесе. Его церковь в скором времени насчитывала около 20 тысяч прихожан.

Беспрекословно послушная своему пастору, паства готова была всюду идти за ним. Неудивительно, что Народный Храм и его лидер стали объектом внимания политиков, причем не только местных. Во время кампании президентских выборов 1976 г. с Джонсом встречалась будущая первая леди — Розалин Картер. Покровительство ему оказывал бывший мэр Сан-Франциско Масконе, назначивший его на крупную общественную должность.

Активная деятельность Народного Храма стала повседневным явлением в жизни Сан-Франциско. Если вы видели на улице толпу, вспоминает один из жителей города, вы смело могли рассчитывать найти в ней Джонса.

Целью Народного Храма было объявлено «социальное и политическое возрождение». Это привлекло на сторону Джонса многочисленных либеральных и радикальных политических лидеров. Большим успехом Джонса было вступление в Народный Храм очень уважаемого гражданина Тимоти Стоена, известного своим политическим либерализмом еще со времен его учебы в Школе права Стэнфордского университета. Говорили, что в укреплении Народного Храма это «обращение» было поворотным пунктом.

Широкая гуманитарная программа Народного Храма привлекала к нему не только влиятельных либералов, но и, конечно, массы обездоленных американцев (не следует, безусловно, забывать об относительности американской «обездоленности»). Джонс развернул обширную благотворительную деятельность. К нему шли и бедняки, и отчаявшиеся предста-

вители средних классов, вроде будущего врача джонстаунской колонии Ларри Шахта, который в поисках утраченного смысла жизни перепробовал многие средства — от восточной философии до наркотиков. Джонс создал контингент последователей, в точности соответствующий рецептам Герберта Маркузе: среди его сторонников и прихожан были как низы американского общества, так и выбитые из жизни интеллектуалы. Большинство составляли, естественно, первые: среди адептов Джонса было до 90 процентов негров.

Казалось бы, духовный облик самого Джонса в точности соответствовал традиционному представлению о праведнике. Социальная чуткость, столь характерная для первых этапов деятельности Джонса, выростала, кажется, из самых основ его личности. Еще в детстве он раздражал отца тем, что подбирал беспризорных собак. Позднее он усыновил восьмерых детей. Видимо, недаром его мать видела пророческий сон: ее сын будет человеком, который принесет правду в мир зла.

Однако более детальное знакомство с Джонсом открывало несколько иную картину. Очень интересные подробности сообщила в 1977 г. интервьюеру «Нью-Йорк таймс» его жена Марселина. По ее словам, уже в 18 лет Джонс говорил, что его герой — Мао Цзе-дун. Она сказала также, что Джонс «долгое время» презирал религию и хотел только использовать ее для достижения социальных перемен. Он сказал однажды о Библии: «Я должен низвергнуть этого бумажного идола». В другой раз он швырнул Библию на пол со словами: «Слишком многие поклоняются этому вместо того, чтобы поклоняться мне». Одна из бывших членов Народного Храма Фанни Мобли вспоминает, что Джонс признавался в своей вере в марксизм и в любви к Ленину и Гитлеру.

Очевидцы говорят, что примерно в середине 60-х годов произошли резкие перемены в характере Джон-

са. Он стал производить впечатление маньяка, одержимого. Одним из пунктов его бреда стал страх перед ядерной войной. Собственно, перенесение его культа в Укию было вызвано этим страхом: он где-то прочитал, что в случае ядерной войны на земле останутся шесть безопасных мест, в том числе Укиа и гвианские джунгли (в которых позднее он основал свою колонию). Другим пунктом стал секс: Джонс произносил с церковной кафедры шестичасовые речи, посвященные своей сексуальной жизни.

Постепенно выяснились подробности жизни Народного Храма. В атмосфере жесткой дисциплины и беспрекословного подчинения, созданной Джонсом, прихожане были игрушкой в его руках. Он заставлял их распродавать имущество и вырученные деньги отдавать Храму. Вышедшие из Храма, покинувшие его объявлялись изменниками и подвергались угрозам. Эти угрозы не всегда оставались чисто словесными: в декабре 1977 г. был убит бывший член секты Кристофер Льюис.

В своем «храме» Джонс создал обстановку сексуального террора, заставлял сожительствовать с ним не только женщин, но и мужчин (американская пресса огромное внимание уделяет бисексуальности Джонса). Молодых и привлекательных женщин заставлял заниматься проституцией для доставления средств храму. Подробности его сексуального поведения отвратительны. Так, он хвастался тем, что имеет ежедневно сношения с 14 женщинами и двумя мужчинами.

Джонс также провозгласил себя исцелителем и чудотворцем, разыгрывал сцены «исцеления от рака», когда его помощники выносили из ванны, где он уединялся с «исцеляемым» (подставным лицом), завернутый в полотенце кусок мяса со словами: «Не приближайтесь, это раковая опухоль». Разговаривал с «духами», в том числе со «святым рабочим лидером Джо Хиллом».

Одним из приемов управления паствой была культивация страха. В Народном Храме имитировались сцены ку-клукс-клановских расправ, когда белые прихожане «вешали» негра. Негров Джонс страшил тем, что белые готовят их массовое убийство, белых — тем, что их имена внесены ЦРУ в список «врагов».

По некоторым сведениям, еще в бытность его в Калифорнии Джонс брал подписку у прихожан о готовности их совершить ритуальное самоубийство.

КОЛОНИЯ В ГВИАНЕ

Деятельность Джонса и созданные им в Народном Храме порядки привлекали всё более настойчивое внимание. В обстановке всеобщей гласности невозможно было скрыть тайну. Сам Джонс еще в декабре 1973 г. попал под суд по обвинению в «соблазнении полицейского», к которому он приставал с целью склонить его к гомосексуальной связи. Дело кончилось ничем, за отсутствием доказательств.

Как уже было сказано, 1 августа 1977 г. появилась статья в газете «Нью Вест». Интересно, что ее автор Маршалл Килдафф не смог опубликовать материалы о Джонсе в газете, где он работал, — «Сан-Франциско кроникл», издатель которой был в приятельских отношениях с Джонсом. (Один из приемов Джонса — пожертвование крупных сумм местной полиции и «свободной прессе».) После появления статьи в «Нью Вест» Джонс, по словам приближенных, стал «настоящим параноиком». Он задумал перенести свою деятельность подальше — в джунгли Гвианы. Заручившись рекомендациями видных политиков (в том числе вице-президента США Уолтера Мондэйла), Джонс вступил в переговоры с социалистическим марксистским правительством Гвианы и получил разрешение на организацию на ее территории сельскохозяйственной колонии.

За Джонсом последовало в Гвиану около тысячи человек — мужчин, женщин, стариков, детей.

В сельскохозяйственной колонии Джонстаун была создана обстановка концентрационного лагеря. Рабочий день длился 11 часов. Людей кормили рисом и бобами, и только по воскресеньям они получали кекс и одно яйцо. Паспорта у них были отобраны, и никто не мог уехать обратно. Спали на деревянных кроватях без матрацев. Семейные пары, не желавшие разлучаться вопреки требованиям Джонса, получали в качестве «семейного имущества» одно шерстяное одеяло. «Лояльность» колонистов устанавливалась по степени их истощения. Была создана вооруженная охрана. Периодически устраивались репетиции самоубийств: Джонс созывал колонистов и раздавал им бутылки с напитком красного цвета, говоря, что это яд и что они должны сейчас умереть за социализм.

Помощники Джонса вступили в контакт с представителем советского посольства в Гвиане, пресс-атташе Тимофеевым. К нему обратились с просьбой помочь перебраться на Кубу или в Советский Союз, где колонисты будут в безопасности от преследований и угроз со стороны империалистов США (вероятно, эти разговоры и легли в основу позднейшей советской версии событий в Гвиане, согласно которой в Джонстауне смерть приняли «диссиденты», преследуемые правительством США). В том случае, если СССР откажет в этой просьбе, они умоляли спасти «хотя бы детей». Советский представитель говорил, что СССР, спасший во время испанской войны 5 тысяч испанских детей, будет внимателен к этим просьбам.

Между тем детей в лагере Джонса подвергали пыткам электрическим током, чтобы они разучились улыбаться (!).

Многочисленные жалобы родственников джонстаунских колонистов вынудили Лео Райана организовать инспекционную поездку в Джонстаун, чтобы на

месте ознакомиться с этим, по словам юриста Джонса Марка Лэйна (одного из защитников Анджелы Дэвис), «сокровищем, которое должен увидеть весь мир».

УРОКИ ДЖОНСТАУНА

В комментариях американской печати выделяются в основном две темы: Джонс как «харизматический» вождь и характер калифорнийских религиозных культов (еще один пример: знаменитый «сатанист» Чарлз Мэнсон, отбывающий сейчас пожизненное заключение, развернул свою деятельность тоже в Калифорнии). Это очень интересные и значительные темы; но, думается, анализ джонстаунских событий нужно построить на другой теме: необходимо зафиксировать внимание на несомненном социалистическом характере созданного Джонсом культа.

Сам Джонс видел интерес своей деятельности не в религиозной, а социальной работе; религия использовалась лишь как оболочка движения, как готовая и понятная массам «аутсайдеров» форма проповеди. Некоторая близость секты к так называемому социально-активному христианству не должна вводить в заблуждение, христианские мотивы были заглушены мотивами социалистическими. Христианство воспринималось и трактовалось сектантским лидером как средство, а не цель. Формы жизни христианской общины были подменены социалистическими формами жизни. Это началось еще в Калифорнии, где Джонс произвел самую настоящую *экспроприацию* имущества своих последователей; вокруг секты он соорудил *железный занавес*, расценивая выход за него как предательство. Внутри секты был установлен *культ личности* вождя — черта, характеризующая все известные типы социалистических обществ, хотя бы от Мюнстерской коммуны до сталинистского социализма. Гвианская колония была *лагерем* гулаговского типа. Наконец — и это

главное — целью построенного Джонсом социализма оказалась *смерть*, причем не как результат бессознательных иррациональных влечений, а можно прямо сказать, заранее спланированная.

Одним словом, Народный Храм был самой точной моделью социализма, как он трактуется в книге И. Р. Шафаревича, даже более точной, чем «русский» социализм. События в Гвиане стали оглушительным, сенсационным подтверждением правильности этой трактовки, они произошли как бы специально для того, чтобы доказать правоту русского автора. Одновременно это — предупреждение всем тем, кто не желает прислушаться к выводам нашего более чем полувекового опыта и к работе мысли, изнутри, из того же опыта, осветившей социализм как явление мировой истории.

Один вывод с непреложностью следует из сказанного: разговоры о русском источнике и русском характере тоталитарного социализма надо прекратить. И как можно скорее, если Запад хочет и способен извлечь какие-либо уроки из событий в Джонстауне. Ясно, что социализм — явление универсального значения, не сводимое ни к какой национальной «почве». Он есть свидетельство о глубинной дефектности самого человеческого бытия, о его имманентно деструктивных силах, таящихся внутри всякой национальности. А Джонстаун — свидетельство о повсеместном распространении социализма в современном мире.

В традиции американской и русской культуры найдется мало общего. Чем близки друг другу события американской и русской истории? Какая связь может быть установлена между американским прагматизмом и русским «мистицизмом» (беру последнее слово как штамп обычных западных представлений о России)? В чем походят один на другой два типа национально-го характера: американский пионер и русский «тягло-

вый» человек? Как соотнести друг с другом американский индивидуализм и традицию русской общинности?

Ничего, кажется, общего, и, тем не менее, социализм пришел в Америку — по крайней мере, постучался в ее двери.

Можно указать, пожалуй, на одно сходство, дающее как будто право произвести сближение России и Америки в указанном отношении. Основную массу последователей Джонса составили «аутсайдеры» — негры, бывшие рабы. Их психология как будто должна быть сходной с психологией бывших русских крепостных — и отсюда можно делать соответствующее заключение.

Но смешно сейчас верить, что русская социалистическая революция была делом народных масс, а не *интеллигенции*.

Отношение либеральной и социалистической интеллигенции к «угнетаемым массам» — крайне интересная тема. Один из догматов интеллигентской веры и одна из сторон ее социального идеала — равенство. События в Джонстауне показали еще раз всю опасность догматически толкуемой идеи равенства, социальной справедливости во что бы то ни стало. Джонс сумел так всесторонне и глубоко овладеть душами своих «аутсайдеров», культивируя в них психологию социальной угрожаемости и гонимости. Видимо, люди совершенно серьезно верили в опасность «вторжения наемников» в Джонстаун и кремации заживо. Ситуация гонимости, отчуждения от окружающей среды может создать очень сильный и жизнестойкий тип (евреи, ранние протестанты, отчасти русские раскольники, поскольку последние избежали аналогичного джонстаунскому самоуничтожения). Но последний пример показывает, что эта ситуация чревата многими опасностями, и Джонстаун еще раз подтвердил это. Нельзя безнаказанно противопоставлять массы существующему общественному порядку. Резкое и не оправданное ни-

чем, кроме отвлеченно либеральной идеи равенства, нарушение господствующего социального порядка, дестабилизация сложившихся общественных структур (что случилось в США в середине 60-х годов нашего века с провозглашением нового билля о правах) не всегда идет на пользу «аутсайдерам». Вырванные из привычных жизненных связей, они оказываются в пустоте. Давно уже было замечено, что ценность человека определяется не положением его на социальной лестнице, а достоинством, с которым он несет свое жизненное назначение, исполняет свою социальную роль. Поспешная либерализация общественной жизни угрожает низшим классам не в меньшей, а может быть, и в большей степени, чем высшим. Один из уроков Джонстауна — необходимость прислушаться к аргументам консерватизма.

Появление в Соединенных Штатах, вообще на Западе, интеллигенции в специфически русском смысле слова — важнейший фактор сложившейся в свободном мире общественно-культурной ситуации. Он будет определять все дальнейшее движение западной истории, причем в направлении ее к Джонстауну, если этот интеллигентский феномен не будет вовремя изжит.

Образование в западном мире интеллигенции, этой общественной группы, характеризуемой, по Федотову, «идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей», есть показатель глубокого культурного кризиса. Кризис определяется утратой религиозных корней культуры. Утраченную религиозность заменяют *социальная мечтательность* и *социальный идеализм*. Интеллигенция есть их носитель.

Что такое социальный идеализм? Это вера в то, что в рамках ограниченного земного бытия можно достичь реализации предельных идеалов человеческого существования. И поскольку при такой установке это существование целиком заключается в рамки зем-

ных, попросту физических, условий, сами идеалы приобретают чисто гедонистический, чувственный характер.

Забывается, что само это существование имеет предел, что способность человека к «счастью» имеет естественную границу. Попытка расширить эти пределы и границы, равно как и стремление ограничиться только ими, ведет к тяжкому духовному срыву.

Социализм как совокупность идеалов земного преуспеяния, счастья, наслаждений приобретает собственную дурную эсхатологию. Трактую, в теории, человека как гедонистический субъект, он упирается не только в границы человеческой способности наслаждаться, но и в границы самого человеческого бытия, установленные коренным фактом его смертности.

Социализм не обладает самой способностью понимания того, что все результаты человеческой культуры достигнуты вытеснением и репрессией низшей, чувственной природы человека — или сублимацией ее. Идея нерепрессивной культуры, не ограниченной никакой религиозно-моральной нормативностью, — самый большой соблазн и самая большая опасность современного мира.

Эсхатология социализма приобретает поэтому коренной противокультурный и противодуховный смысл. Конец ограниченного земного бытия, в факт которого упирается социалистическая мечта, мыслится — и осуществляется — средствами чисто физическими, а не религиозно-преобразующими. Это и есть смерть.

И сама антикультурная установка социализма создает формы жизни — поскольку он еще живет, а не кончает самоубийством, — отмеченные печатью глубокого атавизма, законом джунглей. К примеру, сексуальный террор, установленный Джонсом в его секте, напоминает более всего нарисованный Фрейдом образ «отца первобытной орды». Сведение феномена власти к его чисто животным истокам может быть

осознано как необходимая составляющая социализма, разрушающего все культурные «надстройки» человеческого бытия. «Культ личности» как символ социалистического диктаторства раскрывается как культ животности. (Хотя идеологические мотивировки этой животности могут быть самыми высокими, даже философскими, например, «переворачиванием» Гегеля.)

В то же время социалистическая эсхатология есть, несомненно, форма извращенной духовности.

Здесь нужно вспомнить то, что говорят американцы о специфическом феномене «калифорнийской религиозности». Калифорния — край Америки, для американца — край земли. Психология «пионера» натолкнулась здесь на естественный рубеж. Территориальная экспансия, дававшая содержание жизни первопроходцу американской земли, заканчивается на этом рубеже. Здесь он обнаруживает, что дальше «идти некуда». Отсюда — ощущение глубокой неудовлетворенности, жизненной пустоты, порождающее поиск разных «духовных» заменителей. Американские специалисты по психологии религии именно этим обстоятельством объясняют расцвет на калифорнийской почве всякого рода извращенных культов.

Получается, таким образом, что чисто хозяйственная, землеустроительная деятельность американца не дает адекватного наполнения его духовной жизни. Американский «прагматизм» оказывается чем-то в высшей степени условным. Американцем, оказывается, как и коренным русским, владеет мечта о «граде Китеже», об «Опосьском царстве» — еще одно доказательство неспецифичности «русской души», каковой мир якобы и обязан социализмом.

Но столь экстравагантно проявляющийся «калифорнийский идеализм» отнюдь не обнадеживает. Он свидетельствует, между прочим, о кризисе *протестантской* культуры, давний мотив которой — религиозное отношение к хозяйственной жизни, как разъяснил это

классический труд М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Утрата отношения к «хозяйству» — в пределе, кругу земных забот человека — как к религиозному испытанию, оценивающему высшие духовные потенции человека, — еще одно доказательство упадка американской — протестантской в своей религиозной основе — жизни.

Тупик безрелигиозной цивилизаторской деятельности (истинный смысл «калифорнийской религиозности», далеко выходящей за пределы Калифорнии) обозначился крайне зловеще в джонстаунских событиях. Когда в ответ на слова Джонса о необходимости умереть за дело социализма одна женщина сказала: «Мы могли бы убежать на Кубу или в СССР» — ее слова были покрыты криком: «Предательница!» Влечение к смерти, самоубийство есть бессознательная самокритика социалистической идеи, идеи земного царства. «Куба», «СССР», при всех своих «идеальных» социалистических чертах, — слишком материальны, по-сторонни, чем и признается, в столь парадоксальной форме, неземной, сверхприродный характер всякого идеала. Социализм, поскольку он выступает как идеал, не вмещается в реальность. Но поскольку сам идеал носит все-таки вполне земной характер — отрицается сама реальность, жизнь. Это и следует называть извращенной духовностью социализма. Социальный идеализм проявляет свою неадекватную духовность, не надстраивая природно-физический мир, а уничтожая его. Смерть в социализме — качество духовности, которую человек утверждает в самой гибели своей. Иной духовности социализм не знает.

Конечно, *такое* обретение духовности (которое можно назвать мезью духа) не есть выход из духовного кризиса. Выход — в восстановлении сверхэмпирической направленности духовной жизни, осознание связи человека со сверхземным смыслом бытия. Преодоление поистине смертельной угрозы, которую та-

ит в себе секулярная культура, возможно только в новом, религиозном, ренессансе.

Социализм, в религиозных терминах, — *бунт твари*: попытка демонического самоутверждения, помимо Бога и против Него, ограниченного в своих естественных пределах конечного существа — человека. И смерть, которую он сам призывает в акте этого восстания, является как имманентная кара за это самоутверждение.

Незадолго до своей смерти Джонс передал троим колонистам чемодан с деньгами, приказав отнести его в советское посольство. Не нужно понимать это как доказательство «агентурной» его связи с социалистической метрополией. Это скорее *упрек*: вы не настоящие социалисты, коли вы все-таки живете, «чистая» идея социализма вами не осуществлена. Вот вам плата за ваше предательство — суррогат «истинной ценности» — смерти.

Но мы вправе по-другому понять столь многозначительный жест. Колоссальной важности фактом остается то, что Россия все-таки жива, несмотря на захватившую ее социалистическую оргию. Русское *тело* не смог уничтожить социализм. Слишком велико оно для мгновенной самоубийственной акции. Социализм пытается убить Россию вот уже 60 лет. Смерть господствует здесь как тенденция к упадку бытия, который несомненен. Борьба с этой тенденцией, борьба с социализмом требует в России как духовной переориентации в направлении сверхэмпирических ценностей, так и нового внимания, новой обращенности, новой любви к самому ее телу. Иными словами, требуется *религиозно-национальное* возрождение. А этот процесс уже идет в России. Только на этих путях можно преодолеть социализм. «Либерально-эгалитарный прогресс» (термин К. Леонтьева) не только Россию завел в тупик, но и угрожает бытию повсеместно.

Факты и свидетельства

Виктор Некипелов

СТАЛИН НА ВЕТРОВОМ СТЕКЛЕ

А ведь он уже давно, хоть и ненавязчиво, ненароком, мелькает в наших глазах: то в случайном кадре о войне, то на миниатюрном значке в лацкане проводника поезда «Тбилиси—Москва». Говорят, в Грузии портрет Сталина — явление повсеместное, он висит чуть не в каждом доме, в гостиницах, в киосках, в сапожных мастерских.

Ну, пусть в Грузии — он был рожден на той земле, и грузины как-то умудряются увязывать свое национальное величие с именем этого чудовищного тирана, равных которому не было в человеческой истории.

Но вот замелькал горбоносый профиль со смоляным султанчиком усов и в наших, северных краях... Вот сосед вернулся из Тайшета и привез лакированный овал — фотопортрет в рамке. — «А чё? Все покупали, и я купил! Пусть полежит!»

Продавал торговец невзрачный на вокзале — выдергивал из чемодана, на милиционера, на углу маячившего, косясь (так цыганки помаду импортную да лак для ногтей продают): — «Подходи, граждане! Рупь — не деньги!» А в чемоданчике, навалом, — близнецы усатые, блестящие, один к одному.

Это подумать — в Тайшете, через который когда-то серые бушлатные потоки арестантов, тысяча за тысячей, по всем направлениям по указке его текли!.. Портрет сделан на славу: и в рамке, и даже с петелькой готовой — на стену подцепить, сразу видно — не ди-

летант-одиночка мастерил, а отлаженное производство, поток, массовый подпольный ширпотреб.

Появились и в Москве такие, всех размеров и форм, — то в такси, заместо пружинной дрожащей обезьянки, а то и снаружи, выставленные напоказ на ветровом стекле. И не только на легковушках — на самосвалах, на грузовиках.

Вот и сегодня, на людном среднерусском маршруте, в автобусе «Горький—Москва», встретили мы такой портрет. А в автобусе 50 душ, это уже не в такси, не в каморке какой — в общественном, считай, месте, на обозрение всем. Я смотрю на шофера: молодой, почти мальчик, Сталин таким сегодня — все равно что Тамерлан, историческая абстракция, да и только. Сменщик у него постарше, тридцать с гаком, так ведь и ему, когда Сталин умер, едва ли было больше десяти...

Что же тогда случилось, почему вытеснил шоферских смазливых «гёрлс» этот злодей в мундире генералиссимуса с накладными плечами, с помпезным орденом Победы на богатырской (умеют рисовать вождей!) груди.

Качает ночной автобус, пассажиры примолкли, полумрак, пробегает по стеклам, по плечам, по дремным лицам текучие встречные огни. И колеблемый ими, вздрагивает — оживает и подмигивает жутковато, и таит в усах загадочную полуулыбку призрак на ветровом стекле. Я раздумываю: что же это? случайное поветрие, мода или какой-то новый симптом застарелой, нехорошей болезни общества?

Конечно, возвращение Сталина в нашу жизнь — это в значительной степени требование политической конъюнктуры, т. е. явление, которое могло бы быть санкционировано «верхами». Я не случайно употребляю здесь сослагательный оборот: «могло бы быть...»

После развенчания Н. Хрущевым культа личности Сталина в 1956-59 гг. правящая верхушка КПСС очень быстро поняла всю опрометчивость этого решения. Рухнувший Сталин потянул за собою занавесь, обнажая те задворки, которые никак нельзя было обнажать. Сказав «а», нужно было сказать и «б», и «в», и увидеть неизбежный склон к демократизации, и услышать, как мало-помалу затрещала, лишившись какой-то равновесной спицы, вся политическая машина. Очень скоро, фактически еще при нахождении у власти неразумного Хрущева, были резко включены тормозные системы.

Особенно жестко встал вопрос о реабилитации Сталина (т. е. о восстановлении политического авторитета системы в глазах собственного народа и сталинских методов хозяйствования) в первые годы прихода к власти Брежнева. В ту пору (1964-69 гг.) такая реабилитация была реальностью, она едва не произошла. Вспомним все опасения интеллигенции накануне приближавшегося 90-летия со дня рождения Сталина (21. XII. 1969 г.), ее предостережения и протесты. Собственно, в ту пору и зародилось то, что мы зовем в настоящее время «правозащитным (или демократическим) движением», ведь начиналось оно именно как движение антисталинизма, против реабилитации Сталина. К счастью, ожидаемой реабилитации так и не произошло, не засияли вновь портреты «вождя всех времен и народов», не вышли из печати сочинения, все ограничилось лишь свертыванием критики «культа личности» и замолчанием сталинских преступлений.

С тех пор прошло 10 лет. 10 лет углубляющегося хаоса, милитаризации, катастрофического разлада экономики, удорожания стоимости жизни, нехватки основных продуктов питания, роста преступности и пьянства, коррупции и воровства, а главное — неудержимого падения престижа нынешнего руководства в

глазах народа, нравственной аннигиляции если не социализма вообще, то того, что им ныне зовется. Ведь сегодня уже мало кто у нас не знает, что «страна развитого социализма» ежегодно закупает у «загнивающей» Америки до 15 млн. тонн зерна, что уровень жизни советского рабочего едва ли не в 10 раз ниже, чем в США, что наше уродливое, нерентабельное хозяйство не разваливается вконец лишь благодаря экономическим подпоркам Запада, благодаря хищническим выкачкам из страны ее сырьевой крови: нефти, газа, леса, золота, пушнины, минеральных руд...

Конечно, нынешнее партийное руководство хотело бы, чтобы народ вдруг вновь стал дисциплинирован, как при Сталине, чтобы он — хоть под гипнозом былой мании пролетарского самовеличия, хоть под страхом Воркуты и Колымы — так же хорошо и бескорыстно трудился, подписывался на займы, ликовал у избирательных урн. При этом оно не возражало бы даже, если за спиной у президиумов, на задниках клубных сцен, рядом с Марксом-Энгельсом-Лениным засиял, как встарь, и четвертый, усатый, профиль. То есть сегодняшнее руководство могло бы реабилитировать Сталина. Могло бы в смысле — хотело, но не в смысле — сумело бы. Не сделав этого в 1969 году, оно уже никак не может сделать в 1979-м, пусть к столетию, ибо в стране за эти годы, несмотря на все усилия пропаганды, даже на появившееся в последнее время так называемое «комплексное воспитание подрастающей молодежи», встало поколение, которое попросту не примет — как не принимает живой организм пересаженную инородную ткань — раскрашенный и гальванизированный муляж.

А как же тогда портрет над баранкой у 20-летнего шофера?

И вот здесь мы сталкиваемся с любопытным явлением. Сегодня Сталин на ветровом стекле — это уже не столько санкция сверху, сколько порыв снизу.

Как ни парадоксально, но это тоже протест, протест против нынешней бесхозяйственности и развала, это как бы тоска по порядку, по лучшей, осмысленной и разумной жизни.

Безусловно, это одновременно и печальное, и дикое явление, ибо, водружая на хоругвь убийцу и тирана, — не ведают эти 20-летние, что творят! Но ведь они и подлинно не знают о всех его преступлениях, они воспитаны на их новом замолчании. Зато они слышали от отцов сказанное порою в сердцах — опять же как реакция на сегодняшнюю несуразную жизнь: — А вот при Сталине больше порядка было!.. — Не крали так!.. — Африку не кормили!.. — Пьянства не было, хоть и водка дешевле стоила!.. — В космос мыльные пузыри на топливе из наших сторублевок не запустили!..

Конечно, в стране еще живы, сильны и еще стоят у государственного кормила так называемые идейные, «лобовые» сталинисты. Но все же не они вывешивают сегодня Сталина на ветровом стекле. В большинстве своем это делают стихийно те, молодые и зоркие (хоть часто лишь по поверхности явлений скользит их взор), которые столь своеобразным, отчаянным жестом выражают свой протест против сущего.

Этот бытовой, шоферский «фото-самиздат» — явление совсем иного плана, чем Сталин на государственной киноленте. Каждый портрет Сталина над шоферской баранкой — это, прежде всего, «НЕТ!» портрету Брежнева (а и правда, где вы видели в шоферской кабине портрет Брежнева? Даже Ленина нет!), это — символ, жестокий гротеск, который еще больше подчеркивает всю уродливость нашей сегодняшней жизни, это предупредительный знак, вроде красной стрелки на манометре, который говорит, что дальше так нельзя и пора уже что-то менять.

И я думаю, что когда произойдет, наконец, эта желанная перемена, — она произойдет не в пользу Сталина.

Октябрь 1978 г.

КЛАДБИЩЕ ПОБЕЖДЕННЫХ

За окраиной небольшого городка Камешково, что на Владимирщине, — за приземистыми, похожими на блиндажи строениями городского овощехранилища и навозной жижей скотоферм, в чистом и вечном, неувядающем сосновом лесу — много лет высился почернелый от времени трехметровый деревянный забор. Глухой и таинственный, без единой калитки и лаза, таким обычно огораживают скотомогильники, какие-то заразные, чумные и ящурные очаги. И прохожие обходили его стороной, и ягодные бабки крестились торопливо: «Свят, свят, свят!»

За мертвой загорожей таилось кладбище немецких пленных — солдат 2-й мировой войны, умиравших от ран и болезней вдали от родины, в этом чужом, далеком, небось и во сне никогда не приснившемся, деревянном русском городке. В годы войны и несколько лет после ее окончания в Камешково находился госпиталь немецких военнопленных. Госпиталь располагался в двух зданиях, в которых теперь находятся 2-я и 3-я городские школы. Больных немцев свозили в Камешково по железной дороге, в красных товарных вагонах. Как рассказывают очевидцы, их загружали в вагоны с т о я и при этом набивали так, что, когда открывали двери, люди вываливались из вагонов — живые и скончавшиеся в пути вперемежку.

Лечение в госпитале было никчёмным, не хватало ни медперсонала, ни лекарства, питание — лагерное, и люди мерли как мухи, чаще даже не от болезней —

от голода, антисанитарии, а больше всего, — от отсутствия ухода, от отвержения. На самом деле, какое тут лечение, ведь для персонала в госпитале лежали «фашисты», «фрицы», этих можно было не то что не выхаживать, — даже ногою пнуть... В госпитале свирепствовали кожные гнойничковые инфекции — когда любая царапина или ранка от шприца вспухает гнойной полосой и по телу идут отвратительные струнья и прыщи; гнойничковая зараза унесла не меньше жизней, чем раны и тиф. По рассказам свидетелей, трупы в нижнем белье, а то и без него, сваливали кучей на телегу, и глухой молчаливый возчик отвозил их за околицу, на лесной погост. Хоронили сами же немцы, из выздоравливающих и обслуги. С немецкой аккуратностью обкладывали каждую могилу тесаным камнем, хотя ни имени на ней не разрешалось высечь, ни поставить креста, только сверху, в изголовьи, мазали краской реестровый номер.

Тогда же кладбище обнесли сплошным тесовым забором, а после ликвидации госпиталя и ворота зашили напроць — ни въехать, ни войти.

Шли годы. Все это время, пока кладбище было огорожено, могилы еще как-то сохранялись: подновлялись номера, не разрушались земляные курганчики и обкладка. Могилы густо заросли травой, кожистым листом брусники, уже то тут, то там поднялись новые сосенки и березки. Кладбище как бы сливалось с лесом, растворялось в его беспредельности, входило в него.

Я впервые побывал на немецком лесном погосте летом 1973 года, незадолго до своего ухода в ГУЛаг... Забор тогда еще стоял, хотя вывалившийся из него кусок приоткрыл кладбище взору. Каким-то жутковатым запустением и несправедливостью пахнуло в лицо, когда я шагнул в этот пролом. Я еще не знал тогда, что такое арестантский лагерь, но это был он — ровные квадраты с номерами, так выглядит лагерный

барак, когда заключенные ушли на работу... Я насчитал 460 могил, из них 19 больших, братских. А братские-то почему? Эпидемии такие были? В траве под забором обнаружил я перевернутый, сбитый с какой-то могилы тяжелый камень, на котором было высечено «Rudi Mayer, 1908-1946». Кем поставлен этот камень? Неужели кто-то с родины все же добрался сюда? Наверное, точной могилы не нашли, поставили наугад, а теперь и вовсе кто-то равнодушный спихнул его в призаборный бурьян. И еще камень увидел я у одной из могил, это было и все. «Dr. Richard Spieler, 1914-1946». Доктор? Господи, даже доктор, каких же наук? От какой замечательной, нужной для людей работы оторвали этого человека, чтобы убить в камешковской глухомани?..

Помню, еще тогда встал вопрос: почему? Почему усопших победителей хоронят под мраморными плитами, на которых золотыми буквами высечены их имена? «Над немymi могилами — воплем — надгробья», как сказал Александр Галич. И горит вечный огонь в берлинском Трёптов-парке, и на болгарском перевале стоит каменный русский «Альёша», и норвежские крестьянки высаживают цветы на могилах советских солдат.

Почему побежденные — как пасынки земли, как найденные при дороге бродяги, как заразные звери — за глухим забором, без гробов и имен, в лесных перепутанных ямах?

Ну хорошо, они были чужеземцы, захватчики, интервенты, враги... Но ведь уже не с оружием в руках они пришли в этот дальний поселок. Они умирали от ран и голода, от каких-то нелепых гнойничков, в неродном краю, куда один властитель швырнул, а другой — унижал уже поверженных, плененных, не очень много сделав для того, чтобы вылечить их и накормить. И вообще, в смерти нет чистых и нечистых, в ней не может быть ни наций, ни классов, ни захват-

чиков, ни врагов, ибо смерть, только смерть — это то великое всеобщее братство, о котором мечтают, из-за которого бьются и лютуют неразумные дети земли.

Мы так много говорим сейчас о правах человека, и в мире рождаются гордые слова прекрасных деклараций. Но разве не одно из таких же прав это п о с л е д н е е п р а в о каждого — быть похороненным достойно человека, даже если ты крамольник, преступник, раб и изгой?

И уж, конечно, солдаты всех армий, даже если они пали на чужой земле и с оружием в руках, должны пользоваться этим правом. Все они одинаково заслуживают и памяти, и уважения, и сострадания, ибо все они выполняли волю своих правителей. И если нужно кого судить, то это правительства, а не солдат. И не топтать ногами этих солдат за вину их правительств.

Преступно топтать любую могилу. Но топтать могилы солдат, людей не принадлежащих себе, преступно вдвойне.

...Я снова посетил немецкое кладбище лишь 5 лет спустя, в 1978 году. Боже правый, какое страшное зрелище открылось взору! От деревянного забора не осталось и доски. И уже не заброшенность и запустенье, не растворение в лесу — чье-то осмысленное надругательство и мародерство. Могилы совсем разрушились, уже ни на одной и номера теперь не прочесть. Со многих снят камень — та скромная обкладка, которую так аккуратно выкладывали руки соотечественников, тех, что, может, неделей позже сами легли в соседнем ряду. Этот камень выламывается теперь чьей-то воровской рукой, то там, то здесь зияют в земле черные свежие раны... Некоторые могилы, в том числе одна братская, так же по-воровски, не до конца, разрыты, какой же гробокопатель и что здесь искал?

Да уже и лес отступил под натиском городского придворья. Кладбище истоптано и загажено коровами (теперь их гонят со скотоферм на выпас прямо через

него), заросло бурьяном, тут же свалка: проржавевшие консервные банки, обломки стекла, какое-то истлевшее тряпье...

Население по-разному относится к судьбе этих несчастных, что лежат в камешковском лесу. Одни говорят: «Ну это же фашисты! Так им и надо! Они же убивали, жгли!» Но все же в большинстве своем, верю, не судит побежденных мой молчаливый народ. Пусть молчат, обходя стороной, отводят взоры, но все-таки как-то внутренне стыдятся, понимают, жалеют, хоть этим отделяя себя от жестокой и равнодушной власти, которая не то что врагов — своих-то миллионы свалила в сибирские безымянные ямы ГУЛага...

Вот, попался старик с корзинкой на подходе, у которого спросили, чуть заплутав, где тут немецкое кладбище. «А эвон!» — махнул рукою. И, пожевав, добавил: «Раскralи всё...» Нашелся даже заезжий журналист районной газеты, некто С., который, возмущившись увиденным, долго пытался что-то сделать. Он обил пороги райкома партии, горисполкома, местной редакции, даже куда-то «выше» писал. Увы, он не добился ничего. «Кладбище находится в ведении Ковровского УКГБ», — сказали ему. Ах вот как! Опять КГБ, даже и мертвые — во власти его!

Сделав несколько печальных снимков, медленно, с тяжелым сердцем, я обошел еще раз все эти скорбные, безымянные всхолмья. За исключением Руди Майера и доктора Шпилера, кто эти люди? Как их звали, как они выглядели, кто их любил и ждал? Ведь у всех у них остались где-то родные: матери, жены, невесты, которые и до сих пор, может быть, молятся о них безутешно, которые многое бы отдали за одно лишь слово, за одно неразгаданное «где»?

А они здесь — под пологом дальнего владимирского леса, под длянщимся 30 лет арестом, в отвержении, кошунстве и хуле.

Окт. 1978 г.

г. Камешково, Владимирской обл.

ПИСЬМО ИЗ СОСНОВКИ

Это письмо из лагеря общего режима в Мордовии. Автор не поставил своего имени, чтобы, как он пишет, избежать репрессий. Но я знаю его и отношусь к нему с уважением и полным доверием. Письмо содержит в себе много такого, что делает нужным и важным его опубликование. Это, прежде всего, предельно конкретная и впечатляющая картина внутрилагерной жизни: антисанитарии, холода, недоедания, тесноты и грязи, бездушия, произвола и жестокости администрации, вредного и изнуряющего труда, репрессий и провокаций, частых болезней и неудовлетворительного медицинского обслуживания. В письме обсуждаются также и другие аспекты лагерной жизни: взаимоотношения с лагерным начальством, особенности положения политзаключенных и их взаимоотношения с уголовными заключенными. Важнейший из общих вопросов письма — о реальной роли труда в лагере, о его принудительном и карающем, фактически рабском характере. Автор цитирует любимую присказку чиновников и лагерной администрации: лагерь — не курорт! Да, лагерь — не курорт, но людская совесть не может мириться с недостойным человека, унижительным не только для заключенных, но и для страны, где это происходит, положением в советских лагерях!

Андрей Сахаров

30 октября 1978 года, День политзаключенного

Как гуманна в сравнении с этой жестокостью обычная теория наказания, которая просто обезглавливает человека, когда желает уничтожить его!

Маркс и Энгельс

Глубокоуважаемый Андрей Дмитриевич!

Вы были здесь с женой, в Мордовии, Вы хотели получить свидание с Кузнецовым, однако уехали ни с чем, потоптавшись у ворот две недели*, намерзшись, намучавшись и, очевидно, проклиная в душе жестокость и лицемерие помпадуров. Почему власти испугались Вашего посещения, почему они не захотели пустить Вас всего лишь на границу лагеря, т. к. дом свидания это еще, конечно, не лагерь, почему они не могли допустить, чтобы Вы встретились с одним из нас? Ответить не так уж и трудно: они не хотели, чтобы Вы получили собственное впечатление от посещения лагеря и беседы с одним из узников; они прекрасно понимают, что между прочтением статьи или письма [...]** и непосредственным впечатлением от посещения современного ада существует громадное различие, что соприкосновение с лагерем оставило бы в Вашей душе глубокий след и Вы бы уже не могли не возвращаться постоянно к теме лагеря в своих выступлениях. Концлагерь и [... положение] его узников торчали бы занозой в Вашем сердце, и Вы бы постоянно напоминали миру об этой мучительной боли. (Я не забываю, что Вы и так защищаете нас, что Вы не забываете о лагерях — конечной остановке [...].) И, хотя непосредственное впечатление ничем не восполнить, я, однако, решил написать Вам письмо, чтобы освежить в Вашей памяти все то, что Вы, очевидно, зна-

* 16-26 декабря 1977 г. — П р и м. р е д.

** Многоточие в квадратных скобках ставится в тех случаях, когда слово или часть фразы неразборчивы. — П р и м. р е д.

ете о нашей жизни, и попытаться не только рассказать о наших мучениях, но и поставить некоторые проблемы, которые назрели и от решения которых зависит не только наша судьба и не только условия, в которых придется отбывать свой срок будущим «[... — полосатикам?]», но и атмосфера жизни нашего общества. Те проблемы, о которых я буду говорить, мы с Вами можем решить только на бумаге, решение же их в практическом и законодательном порядке будет зависеть от того, поймут ли компетентные власти, что им никуда не уйти от решения этих проблем, и повлияет ли общественное мнение на восприимчивость власть держащих к этим проблемам. Общественное мнение же зависит и от нас с вами.

Оптимистический зачин, не правда ли? Как видите, Андрей Дмитриевич, несмотря на бесчеловечное обращение, которому мы подвергаемся и которое может породить только ненависть и отчаяние, мы все же способны к сдержанности и не теряем веру в изменение к лучшему.

В каких условиях мы содержится

Когда Вы находились здесь, тщетно обивая пороги административных учреждений, добиваясь свидания, Вы, наверно, не раз подходили к вахте нашего лагеря и обходили наш лагерь вокруг, если только Вам грубо не командовали не шляться возле забора и идти подальше. Я видел наш лагерь с внешней стороны лишь от вахты. Вы помните, что вахта открывается внезапно слева от дороги, скрытая от глаз идущего огромными цистернами. На Вас это внезапное появление лагеря, очевидно, произвело сильное впечатление. Даже я, минуя эти цистерны и резко натыкаясь взглядом на шлагбаум, забор, ворота вахты, колючую проволоку и собачью будку, испытывал ощущение от-

крывшейся западни, внезапно разверзшихся врат ада. Очевидно, не менее безнадежное ощущение вызывает лагерь, когда его обойдешь вокруг. На болоте, обнесенный ржавой колючей проволокой, из-за серого [...] забора виднеются лишь трубы плоского, вогнанного в болотную трясиину Г-образного желтого корпуса. Снаружи видны еще и вышки по углам забора, а зимой — дым, идущий жидкой струйкой из наших печек. Жидкие струйки потому, что плохо топят, и потому еще, что часто дым идет через трещины в печках прямо в камеры. Вот я и начал описывать лагерь изнутри, его внутренний мир, на границу которого, в дом свидания, Вас ни за что не хотели пустить.

Внутренность лагеря производит не менее мрачное впечатление*. И мрачность эта опрокидывается на вас, в буквальном смысле, если вы, пересекши небольшой кусок пространства от вахты до входа в помещение, взглянете внутрь. Мрак, сырость и стойкая заплесневелая цементно-мочевая затхлость сразу же придавят вас, и, если вы, проходя по двору, еще сохранили кусочек светлого неба над головой в своей душе (хотя автоматы, вахта, собаки, обшарпанное, разваливающееся карликовое зарешеченное здание уже поселили тревогу в душе), то внутри «особняка» ваша душа внезапно оборвется и надолго тоскливо заночует, пока вы не привыкнете и к мертвым сырým стенам, и к вечной боли в груди...

Я боюсь, чтобы Вам не показалось мое описание здания метафоричным. Такие слова, как мрачное, сырое, затхлое, — это не колоритные эпитеты, это материя нашего быта, хотя, согласно ИТ** Кодексу, мы должны содержаться в сухих светлых помещениях. Вот уже шесть лет, как мы находимся в этом помещении, и все эти шесть лет мы страдаем от сырости,

* Планы лагерной зоны и камеры особого режима см. в «Вестнике РХД» № 115, с. 248-249. — Прим. ред.

** Исправительно-трудовому. — Прим. ред.

от угарного газа, идущего сквозь трещины в печах, от мокрых стен и потолков, заливаемых через дырявую крышу во время дождей и таяния снега. Здание стоит на болоте, фундамент оседает, и стены трескаются; зимой плохо топят, уголь плохой, а то и совсем не возят — то ли потому, что его нет, то ли некому завезти в зону, — и мы замерзаем. Окна зимой нам открывать запрещают, чтобы экономить тепло, и мы должны дышать вонью, исходящей от параш. Мы пишем жалобы и требуем, чтобы нам отремонтировали крышу, провели паровое отопление, сделали санузлы. Мы хотим жить в нормальном лагерном помещении. Мы ссылаемся на кодекс, однако до сих пор нам больше обещают, чем что-либо делают.

Естественно, что в жилом помещении не соблюдаются нормы санитарии. Не соблюдаются они и в прогулочных дворах, и на [...], в крохотных тесных прогулочных дворах стоят уборные. А в одном есть и сливная яма для нечистот. Уборные никогда вовремя не чистятся и не хлорируются. Вонь здесь повсеместная, стойкая и непроходящая. Мы купаемся в воню и ходим по нечистотам. Характерно, что даже к визиту двух генералов, зам. министра МВД СССР и министра МВД Мордовской АССР, администрация не смогла убрать в уборных, и надзиратели потом говорили нам, что начальник лагеря Сатаев получил за уборную выговор. (К этому визиту я еще вернусь.) Генералы не всё видели. Ну, например, они не видели нашего умывальника. Умывальник этот — самодельный, уже поржавевший изнутри бак, в котором за ночь набирается вода, а утром пускается по узкой трубе с несколькими дырочками. В баке — слой грязи, ржавчина, черви, дохлые мыши. Не лучше выглядит и баня. Баня крошечная. Все помещение занимают котел, печка и бак с холодной водой. 5 грязных тазиков и таз хлорированной воды для их дезинфекции перед употреблением. О санитарии говорить не приходится. В бане мы

моемся и после работы, т. к. душа на производстве нет, и приносим вместе с одеждой и [...] едкую вредную пыль.

Вот теперь и о работе. Работа, труд — это, пожалуй, главное, что определяет лагерную жизнь. Мы — как «особо опасные рецидивисты» — должны использоваться на вредных и тяжелых работах. Нас и заставляют работать на вредных работах: шлифовке хрусталя на наждачных и металлообрабатывающих станках с применением абразивных песков. Заставляют-то заставляют, но льготами, положенными на этих работах, мы не пользуемся: нам не дают молоко и дополнительное питание, у нас полный рабочий день. Работа особенно вредна и опасна для здоровья и потому еще, что отсутствует [...] техники безопасности. Потребовалось шесть лет жалоб, чтобы нам выдали противопыльные респираторы, однако до сих пор не сделана приточно-вытяжная вентиляция. В цехе нет бытовки и душа. Отопление печное, зимою цех загазовывается угарным газом. Я уже говорил, что цех не отвечает нормам санитарии. Нужно еще сказать о высоком травматизме: стекло битое, и осколки режут пальцы, впиваются в тело и брызгают в лицо. Пальцы, попадая на быстро вращающийся шлифовальный круг, обдираются до крови. С порезанными, нарывающими пальцами эки ходят по одной-двум неделям, не в состоянии приступить к работе. Однако мер по устранению травматизма не принимается, и даже не существует журнала производственных травм. Мы уверены, что наше производство не отвечает принятым нормам техники безопасности, охраны труда и санитарии. Однако на наше требование предоставить нам техническую документацию, чтобы, изучив ее, обратиться в компетентные органы с технически обоснованной жалобой и в суд с целью привлечь администрацию к ответственности, нам, конечно, отвечают отказом.

Труд — это стержень лагерной практики. Это начало и конец лагерей. Труд определяет реальное содержание исправительно-трудового законодательства. Все цели ИТЗ [...] отходят на второй план, и администрация знает только одно: заключенные должны трудиться, заключенные должны содержать себя, администрацию, ГУЛаг и еще Бог знает что. Экономическая цель труда сыграла определенную роль в формировании сути лагерей. Она определила режим содержания, меры наказания и поощрения, психологию администрации и надзорсостава, дух и суть, смысл лагерных взаимоотношений администрации и зэков. Труд как форма кары оказывает противоречивое воздействие на психологию и нравственность заключенных. Нормы и план, подчиненные самокупаемости лагерей, являются теми сторонами труда, которые перечеркивают его воспитательно-созидающий характер воздействия на зэка. Важно оценить [...] значение труда в лагерях, его каторжный смысл и противоречие практикуемого труда целям ИТЗ. Нужно также решительно осудить принуждение к труду политзаключенных. Об этом я скажу ниже, а сейчас дополню общую картину условий содержания медицинским обслуживанием и питанием, с тем чтобы на основе обрисованного реального положения в лагере перейти к рассмотрению таких вопросов, как нарушение администрацией статей ИТК, взаимоотношения администрации и зэков, декларируемые принципы ИТЗ и практика ИТУ, неправомерное приравнивание полит. зэка к уголовникам, и почему к нам не применяются международные нормы обращения с п/з, и наконец, когда же кончится лицемерие власть предержащих.

Так вот, что касается питания, то оно отвратительно. Что значит отвратительно? Ведь на всякий вкус не угодишь: один любит ананасы, другой терпеть их не может и предпочитает жареных рябчиков. Нет, речь идет не о вкусах, а о том, что готовят нам из

порченных гнилых продуктов. Мы платим из заработанных денег 16 руб. в месяц, однако изо дня в день едим одну и ту же жвачку: утром 5 раз в неделю грамм 55 рыбы (положено около 75 г), рыба гнилая, миска жидкой каши; обед—21 г тухлого сбоя* или сала, жидкий вонючий суп или щи из тухлой капусты; вечером вонючий суп. Хлеб сырой с [... — закалом?] в палец толщиной. Овощей, положенных по рациону, мы практически не получаем. Плохое питание вызывает бесчисленные жалобы. Одно время мы часто отказывались от пищи, требуя улучшения питания, но питание остается плохим, и мы всё так же ругаемся с администрацией, голодаем, но толку мало.

Нужно сказать еще о ларьке. В ларьке сейчас, по новым Правилам внутреннего распорядка (инструкция МВД)** , не продаются ни масло, ни сало, ни маргарин, ни сахар, а только консервы, хлеб и жиры. Что касается этой инструкции, то она жестоко и бессмысленно регламентирует наше поведение, [...] ограничивает количество вещей и предметов, которыми мы можем пользоваться, иметь с собой в камере и т. д. Так, инструкция запрещает держать в камере стеклянные банки, однако некоторые консервы продаются в стеклянных банках. Она же запрещает получать бритвы в бандеролях, а разрешает покупать их в ларьке. Однако бритва стоит пять [ежемесячных] ларьковых сумм, и ирония этого пункта инструкции состоит в том, что не использованные в этом месяце деньги (4 руб.) не переносятся на следующий, пропадают, следовательно, бритву ты никогда так и не сможешь купить в ларьке. О питании в целом нужно сказать, что оно не обеспечивает нужных организму аминокислот, необходимого

*Голова, ноги и внутренности заколотого на мясо животного. — П р и м. р е д.

**Новые «Правила внутреннего распорядка» приказом МВД № 37 начали вводиться в действие весной 1978 г. — П р и м. р е д.

количества животных белков, глюкозы, витаминов. Недоброкачественность продуктов является источником различных желудочных заболеваний. Периодически вся зона поголовно мучается кишечными и желудочными болями. Поэтому все мы нуждаемся в регулярной медицинской помощи. Чтобы не быть голословным, приведу примеры и назову некоторые фамилии. Вы знаете, как умер Галансков. Он умер от язвы желудка после операции. Эту язву ему лечили в течение нескольких лет. Хотя сегодня язва стала излечимой болезнью и в цивилизованных странах давно уже не умирают от язвы или, скажем, туберкулеза. Также от язвы умер 33-летний Пехарев, от туберкулеза 22-летний Волобуев, 48-летний Цветков. От не оказанной своевременно помощи умер сердечник Васильев сорока двух лет. Это те, кто умер в цветущем возрасте, а что говорить о тех, кому перевалило за 50-60. Те мрут, как мухи. Вот сейчас на наших глазах мучаются [...], один астматик, другой беспомощное существо с одной рукой и одной ногой. [Это] производит удручающее впечатление даже на нас, привыкших к ужасам лагерей. Они должны содержаться в больнице, однако их оттуда списали.

В лагере у нас есть санчасть, маленькая камера, и в этой санчасти нет ни фельдшера, ни медикаментов, есть только санитар, бывший полицай. Этот полицай, неспособный отличить головную боль от фурункула и аспирина от вазелина, — единственная наша медпомощь. В случае внезапного недомогания врача не дозовешься. Врач Емельянова бывает редко. Попасть к ней на прием можно через месяц, полмесяца после того, как заболел. Возможно, у нее просто не хватает времени. Ведь ей приходится еще и разъезжать. Вот недавно она выезжала на процесс Орлова в качестве свидетеля. Она свидетельствовала о том, что Орлов клеветал, сообщая общественности о плохом, бесчеловечном содержании п/з. У нас шутят: работа штатного свидетеля

КГБ отнимает много времени, и потому ей некогда нас лечить. Если же [она искренно свидетельствовала] о том, что мы здоровы, то, значит, ее представление о реальности сродни мышлению известного телеграфиста Федькина: раз она нас не лечит, значит, мы здоровы.

Не лучше положение и с больницей. В больнице нас держат под замком. Питание там также недоброкачественное. Врачи не делают регулярных обходов, а принимают раз-два за время нахождения больного в больнице. Лечения, как правило, никакого не назначается. За малейшую провинность могут выписать в любом состоянии. Например, без верхней вставной челюсти, которую не успел сделать зубной техник. «Как же я буду есть? Чем?» — спрашивает такой человек Емельянову. «А вы кушайте хлебный мякиш», — участливо рекомендует она. Раньше, когда тот же больной Юрков вместе с другим ээка Верховым нанесли на лицо и тело антисоветские наколки в знак протеста против неоказания медицинской помощи, врачи посоветовали одному из них надеть петлю на шею, чтобы избавиться сразу от всех болезней. Примеры бездушного, жестокого отношения к больным бесчисленны. Здесь человек может рассчитывать только на данные своих природных сил, чтобы дотянуть как-нибудь до свободы.

Режим и взаимоотношения с администрацией

Ненормальным материальным условиям, естественно, сопутствуют ненормальные режимные условия. Режим содержания заключенных устанавливается Правилами внутреннего распорядка ИТУ, издаваемыми МВД (инструкция) на основе и в строгом соответствии с ИТК. Что касается строгого соответствия «инструкции» и ИТК, то об этом у нас сложилось довольно

прочное мнение: «инструкция» противоречит гуманной части принципов ИТК. Жестокость режима усугубляется халатностью, безответственностью и произволом администрации. Свою деятельность по выполнению задач ИТЗ администрация практически сводит лишь к тому, чтобы путем жестоких наказаний заставить ээков выполнять и перевыполнять норму, и к подавлению личности заключенного и проявлений критики в адрес администрации путем бесчеловечных репрессий. Для администрации существуют только ее права и не существует обязанностей. Наших прав она не признаёт. Не признаёт и гуманных методов обращения с заключенными. Администрация имеет право нас наказывать, бесконтрольно и произвольно пользуется этим правом, наказывает по малейшему поводу и без повода.

Излюбленное наказание администрации — лишение свидания.

Это расчетливый выбор наказания, цель которого — изолировать свою жертву от внешнего мира, от связи с родными и близкими, чтобы легче [...] и безнаказанней можно было чинить расправу. Очевидно, администрация понимает, что нам есть на что жаловаться, и стремится отгородить себя от неприятностей. Жалобы, которые мы направляем официально, она стремится или вернуть нам (благо «инструкция» обеспечивает широкий набор предлогов), или же приложить к ним очерняющую жалобщика характеристику.

Однако мы продолжаем борьбу с администрацией за наши права. Формы такой борьбы — переход на статус политзаключенного, голодовки протеста, отказ от работы, отказ разговаривать с особенно ненавистными представителями администрации. Вы, очевидно, не сразу узнали, что Кузнецов, не получив свидания, объявил голодовку. Вас, кажется, сумело ввести в заблуждение КГБ: распустив слухи, что Кузнецов в больнице. Кузнецов так и не получил свидания позже. Свидания были лишены Мурженко, Караванский,

Тихий, Федоров и др. Они также объявили голодовки, писали жалобы. Но ничто не в состоянии остановить репрессивную политику администрации. Более того, в последнее время она усилила репрессии. Было бы логично, если бы усиление репрессий сопровождалось демонстрацией выполнения администрацией своих обязанностей по созданию нормальных условий содержания, с тем чтобы подчеркнуть право [...] репрессий. Но администрация не заботится даже о камуфляже своей репрессивной политики. Все, что касается ужасных условий жизни, все остается без изменений (единственное, что сделала администрация, это переложила несколько печек).

Вот типичный пример произвола администрации. У нас на работе администрация обязана предоставлять нам обдирочные и шлифовальные станки и литье-заготовки из искусственного хрусталя вместе с абразивным песком. Очень часто бывает так, что кому-то из заключенных не хватает свободного станка или песка. В таких случаях остается только ждать, когда освободится станок или привезут песок. Естественно, что в числе таких заключенных бывают и те, кто не особенно переживает за выполнение плана, а озабочен другими проблемами. А таких заключенных администрация патологически не переваривает. Заметив, что такой заключенный не стоит за станком, надзиратель сразу же составляет акт (а за нами ведется непрерывное наблюдение). Акт служит основанием для наказания. Бывает, что весь цех не обеспечивается работой, однако такие дни не «актируются», и даже в эти дни администрация составляет акты о неприступлении к работе и затем наказывает. При этом администрация не считается с тем, что эти зэки все же выполняют месячную норму.

Вот еще пример расплаты заключенных за пренебрежение администрации своими обязанностями. Администрация обязана предоставить первой смене про-

гулку после работы. Однако первая смена на прогулку не выводится. Летом из запыленного сырого цеха особенно тянет на солнышко, и мы выползаем погреться в пристроенную к цеху крохотную загородку для уборной. К вони мы привыкли (уборная нас не смущает) и, воровато оглядываясь вокруг, набравшись храбрости, стягиваем полосатую куртку. Однако тут же вырастает из-под земли надзиратель — и вот пропал уже твой месячный ларек. Суть этого произвола в том, что во время прогулки, которой мы лишены по вине администрации, заключенным разрешается раздеваться до пояса. Администрация требует от нас, чтобы мы 8 часов стояли за станком, однако не обеспечивает ни 8-часового непрерывного отдыха, ни регулярного питания. Тот, кто работает во вторую смену, никогда не высыпается, а завтракает и обедает одновременно. Согласно режиму, мы, например, имеем право отovarиваться в любой день и имеем право на те продукты, которые разрешены по перечню. Однако нам привозят ларек два раза в месяц и тогда, когда вздумается, и, конечно же, в ларьке нет даже того скудного ассортимента продуктов, которые нам разрешены по перечню.

Нам разрешены две бандероли в год и одна посылка после половины срока. Но бандероли часто возвращают, даже не вскрывая. А если в посылке находят колбасу или чай, то их сжигают. Ларек, бандероли, посылки — это, вроде, мелочи. Однако, во-первых, при пропитании, которое мы получаем, это не мелочи, а во-вторых, все это в совокупности характеризует администрацию и условия содержания.

Не меньше мы страдаем и от произвольного обращения с нашими письмами. Письма необоснованно конфискуются, задерживаются. Просто пропадают. Казалось бы, проще простого [...] сходить на почту и принести наши газеты и журналы. Однако из-за халатности администрации мы получаем почту нерегулярно, а отдельные экземпляры журналов и газет пропадают

бесследно. Даже подписку и ту администрация не смогла нам обеспечить на 2-е полугодие.

Как видно из сказанного, администрация не выполняет те свои обязанности, которые включают наши права. Мы имеем право на отдых. На здоровую пищу. На нормальные условия труда. На получение и отправление корреспонденции. На свидания. На подписку. На духовную жизнь. Последнее надо особо пояснить.

В наших тяжелейших концлагерных условиях почти нечего и думать о повышении своего образовательного уровня, о систематическом чтении книг или о [...] над серьезными проблемами жизни. Духовная жизнь невозможна, потому что нам запрещено получать книги и другую литературу от кого бы то ни было, кроме как из магазина «Книга — почтой». Магазин же «Книга — почтой» неохотно высылает книги на лагерный адрес, да и, как известно, хорошие книги у нас издаются небольшими тиражами и распределяются по библиотекам и солидным учреждениям. Кроме того, мы уверены (хотя доказать это, по естественным причинам, не можем), что местные оперативники, чтобы не загружать себя работой, часть заказов просто выбрасывают в корзину и часто не выкупают наши книги с почты (такие факты известны). Духовная жизнь невозможна, потому что мы физически истощены, потому что работа забирает последние силы, потому что в затхлых, зловонных, тесных камерах невозможно уединиться, побыть хоть минуту в тишине, потому что мы находимся в постоянном напряжении беспощадной войны с администрацией и частых конфликтов с уголовниками и полицией. Невозможна и потому, что администрация враждебно относится к книгам и любой написанной бумажке. Согласно «инструкции», в камере можно держать 5 книг или журналов. Почти каждый день надзиратель или начальник лагеря проверяют порядок в камерах, ищут запрещенные пред-

меты, роются у нас под матрасами, в тумбочках в поисках лишних книг, исписанной бумаги. Мы, конечно, пытаемся отстаивать наше право на ведение конспектов, литературных записей. Однако начальник лагеря не признает никаких прав и угрожает «положить конец литературной деятельности, сжечь всю писанину». При этом он с миной законника кивает на ИТК, где записано, что администрация должна предотвращать совершение преступления в местах лишения свободы. Да, но с каких это пор чтение книг и умение писать грамотно стали преступлением? — спрашиваем мы его. Однако «его с толку не собьешь». Его отношение к книгам и письму укладывается в известное кредо Фамусова: чтоб в корне зло пресечь, собрать все книги бы да сжечь. И вот в марте месяце у нас изымают все книги и бумаги и закрывают в каптерку. После длительных пререканий и демаршей с нашей стороны (заявлений о голодовках, об отказе от работы, о том, что будем жаловаться на волю) администрация, наконец, выдает нам по пять книг, а остальные грозит сжечь. Книги, действительно, находятся под угрозой. Ведь, с одной стороны, нам запрещено отправлять книги домой (опять по той же инструкции), а с другой — нам разрешается иметь только до 50 кг вещей. За долгие годы неволи у нас, конечно же, скапливается вещей больше, чем на 50 кг.

Я уже говорил Вам, что в своей практической деятельности администрация руководствуется в основном инструкциями МВД, оставляя соответствие своих действий духу и букве ИТК (а также КЗОТ и других законов в той части, в какой они действительно для ИТУ) на совести составителей этих инструкций. Можно ли сказать, что питание и ассортимент продуктов в ларьке, ограниченный инструкцией, соответствуют тем статьям закона, которые говорят, что наказание не имеет целью нанесение вреда здоровью, или что наказания соответствуют статье, запрещающей

причинение страданий и унижение человеческого достоинства? Долгое время нам давали [...] мойву. Тот, кто один раз попробовал ее, больше к ней не прикасался. Тогда нам из нее стали варить подливу. От нее шла такая вонь, что мы затыкали носы, получая утром кашу. Наконец, нам стали варить из нее уху на ужин. Но тут уж все не выдержали и дружно запротестовали: так на ужин у нас был хоть суп, а уху приходилось выливать в парашу. И сколько мы ни обращались с жалобами по поводу мойвы, нам отвечали — и местная администрация и управление, — что они получили инструкцию давать в лагерях мойву. Инструкция определяет и больничное питание. Фактически у нас нет диетического питания, а есть лишь усиленное питание для больных. Мы не знакомы с инструкцией, но нам говорят, что усиленное питание положено только 3% з/к.

Все, что я сказал об условиях содержания (а я сказал то, что лежит на поверхности; о том, что лежит глубже, и говорить не приходится), все это дает мне основание сделать вывод о том, что гуманные принципы и нормы ИТЗ являются декларативными. Но, чтобы этот вывод был очевиден и для Вас, я должен об этом сказать подробнее. И прежде общих рассуждений я должен показать Вам нашу жизнь в конкретных судьбах, событиях (не всех, конечно, а самых характерных). К тому же это оживит мой скучноватый рассказ.

Начну я с того события, с [...] которым Вы сами соприкоснулись, и с з/к, которого Вы знаете и к которому приехали на свидание. Так вот, Вам не дали свидания. Свидание же это Кузнецову было положено. У него подошел срок общего свидания, а закон позволяет получить его с Вами. Закон позволяет, а администрация не позволила. Кузнецов решил добиваться свидания голодовкой протеста... Вы знаете, что свидания он так и не получил, но голодовка его носила

характер протеста не только против попрания его права на свидание, но и против произвола администрации. В своих заявлениях он делал вывод о том, что мы являемся беззащитными жертвами произвола органов [...] наказания. И с его мнением, что мы являемся беззащитными перед произволом администрации, что она не несет никакой ответственности за нарушение норм ИТК, за пренебрежение своими обязанностями, за нарушение наших прав, — с этим выводом здесь согласны все. Более того, мы считаем, что администрация в отношении нас руководствуется не законом, а соображениями произвольно понятой целесообразности. И главная ее цель — подавить нашу волю, заморить нас физически, уничтожить нас духовно. Вот почему Кузнецов также выставил требование об амнистии для п/з, а до амнистии — о предоставлении нам статуса п/з и пересмотре наших дел.

Недавно и Караванский перешел на «статус мученика». Глубоко проанализировав наше положение, а также цели и деятельность администрации, он сделал тот же вывод о том, что мы подвергаемся преднамеренным мучениям. Караванский был лишен свидания. Его письма постоянно задерживались, конфисковывались, ему не оказывают надлежащего лечения, его содержат в камере с психологически отравленной обстановкой, его преследует ДПНК* Тазин. Он объявил, что отказывается принимать и отправлять корреспонденцию. Каждый третий день не принимает пищу. Прекратил разговаривать с Тазиным. Требования Караванского очень четки: вернуть ему свидание, дать ему ограничения по работе согласно его состоянию здоровья, создать нормальные условия содержания. В своем заявлении Караванский расценивает действия администрации как геноцид инакомыслящих. Администрация мстит нам за критику, которую мы высказываем.

* Дежурный помощник начальника колонии. — П р и м. р е д.

ваем в ее адрес. Наконец, Караванский объявил длительную голодовку. Он требует одиночного содержания. Одиночную камеру администрация может предоставить по решению прокурора. У Караванского есть все показания на одиночку, однако прокурор не торопится. Скоро 30 лет, как Караванский мытарит по лагерям советского правосудия. Почти вся жизнь прошла в лагерях Печоры, Колымы, Сибири, Мордовии. И вот в завершении пути «статус мученика» точно отражает все то, что пережил Караванский за 30 лет.

Мученический путь избрал и недавно прибывший в лагерь Тихий Алексей, член «Украинского Хельсинкского комитета». Он до сих пор не может понять, за что же ему дали 15 лет (10 лет строгого режима и 5 лет ссылки). Но не только это толкнуло его на путь голодовки. Прибыв в лагерь и увидев, в каких условиях ему придется жить 10 лет, он пришел в ужас. Он решил, что не выдержит 10 лет вредной работы на скудном некачественном питании. Не лучше ли сразу уморить себя голодом или добиться освобождения? Фактически Тихий в своем заявлении в Президиум Верховного Совета ставит альтернативу: или освободите, или создайте нормальные условия для жизни.

Произвол и жестокость администрации вызывают протесты со стороны заключенного Мурженко Алика. Он не раз обращался с жалобами на администрацию, требуя создания нормальных условий для работы и отдыха, соблюдения прав заключенных. Его жалобы вызвали яростное и неприкрытое преследование со стороны администрации и лично майора Некрасова. Майор Некрасов в присутствии Мурженко дал прямое указание адм. лицам довести Мурженко до одиночки. После этого началась травля. Администрация постоянно придирается к Мурженко по самым различным искусственным поводам, провоцируя его на нарушение режима. Надзиратели пишут на него постоянно акты. Его лишают общего свидания, посылки, ларьков. Мурженко

объявил, что он переходит на статус п/з. В своем заявлении он указал, что администрация заставляет нас работать на вредном производстве, не обеспечив техникой безопасности и лишая нас положенных на таких работах молока и дополнительного питания. Требовал приведения всей практической деятельности администрации в соответствие с гуманными принципами ИТК и выражал протест против преследований со стороны начальника лагеря Некрасова. Начальник лагеря Некрасов бросил Мурженко в карцер. Тот объявил голодовку. Некрасов же разразился угрозами, что ни голодовками, ни статусами «его не запугаешь» и что он выпишет еще 15 суток, а затем будет держать Мурженко в одиночке...

Я думаю, Андрей Дмитриевич, достаточно примеров. Вы видите, что значит сегодня быть п/з в нашей стране. Вы знаете, что не только наш лагерь, но и все другие лагеря вели борьбу за статус п/з, но пока все остается по-прежнему. Нас наказывают голодом, карцером, лишением свиданий, и мы пока не добились успеха. Но добиться статуса п/з собственными силами, заявлениями, протестами, личным фактическим переходом на статус, пожалуй, невозможно. Необходимо как-то обратить внимание на эту проблему, четко и ясно очертить всю проблему п/з. Но кто может это сделать и как? Ведь тот, кто на это решится, может проследовать в место не столь отдаленное: в наш или соседний лагерь. Возможно, что здесь самый короткий путь не прямой, а окольный. Может быть, нужно обратиться в Комиссию по правам человека при ООН и изложить ей суть проблемы.

А проблема состоит в том, что мы находимся на положении уголовников. К нам применяются те же законы, нормы. С нами обращаются как с уголовниками, т. е. как с аморальным элементом. Мы — люди, которые сделали социальные, общественные интересы смыслом своей жизни. Мы — те, кто свое личное

принес в жертву общественному. Мы не отделяем свои главные интересы от общественных и ставим свою деятельность на службу обществу. Такова наша жизненная установка: личное — это общественное благо. Эта установка диаметрально противоположна установке уголовной личности. Основные уголовные преступления совершаются людьми, стремящимися к достижению личных целей за счет принесения в жертву общественного блага. Установка уголовника — жить для себя, самоутверждаясь за счет общественных интересов и целей. Различные жизненные установки разносят п/з и уголовников по разным полюсам социальной жизни. Почему же, находясь на разных полюсах общественной жизни и представляя неизмеримо различную ценность для общества, они должны находиться в одинаковом положении в лагерях? Это — и два различных типа личности по своей психике, характеру, мировоззрению, интересам, по образу жизни и культурным, профессиональным, социальным и духовным потребностям. Можно ли их содержать в одинаковых условиях? Применять к ним одни и те же нормы и методы воздействия и заявлять, что ИТЗ и места лишения свободы имеют своей конечной целью ресоциализацию заключенных и не имеют своей целью причинение физических страданий и разрушение личности?

Я, конечно, за гуманное обращение с уголовными преступниками, но наш опыт говорит, что мы не только должны содержаться отдельно от них, но должны видеть к себе иное отношение, находиться в других специфических условиях. Настоящие условия — это условия геноцида п/з. Советский Союз защищает п/з коммунистов и левых во всем мире, но эта защита будет в тысячу раз эффективнее, если он для своих п/з создаст человеческие условия существования. Надо выполнять нормы, которые предлагаешь другим. Я угадываю возражения консерваторов-законодателей и деятелей из МВД. Они ничтоже сумняшеся заявят,

что существующее ИТЗ обеспечивает п/з, как и всем остальным заключенным, гуманное обращение и что п/з содержатся отдельно от других категорий преступников и этого, мол, вполне достаточно для них. Но обеспечивает ли на деле ИТУ гуманное обращение? Выполняют ли они такие декларируемые принципы, как исправительно-воспитательное применение труда, гарантия осуществления прав заключенных, ресоциализация, забота о здоровье и физическом воспитании (даже такой принцип есть!) и др.

Декларации ИТК и практика МВД.

Несовершенство закона о труде заключенных

Да, действительно, в ИТК записано, что труд должен быть подчинен основной задаче — исправлению и перевоспитанию заключенных. Но выполняется ли это благое пожелание на деле? Нет, конечно. Труд в лагерях давно уже, почти с самого начала образования лагерей, подчинен экономическим целям: прежде всего, самоокупаемости лагерей. Он также используется как принудительно мобильная рабочая сила, перебрасываемая в необжитые районы страны (Кольский полуостров, Колыма, Сибирь, Караганда), как недостающая дешевая рабочая сила, помогающая решить местные экономические проблемы (так, когда в Риге решили строить новый жилой район и рабочей силы не хватало, то решено было мобилизовать на стройку хулиганов, пьяниц и других нарушителей общественного порядка. С этой задачей успешно справились милиция и суды). Труд по своей сущности превратился в форму эксплуатации и кару. Я думаю, что это очевидно и на примере нашего лагеря.

За отказ от работы администрация немедленно жестоко карает. Такого з/к сразу бросают в карцер,

морят голодом и холодом в одиночках и, наконец, отправляют в крытую тюрьму. Эксплуататорски-карательная сущность труда содержится в том, что з/к платят только половину заработанных денег, повышают нормы только за счет интенсификации физического труда. Не засчитывают труд в рабочий стаж. Не обеспечивают социальным страхованием с целью возмещения ущерба здоровью и пенсионного обеспечения. Не дают ежегодного отдыха. Не обеспечивают компенсацию ущерба здоровью работающим на вредных работах. Чтобы труд в лагерях потерял свою эксплуататорскую и карательную сущность, выше-названные ограничения должны быть отменены. А чтобы з/к относились к труду как к средству, помогающему обрести социальный статус полноправного гражданина, иначе говоря, чтобы труд приобрел исправительно-воспитательное значение, должны быть установлены зачеты рабочих дней. В некоторых соц. странах делаются шаги в этом направлении. Их ИТЗ включают в себя некоторые элементы исправительного труда. Так, в ЧССР есть социальное страхование, в ПНР предоставляется 7-дневный оплачиваемый отдых (отпуск). В ПНР, Болгарии, Румынии существуют зачеты рабочих дней... Бесчеловечные же условия, в которых з/к сегодня трудятся и содержатся в лагерях, делают их поистине современными рабами. З/к, который своим трудом содержит себя и аппарат ИТУ, имеет право на здоровые условия существования, на нормальное питание, на охрану труда, на человеческое обращение.

Запрещение получать посылки, мелочная регламентация положенных к продаже продуктов, мизерная сумма, на которую з/к имеет право покупать эти наилучшие малоценные продукты питания, — все это стремление создать такие условия, в которых подачки в виде 2-рублевого ларька, дополнительной посылки, а также угроза лишения закупок продуктов в ларьке,

получения одной посылки в год стали бы стимулами побуждающими, побуждающими к интенсивному труду, к выполнению и перевыполнению нормы.

Такие методы обращения с з/к находятся в явном противоречии с декларируемыми целями ИТЗ, и они особенно антигуманны и выглядят ужасным анахронизмом в современном мире по отношению к п/з. Поскольку Советский Союз является участником различных международных конвенций, в которых принудительный труд подвергается осуждению и запретам, постольку нашим правоведам приходится изощряться в казуистике, чтобы оправдать принудительный труд исправительно-трудовых лагерях. Они, например, говорят, что принудительный труд под наблюдением государства не может обозначаться термином «принудительный, или обязательный труд». Они — «реалисты», во-первых, такие же, как средневековые философы-реалисты, которые считали, что реально существуют только слова, во-вторых, такие, которые плюют на все слова и конвенции и оправдывают то, что им выгодно в данный момент. Как будто бы рабу не все равно, принуждают ли его самодельной дубинкой или сделанным на государственном заводе пистолетом.

Таково положение вещей в части лицемерно провозглашаемой исправительно-воспитательной цели труда. Не лучше положение и в том, что касается достижения целей ресоциализации. Принцип ресоциализации остается пока утопией. Ресоциализация предполагает возвращение в общество полноценного человека, в т. ч. профессионально подготовленного. ИТЗ обязывает ИТУ организовывать профессионально-техническое обучение з/к. Но, во-первых, это практически не выполняется, т. к. основная цель администрации — выполнение плана, а лагерные работы, как правило, не требуют никакой квалификации; во-вторых, принцип ресоциализации невыполним в отношении

п/з, т. к. большинство из них имеет высшее образование и за годы неволи их знания устаревают, и они практически теряют квалификацию. Они становятся профессионально-интеллектуальными инвалидами. Принцип ресоциализации предполагает и постепенное улучшение, облегчение режимных условий содержания, ослабление изоляции, расширение связей с волей, но в отношении п/з эти методы почти не применяются.

О том, осуществляется ли в лагерях забота о здоровье з/к и обращаются ли с ними, уважая их человеческое достоинство, я думаю, ясно из того, что я сказал о медобслуживании, о питании, об отсутствии техники безопасности на производстве. Вот незначительный рядовой эпизод, который проливает свет на наше реальное положение. У з/к Евмененко несколько дней держалась высокая температура. Врач не появлялась, и он сбивал температуру, выпрашивая жаропонижающие таблетки у санитаря. Наконец, недели через две (все это время Е. болел) появилась врач, и Евмененко попал к ней на прием. Врач отнеслась к температуре Евмененко равнодушно. Выйдя из санчасти, Евмененко в отчаянии потребовал, чтобы его посадили в изолятор, отказываясь идти в камеру. Не долго думая, ДПНК и надзиратели заломили Евмененко руки и потащили в камеру. Евмененко стал плакать и просить, чтобы ему не ломали руки и не били его. На его крик отозвались зэки. Они стали стучать в двери своих камер. Открыв одну из камер, ДПНК, чтобы погасить возмущение заключенных, стал громко кричать, что Евмененко не бьют, и угрожать наказанием за стук. Евмененко затащили в камеру, так и не поместив в санизолятор и не оказав никакого лечения. За стук же в двери администрация решила расквитаться с з/к, наказав одного из них лишением свидания...

О том, уважают ли наше человеческое достоинство, свидетельствуют те наказания, которым мы подвергаемся, та роба, которую мы носим, наши стри-

женые головы и сбривание усов в наручниках, наша беззащитность перед произволом самодура-начальника, условия, в которых мы содержится. Неуважение к чести и достоинству человека настолько здесь стало нормой, что его переносят и на наших родных, приезжающих к нам на свидание: они подвергаются унижительным обыскам.

Возможно, мне пришлось бы меньше говорить Вам о нашем ужасном положении, если бы существовали гарантии соблюдения законности и осуществления наших прав, декларируемых ИТК. Но где же эти гарантии? На бумаге существует беспристрастный прокурорский надзор. Но местный прокурор заодно с администрацией. Прокурор должен систематически, не менее одного раза в месяц, посещать лагерь, однако у нас он появляется только в чрезвычайных обстоятельствах. Существуют еще наблюдательные комиссии, но они не являются постоянно действующим органом, призванным контролировать деятельность администрации. Если бы законодатели действительно заботились о защите прав з/к, они бы наделили этот орган постоянными функциями, и зэка знали бы его членов, адрес этого органа, имели бы возможность обращаться туда и встречаться с его ответственными представителями. Но для нас, п/з, это вдвойне нереально из-за строжайшей изоляции нас от мира — только мыши могут проникнуть на территорию нашего лагеря. Практически мы находимся в полной безраздельной власти администрации. И, зная о том, что никто не прислушается к нашим воплям, она вовсю измывается над нами. Измывается особенно и потому, что наши вопли нет-нет, да и доходят до мировой общественности. И тут уж администрация произвольничает с чувством праведного негодования верноподданных МВД. Она защищает честь мундира и выставляет себя в роли суперпатриотов.

Наш начальник, майор Некрасов — зеркало системы МВД или свидетельство ее кризиса

«Вы, враги народа, — с ложным пафосом говорит майор Некрасов, — будете у меня ходить по струнке. Я вам устрою 'демократию'.» На этом прирожденном садисте, образчике послушного исполнителя, убежденного палача, сто́ит немного задержаться. По сути, этот администратор, его деятельность, стиль работы являются типичными, и они свидетельствуют о том, что практика лагерей расходится с декларируемыми принципами ИТК. Кроме того, его отношение к п/з доказывает, что нас нельзя уравнивать с уголовниками, что мы нуждаемся в особом статусе. Некрасов заявляет, что он «законник», и в подтверждение этих слов — которых никто, конечно, не принимает всерьез — обкладывается кодексами и комментариями к ним, когда вызывает к себе очередную жертву своего произвола. Русское присловье говорит о таких грамотеях: «смотрит в книгу, а видит фигу». Похоже, что нашему законнику уже должны сниться «фиги», т. к. ничего, кроме фиг, он в книгах не усмотрел. Над этим можно было бы сочувственно повздыхать (альтруисту и толстовцу) или едко посмеяться (умнику и вольтерьянцу), нам же, лицам заинтересованным, из-за этого приходится страдать и чуть ли не плакать от злости и обиды. Ведь ту «фигу», которую он находит в своих талмудах, он [...] преподносит нам, и нам приходится ее нюхать. Некрасов воспринимает в законах только то, что является его правом, не замечая наших прав, и наши обязанности, не замечая своих. Причем свои права он понимает чересчур уж механически. Так, усвоив, что он имеет право наказывать з/к, он тут же подсчитал, сколько он может вынести наказаний в месяц. Об этом он сообщил одному из нас: «Я имею право наказывать вас 30 раз в месяц». З/к долго спорил с Некрасовым, что наказаниями нельзя поль-

зоваться механически, однако переубедить Некрасова ему не удалось. Отчаявшись переубедить Некрасова разумными доводами, он прибег к формальным: «Вы что же, и в феврале можете вынести 30 наказаний?» Этот аргумент надолго вывел Некрасова из равновесия. В феврале у него никак не получалось 30 наказаний. Механические действия и мышление майора Некрасова принесли ему кличку «Органчика». Этот достославный герой, как известно, имел механическую голову (правда, не живую, как у нашего Органчика, а съемную металлическую) и был заведен только на два начальственных окрика: «разорю» и «не потерплю». Наш «Органчик» постоянно нас разоряет (я уже писал о его лихих налетах на книги, тетради, банки, носки, бушлаты, кальсоны) и со всей внушительностью власти заявляет нам, что «не потерпит литературной деятельности и всего прочего». Некрасов не просто механически воспринимает закон. Он понимает его в соответствии со своими наклонностями. Часто он, видимо, и просто не способен понять некоторые статьи закона. Он, например, никак не хочет понять, что в нашем лагере нарушена статья закона о раздельном содержании разных категорий заключенных, а именно: лиц, которым смертная казнь заменена помилованием, и особо опасных рецидивистов, т. е. всех остальных в нашем лагере. Похоже, что законы ему так же туго даются, как некогда диагнозы и синдромы: Некрасов начал свое жизненное поприще на ниве здравоохранения. Он любит похвастать, что у него фельдшерское образование. Но очевидно, он потерпел фиаско в сфере здравоохранения, и пришлось ему делать карьеру на поприще охраны общественного порядка в системе ГУЛага. Здесь, к сожалению, он имеет некоторые шансы, ибо, в отличие от медицины, где нужны не декларации, а знание врачебного искусства, в системе ИТУ можно обойтись пустым заявлением о том, что ты законник, а действовать по собственному произволу.

Некрасов действует, руководствуясь соображениями карьеры и вытекающей из этого целесообразностью, а также собственными симпатиями и антипатиями, которые он преодолеть, видимо, неспособен. Он не желает ссориться с вышестоящим начальством и помалкивает о недостатках, о нарушении наших прав. Он заботится лишь о том, чтобы любыми путями дать производственный план, нагнать на нас страху и трепету, создать атмосферу террора. Он считает нас «врагами народа» и уверен, что начальство одобрит террор в отношении врагов. Терроризирует он нас не только своими руками, но и старается привлечь на свою сторону бывших полицаев и уголовников. Тут, можно сказать, вырисовывается целая стратегия лагерной политики. Некрасов приближает к себе уголовников и расставляет на всех командных работах полицаев. Он разделяет зону на три враждебных стана. Вражду он искусственно создает и подогревает. «Вы наши, советские, — говорит он уголовникам, — мы вас прощаем, а те, антисоветчики, те — наши общие враги». И он покровительствует уголовникам. Обычно это выражается в различных «приглаживаниях» и распространении на уголовников всяких льгот. Я — зэк, и меня не беспокоят поблажки, оказанные начальством какому-либо зэку. Но до тех пор лишь, пока эти поблажки не превращают подобного з/к в слепое орудие администрации, направляемое против меня, против политзаключенного.

Политика Органчика «разделяй и властвуй», политика сеяния вражды, стравливания заключенных шита белыми нитками. Все з/к прекрасно понимают ее, и поэтому лишь отъявленные сволочи из полицаев и уголовников решаются быть его открытыми пособниками. Кое-что, конечно, удастся Органчику. И вражда, и напряжение существуют в нашей среде. Вы наверно читали в «Вістях з України» о нашем лагере, и, хоть там все подтасовано и перевернуто, ложь, однако, состря-

пана на фактическом материале ссор и драк в нашем лагере. Я не стану описывать конкретные случаи интриг администрации, хотя они и внесли бы оживление в мой суховатый рассказ. Я хочу обратить внимание на почти идентичное выражение ненависти к п/з уголовников и Органчика. Когда шла[...], они выбрасывали лозунги: «Жидов в Израиль», «хохлов ...» — следовало нецензурное выражение. И вот что говорил Органчик: «Украинцы жадные, они сало любят» — это уголовникам, поощряя их к вражде с украинцами, составляющими большинство в лагере. «И что вы сравниваете меня с фашистом? Мы вам жить даем, а при Гитлере вас бы уже давно не было бы», — это Мурженко, давая понять, что пусть терпит наказания и благодарит, что еще жив. Он также явно пристрастно говорил: «Я доберусь до 'летчиков'» (это о Кузнецове, Мурженко, Федорове), начиная свою кампанию репрессий. Он сделал опорой своей власти полицаев (они занимают все места хозобслуги, санчасть, нарядную, библиотеку, каптерку, электрика, слесаря и т. д.), и они служат ему так же преданно [...], как некогда фашистам в концлагерях и в батальонах ГФП*. Это красноречивый факт. Он заставляет задуматься о нравственности Органчика, который находит опору в исполнителях.

Мы знаем, что в капле воды заключено все, что содержится в океане, так же, как в человеке — тот социальный мир, живой частью которого он является. Вполне логично будет рассматривать наш лагерь, жизнь и структуру отношений, сложившихся здесь, как каплю воды, отражающую процессы, происходящие в большом мире. Диссидентов третируют и судят в большом мире. И здесь нас травят и репрессиируют. В большом мире много говорят о гуманизме, о законности, но процветает бездушный бюрократизм и дей-

* ГФП — Geheime Feldpolizei, тайная полевая полиция. — Прим. ред.

ствуют репрессивные законы. И здесь применяется лишь репрессивная часть ИТК и никто не думает выполнять его гуманную часть, обеспечивающую наши права. В большом мире пресса подтасовывает факты, стремится выставить диссидентов врагами народа. И здесь нас называют врагами народа. Здесь Органчик надеется найти сочувствие и опору своей травле п/з в лице уголовников и полицаев. На какого рода людей рассчитывает там большая пресса? Неужели авторы [...] статей не знают, не видят, что гонимые и преследуемые всегда пользовались сочувствием народа? Лагерь, без всякого сомнения, является той самой призмой, которая преломляет некоторые процессы, происходящие в обществе, и показывает нам скрытые от невооруженного глаза особенности этих процессов. В нашем обществе идет кодификация общественных отношений, [...] различных сфер общества. Одновременно растет инакомыслие и постепенно формируется оппозиция. Советское государство вступило в новую стадию международных отношений, подписало Хельсинкское соглашение и Международные пакты о правах человека. В чем же особенность этих процессов, которые я вижу сквозь призму лагерной жизни, положения п/з?

Что касается кодификации, то все, что я описал в отношении противоречий декларируемых гуманных принципов ИТК практике исполнения органов ИТУ, — свойственно и многим другим исполнительным органам власти в различных сферах жизни. У нас еще не научились претворять в жизнь законы в полном объеме. И для того, чтобы законы стали живым руководством к действию, чтобы они неукоснительно соблюдались облеченными властью людьми, необходимо условие свободной критики. «Инакомыслие» и выражает эту неудовлетворенную потребность в критике и является формой защиты ущемляемых личных и общественных интересов. Инакомыслие репрессиями не

остановить. Его можно только инкорпорировать в политическую структуру общества. Репрессии порождают проблему взаимоотношений с государствами-участниками Хельсинкского соглашения и с государствами, подписавшими Пакты о правах человека. Без изменения отношения к диссидентам, к п/з — следовательно, без демократизации общественной жизни — сейчас невозможно достигнуть прогресса в межгосударственном сотрудничестве и международной политике Советского Союза. Нельзя правой рукой подписывать Международный пакт о гражданских и политических правах, конвенцию о гуманном обращении с п/з*, Хельсинкское соглашение и одновременно левой рукой осуществлять гонение на инакомыслящих и терроризировать п/з, обращаясь с ними как с уголовниками.

Итак, сквозь увеличительное стекло лагерной жизни мы видим одну особенность жизни нашего общества: декларируемые гуманные принципы не воплощаются в жизнь. Они лишь частично закреплены законодательно, а практически даже то, что обеспечено законом, не выполняется. То, что здесь, в лагере, условия содержания не соответствуют нормам ИТК и находятся в противоречии с декларациями о гуманном обращении с п/з и что администрация это одобряет, продемонстрировал нам визит генералов.

Генерал — редчайший гость в этих местах. За всю мою длинную лагерную жизнь — это первый визит генералов. Говорят, якобы еще однажды, в 72 г., здесь появлялся генерал, министр внутренних дел Мордовии. Возможно. Наверно, он не заходил в зону, а если и зашел, то ни с кем из з/к не встречался и не говорил.

* Автор имеет в виду, вероятно, «Стандартные минимальные правила обращения с заключенными», принятые 30. 8. 1955 Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с нарушителями. Эти правила, однако, пока не приняты ГА ООН как конвенция и не подписаны правительством СССР. — Прим. ред.

Был тот же генерал и сейчас, вместе с более важным генералом, зам. министра МВД СССР. Мордовский генерал с мрачным видом держался в тылу свиты генерала из столицы. Этот последний на вид был не такой уж и страшный: губастый, носастый, немного лошадинообразный и с добродушным лицом — он не вселял в нас того страха и трепета, которые испытывало перед ним управленческое и лагерное начальство. О том, что администрация находится в страхе перед какой-то комиссией, мы узнали по той беспримерной суеде и авралу, которые поднялись за неделю до приезда генерала. За эту неделю администрация титаническими усилиями воздвигла [...] «потемкинскую деревню». С утра и до глубокой темноты мобилизованные полиция и уголовники белили, красили, штукатурили, рыли, посыпали песком и [...]. Нужно ли было это? Потому что недостатки все равно нельзя было скрыть. Разваливающееся здание нужно перестраивать, а успели побелить только фронтальную стену; покрасили стены в коридоре, но сырость, протекающая крыша, грязные стены в камерах остались; посыпали песком дорожки, но антисанитарное состояние в уборных, на производстве, в камерах осталось. И не могла же администрация в три дня сделать вентиляцию, построить душевую, бытовку на производстве... Нужды не было устраивать аврал и по другой причине. Генерал уехал, и все осталось по-старому. Не нужно это было потому, что генерал, видимо, был все же не дурак и, наверно, сам когда-то «втирал очки» начальству, и увидел все в истинном свете, и понял, что слишком хлопотно пытаться навести тут порядок и что ничего из такой затеи не выйдет. Правда, он пару раз рявкнул: «наказать», когда заглянул в уборную и увидел, что там творится, и когда понял, что работа вредная, а положенной вентиляции нет. Но вентиляции и до сих пор нет, и уборную по-прежнему не чистят, там нет хлорки, и негде ногой ступить. Не последовало изменения и во

всем остальном, на что мы жаловались в устной беседе с генералом. На наши заявления о том, что мы — п/з и требуем статуса п/з, генерал не рассердился, а просто не реагировал. Он лишь по-генеральски спросил у одного из нас: «Ну, ты — п/з, и за что же ты борешься?» Вам не кажется, что простодушный вопрос генерала «за что ты борешься», возможно, есть выражение искреннего непонимания власть предержащими «диссидентов»? Возможно, это непонимание и порождает такое нездоровое отношение к диссидентам. Возможно, поэтому их и торопят зачислить в агенты империализма и его разведок или в разряд уголовников. Возможно, поэтому с нами и обращаются как с уголовниками. Может быть, третирование, травля и жестокие приговоры и объясняются тем, что власть предержащие не понимают, что можно бороться за общественное благо в одиночку, с собственных позиций, а не с официальной трибуны, стоя на позициях очередного пленума ЦК...

Генерал был, и генерала нет. И все здесь катится, как и катилось, своим несправедливым путем. Мы стонем, скрежещем зубами, голодаем, мерзнем, гнием в сырой цементной яме, и конца этому не видно. На воле прокатилась волна процессов, и скоро сюда к нам придут Гинзбург и Лукьяненко. Весь мир встал на защиту этих диссидентов. Это ли не доказательство того, что советский суд имел дело не с уголовниками? Неужели правительство и после этого не предоставит нам статус п/з? Я говорю о статусе п/з, а не о прекращении преследования диссидентов, потому что смотрю реально на мир. В своих заявлениях протеста мы часто требуем пересмотра дел и амнистии политзаключенным. Однако, пока мы здесь, мы прежде всего требуем одного — статуса п/з, применения международных норм обращения с п/з к нам, советским п/з. Кроме того, исходя из трезвой оценки своего положения, мы впредь до обретения статуса п/з требуем человеческо-

го обращения на основании существующих законов ИТК. Вы, наверно, увидели из письма, что по вине администрации мы лишены тех прав, которые нам обеспечены ИТК, и что если бы она строго выполняла свои обязанности по созданию нормальных условий содержания, то мы страдали бы в два раза меньше от голода, сырости, антисанитарии, болезней, вредной работы, наказаний...

Когда мы высказываем претензии официальным лицам в отношении нарушения наших прав и тяжелых условий, в которых мы содержимся, то в ответ мы часто слышим: «Это вам не курорт». Это стало шаблонным ответом. В этой дурацкой реплике содержится больше, чем подозревают чиновники, которые бросаются этой шаблонной фразой. Вы чувствуете в этой фразе, в тоне, каким она произносится, отвержение с порога каких бы то ни было претензий на права. Тут слышится удивление и раздражение, чуть ли не возмущение наглостью заключенного, который ищет своих прав. Именно отсюда это сравнение несравнимого: лагеря с курортом. (Если бы я реже сталкивался с цинизмом чиновников, я бы воскликнул: какое кошунство!) Но откуда это раздражение? Похоже, что оно происходит из столкновения стереотипного представления о том, что з/к должен страдать, мучиться в ужасных условиях, и реальности: жалоб з/к на эти условия, отвержения страданий, на которые его обрекает произвол, жестокость и халатность администрации.

Этот стереотип «з/к должен мучиться» глубоко сидит не только в чиновнике, но в каждом человеке, и он является причиной терпимого отношения общества к ненормальным, ужасным условиям, в которых содержатся з/к, жестокого обращения с ними лагерной администрации. Но вот, что я хочу отметить. Стереотип «з/к должен мучиться» в обычном человеке может вызвать и пассивное сочувствие, сострадание его

судьбе. Стереотип же в чиновнике мешает ему подойти к оценке жалобы з/к на ужасные условия и бесчеловечное обращение с правовой точки зрения. Ведь з/к жалуется не просто на то, что ему тяжело, а на определенные нарушения его прав, которые утяжеляют его и без того нелегкую жизнь. Он требует не заменить ему лагерь курортом, а не превращать лагерь в камеру пыток. Дурацки-шаблонная фраза приоткрывает нам психологическую основу отношения людей, находящихся по ту сторону забора, к нам, з/к. И мы видим, что отношение к нам чиновников по сути определено этим бессознательным механизмом, а не ИТК. Остальная же масса людей, даже сочувствующих энкам, однако находясь под властью стереотипного представления о том, что лагерь — это мучка, остается равнодушной к их судьбе, к возможности облегчить их страдания. Так есть ли у нас хоть какая-то надежда на улучшение своего положения? Наверное, все же есть. Хотя и медленно, но [...], что з/к имеют право на человеческое с ними обращение, все больше утверждается во всем мире и, надо полагать, в нашей стране. «После опыта фашистских концлагерей стали раздаваться голоса о гуманизации тюремной политики. Женевская — 1955, лондонская — 1960, стокгольмская — 1965, токийская — 1970 международные конференции призвали к гуманному обращению с заключенными, заявили о недопустимости их эксплуатации и применения к ним жестоких и вредных для здоровья методов воздействия». Этот абзац я выписал из советского учебника по исправительно-трудовому праву. Как видите, наши ученые знают о призывах к гуманному обращению с з/к. Очевидно, они научились и рассуждать на эту тему, и красноречиво выступать на международных конгрессах. Мы же со своей стороны будем напоминать им о настоятельной необходимости гуманизировать лагерную практику и предоставить статус п/з политическим заключенным...

В заключение я хочу сделать оговорку. Я озабочен прежде всего судьбой политических узников лагерей. Однако поскольку мы содержимся на тех же основаниях, что и уголовные преступники, постольку я подверг краткому анализу практику лагерной администрации, условия содержания и Исправительно-трудовое законодательство как таковые. Здесь я ставлю точку. Надеюсь, что когда-нибудь мы с Вами встретимся и поговорим более обстоятельно по всем затронутым здесь вопросам.

С уважением. Узник Сосновского концлагеря.

P. S. Я не ставлю своего имени, чтобы избежать репрессий. Однако, если оно Вам понадобится, можете его назвать.

СОКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ

з/к, зэк, зэка — заключенный

п/з — политзаключенный

ИТУ — исправительно-трудовые учреждения

ИТЗ — исправительно-трудовое законодательство

ИТК — исправительно-трудовой кодекс

АЛЕКСАНДРУ ГИНЗБУРГУ

Телеграммы, посланные из США ко дню рождения

ЭДВАРД ОЛБИ, писатель: *«Писатели в Соединенных Штатах думают о Вас сегодня, в Ваш день рождения».*

РИЧАРД ХОУЭРД, Президент американского ПЕН-Клуба: *«1600 писателей Америки посылают Вам поздравление и привет по случаю Вашего дня рождения».*

КУРТ ВОННЕГУТ, писатель: *«Думаем о Вас не только сегодня, но и каждый день. Да обретете Вы скоро свободу!»*

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВ, югославский писатель: *«Александр Гинзбург, поздравляю Вас с днем рождения. В прошлом я был на Вашем месте, теперь я очень надеюсь, что скоро Вы будете на моем».*

ДЖОРДЖ МИНИ, Президент АФТ-КПП: *«Приближается Ваш 42-й день рождения, и я хочу, чтобы Вы знали, что рабочие Соединенных Штатов Америки Вас не забывают. Ваше мужество вдохновляет нас. Мы не ослабим усилий в Вашу защиту и в защиту тех идеалов, за которые Вы стоите».*

ЭДВАРД БЕННЕТ УИЛЬЯМС, писатель: *«Ваши друзья во всем мире глубоко опечалены тем, что Вы должны провести еще один день рождения за стенами советского Архипелага ГУЛАг. Вы стали символом надежды и мужества для всех свободных людей мира. В Соединенных Штатах Ваше имя известно миллионам как символ борьбы за права человека в Советском Союзе. Наши мысли с Вами и Вашей семьей, в то время как*

мы продолжаем молиться и работать для Вашего скорейшего освобождения».

ДЭНИЕЛ ПАТРИК МОЙНИХЕН, сенатор: *«Дорогой Александр Гинзбург, посылаю Вам самые теплые поздравления по случаю Вашего 42-го дня рождения. Пожалуйста, будьте уверены, что наши мысли и молитвы с Вами, как всегда. С пожеланием, чтобы Вы праздновали Ваш следующий день рождения и еще много раз после этого — в мире и на свободе, и с сердечным приветом».*

БАЙАРД РЕСТИН, председатель негритянского профсоюза, борец за права меньшинств: *«Дорогой г-н Гинзбург, я рад послать Вам теплый и братский привет от 180 членов правления нашего профсоюза по случаю Вашего дня рождения. Ваше неизменное мужество перед лицом преследования и несправедливости — источник вдохновения для всех представителей меньшинств и для профсоюзного движения в Америке. Мы желаем Вам всего лучшего и просим рассчитывать на нашу поддержку и солидарность. С самыми добрыми и искренними пожеланиями».*

АРТУР МИЛЛЕР, писатель: *«С надеждой на Ваше освобождение».*

ИСТОКИ

И. Гессен

ДЕЛА ЭМИГРАНТСКИЕ

Фрагменты воспоминаний

Мы публикуем несколько отрывков из второго тома воспоминаний И. В. Гессена, одного из лидеров конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), главного редактора «Речи» в Петербурге и «Руля» в эмиграции. Если бы площадь журнала позволяла, можно было бы умножить число выбранных нами (почти наугад) страниц, и все они дали бы нам всё то же свидетельство: глубоко объективный и доброжелательный человек, И. В. Гессен разрушает бытующий у некоторых миф о «золотом веке» русской эмиграции. Не потому ли второй том его воспоминаний за тридцать с лишним лет не нашел себе издателя?

Но не для того, чтобы сводить счеты с мифами, предприняли мы эту публикацию. Мы обращаем ее, прежде всего, к новой, третьей эмиграции, включая нас самих. Именно для нас факты из истории первой пореволюционной эмиграции могут послужить предупреждением. Если мы сейчас обращаемся к миру в надежде, что он поймет и не повторит трагедию нашей страны, поймет и прекратит свое попустительство и преступное соучастие в этой трагедии, то и на гораздо меньшем поле, среди самой эмиграции, мы должны учиться не повторять ошибок прошлого. Тем более, что, как ни парадоксально, покинув страну после 60 лет тоталитарного правления, у нас есть некоторые печальные преимущества перед первой эмиграцией. Покинув государство с однопартийной системой правления, мы не вывели с собой остатков партий, партийных аппаратов, межпартийных и внутрипартийных споров. Нам не приходится сражаться за места в правлениях и центральных комитетах, раскалывать группки на группочки из-за несогласия с какой-нибудь запятой в программе. Кроме того, мы лучше знаем своего противника, нас не взять на крючок великодержавных легенд о том, что «большевики исполнили русскую национальную миссию» или что, свершив пресловутую индустри-

ализацию, они вывели «экономически отсталую Россию» в ранг мировой величины. Мы — я думаю, все — предпочли бы тот вариант «экономической отсталости», при котором свободное крестьянство вдоволь ест свой хлеб и снабжает им страну, вместо «великой державы», где за хлебом стоят очереди (а зерно куплено в Канаде!), где народ ограблен ради советского первенства в космосе и советской экспансии на земном шаре.

И еще одно наше преимущество — быть может, важнейшее: мы — я имею в виду ту часть эмиграции, которая на Западе продолжает действовать, — чувствуем себя не передовым отрядом, не учителем и политическим руководителем тех, кто живет в пределах Советского Союза, но лишь их представителями, помощниками, по возможности — защитниками, не более. Это ограничение я считаю великим преимуществом, ибо оно повседневно напоминает нам о нашем нравственном долге, одолевает свойственный каждому эгоцентризм.

Какие же выводы следовало бы нам сделать, исходя из этих наших преимуществ и из опыта старой эмиграции? Я думаю, нам стоило бы научиться преодолевать всякие искусственные, нами же создаваемые разъединения. Безусловно, взгляды наши во многом разнятся, но, в конце концов, мы же все — свои, и когда речь идет о конкретном действии, смысл которого важен для всех нас, не будем спрашивать: а кто еще участвует в этой акции? кто еще идет на ту или иную демонстрацию? кто еще подписывает то или иное заявление? с кем сесть за один стол, а с кем не сесть? Безусловно, мы можем — и должны — вести принципиальные споры, но, стосковавшись по свободе слова, именно мы могли бы использовать ее с достоинством и самоограничением. Безусловно, мы не можем все любить друг друга (как там мы выбирали себе друзей, так сохраняем мы и выбираем их и здесь), но, по крайней мере, нам следовало бы относиться друг к другу бережно, помня, что взаимные склоки и обвинения выгодны лишь третьей стороне конфликтов, которая злорадно следит за ними из-за высоких стен советских посольств и агентств печати.

Да, эмиграция — опыт тяжелый. Об этом свидетельствуют мемуары И. В. Гессена, об этом свидетельствует история и актуальность всех эмиграций в мире. Мицкевич публично издевался над Словацким. Эмигрант-монархист застрелил эмигранта-либерала В. Д. Набокова. В Париже и Чикаго убивают друг друга в наши дни югославские эмигранты — на радость режиму или с его прямого благословения. Если мы в рамках своей малой эмигрантской семьи смирились с тем, что «никого еще опыт не спасал от беды», — будем ли

мы иметь право навязывать миру принесенный нами опыт, наше предупреждение?

Н. Горбаневская

Что ни день, появлялись всё новые организации. В бухте очаровательного Аркашона, где мы провели два незабываемых лета, водятся моллюски, называемые *souteaux*, — они, действительно, совсем похожи на перочинный ножик. Во время отлива моллюски прячутся во влажном песке, а если посыпать солью, моллюски, принимая это за начало прилива, приносящего соленую воду, выскакивают на поверхность. Эти *souteaux* назойливо вспоминались при виде все новых и новых появлявшихся на свет Божий организаций. Если, ввиду материальной необеспеченности большинства и усложнения борьбы за существование на чужбине, вполне естественно и практически целесообразно было создание профессиональных объединений: литераторов, переводчиков, адвокатов, врачей, инженеров, актеров, художников, учителей, академиков (т. е. преподавателей высших учебных заведений), судебных деятелей, армии и флота — всех не берусь перечислить, — и всяких одноклассников (лицеистов, правоведов) и землячеств (московское, харьковское, одесское), — то не меньше было и обществ с более или менее заметной политической окраски: парламентский комитет (бывшие члены Государственной Думы и Гос. Совета), союз дворян, союз владельцев недвижимостей, национальный союз, союз монархистов, братство Русской Правды и т. д. К числу профессиональных можно также отнести, пожалуй, наиболее аполитическую организацию — Союз русских евреев, который под неизменным председательством умильного, с болезненно чутким сердцем Я. Л. Тейтеля, безраздельно отдавшегося делу благотворения, стал самой мощной организацией — бюджет Союза был в несколько раз больше бюдже-

та всех остальных обществ вместе взятых. Любвеобильное сердце Тейтеля не могло замкнуться в пределах религиозного единоверия, и я знаю случаи существенной помощи и христианам, — между прочим, выдающейся оперной примадоне, ставшей, благодаря этой помощи, на ноги.

И красно, и пестро, но пустоцветом расцвели на неблагоприятной чужой почве все старые политические партии. Говорю — пестро, потому что они окрашивались в самые причудливые цвета. Уже в России революция отпочковала от эсэров группу «левых», недолго деливших с большевиками власть. Превратившись из властителей в эмигрантов, они всё же продолжали строго охранять свою самобытность, но — лиха беда начало — почкование продолжалось, и партия разделилась на несколько групп, резко враждующих и ожесточенно споривших между собой и с социал-демократами из-за права представительства во Втором Интернационале.

Примерно то же самое было и у эсдеков — не думаю, чтобы в Берлине их было больше двух десятков, — и столько же было разных оттенков мнений на столбцах их печатного органа. В сущности, это было вполне естественно и должно было быть благоприятно: а ргіогі должно было быть ясно, что отвердевшие партийные шаблоны не годятся для новых невиданных явлений, которые в преизобилии сыпались из рога революции. Нужно бы поэтому зорко и чутко присматриваться и прислушиваться к капризному разброду суждений, чтобы из разных, порой даже неуловимых, оттенков отлить новые лекала, спаять на месте раскрошенного революцией новое *communis opinio*. Где уж, что уж! И до тошноты забавно было, что именно те, кто громко кичились патентом на приятие и апологию революции, были безнадежно глухи к трагическому зову ее: полюби меня черненькой, а беленькой меня всякий полюбит. И, ломая копыя в честь пре-

красной незнакомки, сердито брюзжали на ее невоспитанность и неуважение к историческим шаблонам.

Само собой разумеется, что и Конституционно-демократическая партия не могла остаться в стороне от воздействия революционной катастрофы. Напротив, приняв горячее участие, особенно на юге, в гражданской войне, партия, в пылу борьбы, рука об руку с наиболее реакционными элементами, против которых всегда была в оппозиции, не могла сохранить верность своей идеологии.

«Кличка кадеты — писал Милюков в «Последних Новостях», — во время гражданской войны ассоциировалась в народном представлении с идеями и актами, глубоко чуждыми истинному демократизму Партии народной свободы».

Одним из пятен деникинского режима считался пресловутый Осваг (Осведомительное агентство), во главе которого стоял член ЦК партии, умный и талантливый К. Н. Соколов, бывший член редакции «Речи», — его смерть от паралича в расцвете лет, вскоре после крушения Деникина, не была ли вызвана тяжкими душевными волнениями?

В рассеянии образовались к.-д. группы в Константинополе, в Белграде, в Софии, Берлине, Париже, утратившие общий язык и резко между собой различающиеся в оценке и отношении к революции, — от тяготения к реставрации в Константинополе и Софии и до бесцеремонного суетливого отречения от Белого движения — *vae victis!* — отречения, провозглашенного самым активным идейным участником его. В Париже совершилось и почкование, выделилась, под главенством Милюкова, особая группа, принявшая новое название «демократической группы партии Народной Свободы».

Мне казалось, что при столь постыдном разброде — даже и независимо от радикального изменения обстановки, в значительной мере и содействовавшего

разброду, — надлежало бы, хотя из пиетета к сыгранной партией крупной исторической роли, объявить ее распущенной, честь-честью похоронить. Я встретил живой отклик у преданного друга Изгоева, и мы решили поставить на очередь это предложение, для чего и я созвал у себя находившихся в Берлине членов ЦК и видных деятелей партии. Но опять... где уж, куда уж. Передо мной лежит протокол совещания, на котором все решительно высказались против нас двух. Мы так формулировали наше предложение: «В настоящее время партии, как политического целого, имеющего правильную организацию, определенную программу и ясную тактику, не существует ни в России, ни за границей. Многие основные идеи партии вошли уже в общее сознание русского народа и стали национальным достоянием. Но партийная программа в целом нуждается в коренном пересмотре отдельных частей, соответственно потребностям потрясенной переворотом страны. Устройство России требует свободного строительства, которое не тормозилось бы мнимыми величинами, утратившими былую силу и сохранившими лишь старые предания и предрассудки и сложную сеть запутанных личных взаимоотношений. Желание открыть дорогу этому новому строительству и помочь ему в меру наших сил и побуждает нас настаивать на открытом признании совершившихся фактов, отбросив в сторону вопросы личного и партийного самолюбия».

Нам отвечали, что фактически партия действительно перестала существовать, что она разбилась, по крайней мере, на четыре группы, которые едва ли можно склеить; что зрелище людей, называющих себя членами одной партии и радикально расходящихся по всем серьезным вопросам, очень тяжелое; что «мнимая величина» (опять фикция) кое в чем мешает (по мнению других, ни в чем не мешает), но никого не связывает и т. п. Мы добились только постановления составить протокол совещания и разослать представи-

телям партии в других заграничных центрах с просьбой подвергнуть обсуждению выдвинутый на очередь вопрос. Но это послужило лишь к вящему нашему поражению: все группы единогласно высказались отрицательно — даже и совсем отделившаяся от партии упомянутая парижская ячейка цеплялась за выцветшую от революционных лучей вывеску, и трудно сказать, была ли здесь бездумная рутина, или чувство бессилия создать нечто новое и опасение остаться совсем безпризорными, или, наконец, глубоко затаившийся расчет: а вдруг! чем чёрт не шутит, он и кадетов может воскресить к прежней жизни! Вероятно, тут всего было понемножку.

Ну, а разве не забавно, что такой тайный расчет довольно явно сквозил даже и в организациях, которые на политическую роль никак не могли претендовать. Вспоминаю первое собрание, созванное для учреждения библиотеки-читальни, в облюбованном кафе Лейтхауз на Нюрнбергерштрассе. Если бы стены этого кафе впитали выпренные речи и шепот сплетаемых интриг и подсиживаний, страстные споры, взрывы глухой вражды и ненависти, гул избирательной борьбы за место в составе правления и торжество «победителей» — если бы стены всё это впитали и теперь зазвучали отголоском, — никто бы не поверил ушам своим.

Вероятно, из благодарности за то, что удалось собрать нужные для открытия библиотеки средства, меня предложили в председатели Правления, но собрание прокатило на вороних. Сторонники мои были очень сконфужены и объясняли поражение опасением поставить кадета на посту, который, чего доброго, может приобрести значение «политического центра» эмиграции. Но, прибавляли они, ведь вы и сами виноваты: противники сорганизовались и вели усиленную агитацию, а вы пальцем о палец не ударили, чтобы обеспечить успех.

По чистой совести могу сказать, что даже и в России, когда честолюбие увлекало и избрание на тот или другой пост манило большим удовлетворением и радостью, я ни разу никогда пальцем о палец не ударил, чтобы добиться желанной цели. Отнюдь, однако, не из рыцарской щепетильности, а из опасения, что радость будет разъедаться мыслью о принятых для содействия успеху мерах. В данном случае можно бы и не отмечать, что никакого, «чего доброго», значения пост председателя библиотеки не приобрел. Да и не успел бы добиться этого, потому что интерес к делу быстро остыл, культурное учреждение закрылось, а инвентарь куда-то испарился.

Такие же претензии питало и упомянутое Общество помощи 16-го года, оно тоже убедило меня стать во главе, а когда я доказывал, что не хватает времени и что целесообразнее возглавить человеком, который мог бы всецело отдаться делу благотворения, — мне настойчиво возражали, что Обществу предстоит сыграть видную роль в качестве представителя эмиграции и что посему председателем должен быть «общественный деятель».

Председателем я все-таки был избран в двух организациях. В Америке, переживавшей период фиктивной prosperity, проявлялся большой интерес к русским беженцам, и образовавшийся под председательством бывшего командующего киевским военным округом Оберучева комитет собирал значительные суммы, которые и рассылал во все столицы для оказания помощи писателям и ученым. Для правильного распределения этих сумм, приобретавших вследствие обесценения германской валюты все более существенное значение, и был образован, как мы его прозвали, «Американский фонд», причем я настоял, чтобы, по примеру петербургского Литературного фонда, члены комитета не вправе были пользоваться пособиями из средств фонда. При все растущей беженской нужде, стучав-

шейся почти во все двери, такое самоограничение не раз лишало фонд участия людей очень желательных и полезных, но мне представлялось необходимым обещать фонд в нездоровой беженской атмосфере от нареканий, что рука руку моет, что «своим» оказывается предпочтение, да и то сказать — порадеть родному человечку это ведь не только фамусовская слабость.

На почве упомянутого ограничения и вышло обидное недоразумение: один слишком расторопный журналист ухитрился получить за нашей спиной, непосредственно из Америки, крупное пособие, значительно превышавшее обычные выдачи, и, когда мы потребовали его выхода из состава фонда, он взъерепенился, ссылаясь на свои «общественные заслуги». Но ничто, кажется, не приводило в такое бешенство, как расцветшее в эмиграции использование общественных заслуг в качестве индульгенции. Это, впрочем, был единственный неприятный инцидент, в общем же фонд был самой спокойной организацией, без вспышек «принципиальных» вопросов, многим он помог пережить трудные минуты, просуществовал свыше тринадцати лет и был уже при гитлеровском режиме надлежащим образом ликвидирован.

Совсем иначе обстояли дела в другой литературной организации — в Союзе русских журналистов и писателей в Германии, — который тоже почтил меня избранием в председатели. Когда, уже в 1930 году, избрание Я. Л. Рубинштейна преемником Гулькевича по делам беженцев при Лиге Наций вызвало злобную травлю в некоторых эмигрантских газетах и протестующие резолюции разных обществ, когда и в еврейской интеллигентной среде (в гитлеровском Берлине, но не в Париже) стали раздаваться осуждающие Рубинштейна голоса, задним числом возникли у меня сомнения, следовало ли колоть глаза, давать лишний толчок бурно пробужденному громом революции антисемитизму.

В Белграде, где сосредоточились черносотенные элементы, Карловацкий синод, при деятельном участии прославившегося во время войны генерала Батюшина, запретил служить панихиды по «жиде Набокове». Но в Берлине этот водораздел еще не обозначился, пущена была, правда, в ход прибаутка: «Мир стал тесен, всюду Гессен», но без специфических намеков. В отношении меня антисемитизм, кажется, впервые дал себя знать лишь несколько лет спустя, когда был объявлен публичный доклад о десятилетии революции, и я получал анонимные предупреждения, что мне выступить не позволят. Когда же с женой и сыновьями мы сели в автомобиль, чтобы ехать в зал, то увидели на углу другую машину, которая и сопровождала нас, то обгоняя, то следуя за нашей, причем сидевшие в ней несколько молодых грозно размахивали палками и что-то выкрикивали. Но на этом угроза и оборвалась — доклад я сделал беспрепятственно. И еще позже, уже при гитлеровском режиме, поднявшем на поверхность беженский шлак в количестве, какого никто и не подозревал, — когда объявлено было чествование Бунина, получившего Нобелевскую премию, — Н. Е. Парамонов, видный общественный деятель и издатель, собственник больших гаражей в Берлине, по-приятельски рекомендовал воздержаться от произнесения речи, так как «в шоферских кругах» решено ни за что не допустить выступлений «жида и полу-жида» (под ним подразумевался Сири́н, женатый на еврейке). Но и на этот раз, считая, что положение обязывает, что нельзя дать хулиганству торжествовать, мы не склонились перед угрозой и поступили правильно — угроза не была приведена в исполнение.

Вначале Союз поглощал много времени и энергии; очень оживленно проходили и общие собрания и заседания правления, весьма удачны были и публичные оказательства. Первое посвящено было памяти Толстого, в день десятилетия смерти, и собрало пол-

ный зал — было немало видных немцев. Горячо приветствовал и поздравлял с успехом статс-секретарь министерства барон фон Мальцан, годом позже нахрапом заключивший Рапальский договор. И на сцене, после отличной речи Набокова, письменного приветствия Гауптмана, наряду с русскими артистами, разыгравшими действие из «Флодов просвещения», выступил и знаменитый немецкий актер Александр Моисси.

Не могу вспомнить, что он читал тогда, но зато как врезался в память разговор в антракте за кулисами. Моисси бывал в России, радостно вспоминал об энтузиазме, которым встречены были его гастроли в Петербурге и Москве в труппе Рейнгарда, и с большим интересом расспрашивал об отношении моем к революции и в особенности к ее вождям. Театральные кулисы плохо располагали к серьезному разговору, и, пытаясь отделаться общим замечанием, я сказал, что отношение к революции определяется тем или другим ответом на знаменитый вопрос, поставленный Иваном Карамазовым брату Алеше: «Согласился бы ты возвести здание Судьбы человеческой на неоправданной крови?» и что переступить так дерзко и уверенно через этот роковой для человечества вопрос Ленину помогла его мозговая болезнь.

— Может быть, вы и правы, но и неоправданная кровь, да еще после такой страшной войны, высыхает, смывается и забывается, а история интересуется только результатами кровопускания, и, конечно, Ленину и Троцкому, как Дантону и Марату, будут воздвигнуты памятники.

К удивлению, Моисси оказался знаком с известным цивическим стихотворением Некрасова «Железная дорога»: «Покачиваясь на прекрасных пульмановских рессорах (положим, при Некрасове пульмановских вагонов еще не было), ваш поэт вздумал пугать мальчика большими жертвами, которых потребовала

постройка железной дороги. Хорошо, что он избрал себе мальчика бессловесного, — зубастому не трудно было бы ответить вопросом, предпочел ли бы он по-прежнему трястись в телеге».

Если не ошибаюсь, Моисси умер до гитлеровского переворота, не то и ему можно было бы привести в назидание поговорку: чужую беду руками разведу, к своей ума не приложу.

Весьма удачным было также чествование памяти Достоевского в просторном зале Филармонии, где после моего вступительного слова говорили проф. Новгородцев и проф. Гетш, кончивший свою обстоятельную речь несколькими фразами по-русски, что вызвало бурные аплодисменты переполненного зала. Но и сам оратор был в полном восторге и, пока говорил Новгородцев, всё шептал: «А кто эта дама, вон в том ряду, совсем Татьяна. Сколько здесь красоты и изящества».

Возвращаясь к публичным выступлениям Союза, вспоминаю, как тягостна была их подготовка, особенно если требовалось участие актеров. Это актерское самолюбование и тщеславие, кокетливо скрываемое под бессодержательными заученными фразами, необходимость отвечать на такие фразы, делая вид, что не замечаешь нагло проглядывающих сквозь прорывленную словесную ткань мелкой зависти и ревности, были просто мучительны — сам себе становился противен. Может быть, значение совершенной Станиславским революции театра и заключается в борьбе с эгоцентризмом, в нивелировании, в подчинении личности интересам целого, и упомянутая тема моей приветственной речи, так смутившая Набокова, была гораздо дальше, чем я дерзал метить. Однако как мы с Набоковым восхищались Художественным театром, какой радостный сердечный трепет вызывал блеск московских зарниц. Как можно было не понимать их значения? А ведь уже в 1905 году Вячеслав Иванов

пророчески определил кризис индивидуализма и предсказал «органическую эпоху», которая установится в России.

Возня с актерами была еще ничто в сравнении с устройством балов, служивших главным, а потом и единственным источником кассы Союза. По уставу, члены обязаны были ежемесячными взносами, и я упорно настаивал на соблюдении этого правила, не столько даже для увеличения материальных возможностей, сколько для поддержания моральной связи с Союзом. Но все усилия разбивались — больше об инертность, чем о денежные затруднения сделать взнос. А балы давали значительный (с годами неизменно уменьшавшийся) приток средств. Однако устройство их и появление в роли хозяина, прием «почетных» гостей — это было действительно непереносимо. Здесь, на реках вавилонских, щепетильное соблюдение условного ритуала, пренебрежительные ссылки на высокие связи («ну, о полицей-президенте не беспокойтесь, я с ним встречалась у Имярека, и он для меня все сделает»), эта вызывающая уверенность, что поддельная краска ланит останавливает поток времени; эта убогая роскошь наряда: лоснящиеся смокинги (всегда ли под ними имеется рубашка или хватило только на манишку и манжеты?); голодные взгляды, бросаемые на буфетные стойки; почетные гости, с покровительственной улыбкой произносящие неизменно одну и ту же фразу — *Ach, wie nett!* (Ах, как мило!); богачи, воспроизводящие жесты «широкого русского размаха» — зачерпнет рукой из томбольного колеса штук двадцать билетов по 50 пф. и раздаст их окружающим знакомым дамам; эта страстная агитация при выборах королевы красоты... К чему перечислять: каждое слово, каждая ухватка, каждое движение — все было неестественно, деревянно, угловато, словно безответно подчинялось, как в кукольном театре, дергаемой веревочке.

Неотступно волновал вопрос: как они себя чувствуют, что переживают, когда, окончив представление, возвращаются домой и, сняв потрепанные доспехи, остаются нагишом, наедине с самим собой? Как и о чем сами с собой разговаривают? Неужели и тут сомнение, скепсис не вступают в права свои, или же без остатка, от головы до пят, из людей они превратились в актеров и такими остаются перед самими собой? Правильно сказано, что язык мой — враг мой. Но совсем не в том смысле, что он лишнее сболтнет. Нет — это пустяки. А в том ужас, что важнейшее преимущество человека, сделавшее его царем природы, извращается в его проклятие, что язык дает возможность, как райский змей, соблазняет, заменить теплое живое чувство суррогатом — холодным мертвым словом, и чем успешнее соблазн одолевает, тем полнее чувства атрофируются. Так и живут с эрзацем чувств, как с накладными волосами или искусственной челюстью.

Как отчетливо колышется в памяти первый бал наш. Мне казалось сначала, что произошла какая-то путаница, что эти толпы народа ошиблись дверьми, попали сюда по недоразумению, — до того не соответствовали переполненные, казарменно огромные неудобные залы «Цоо» количественному составу беженцев. Тут, впрочем, и было много немцев (во главе с пресловутым Вейссом, будущим заместителем полицей-президента), жадно бросившихся узреть, что представляет собой прославленное русское веселье, и шумно старавшихся не ударить перед ним лицом в грязь. Немцы тоже одеты были строго по церемониалу, но в новомодные, послевоенные фраки с хвостами, чуть что не волочащимися по полу, и сияющими белизной пластронами, вроде кирасы. Какой эффект дурашливого чудачества произвело оглашенное в печати письмо (если память не изменяет, канцлера Бауера), вернувшего Германскому союзу литераторов приглаше-

ние на бал, за неимением фрака, обязательного, как предваряло приглашение, для посещения бала. Кажется, один только Эйнштейн имел мужество не считаться с такими предвещениями и привлекать на себя общее внимание плохо сшитым пиджаком.

Весь пропитанный табачным дымом, я на рассвете уходил с бала, унося чемодан, туго набитый инфляционными кредитными билетами. Проверить, вся ли выручка попала в чемодан, практически представлялось невозможным, но было в высшей степени неприятно, что расходы по устройству достигали, а то и превышали пятьдесят процентов валового дохода, что, иначе говоря, собирать нужно было вдвое больше, чем поступало в кассу Союза. В связи с отвратительным самочувствием, испытанным на первом балу, я выговорил себе освобождение от всякого участия в подготовке и присутствии на таких оказательствах. Но так как это лишь формально освобождало от ответственности, которую все больше невтерпеж становилось нести, я воспользовался, не помню каким, подвернувшимся поводом, чтобы сложить с себя обязанности председателя. Но с другой стороны, я никогда не скрывал от себя, что надлежащему выполнению роли председателя мне мешает нетерпеливость, в особенности к самодовлеющему многоречию, уверенность в правильности своей позиции, антипатия к компромиссам, а в последнее время и физический недостаток — ослабление слуха. Так или иначе — коллеги не только не удерживали меня, но, по-видимому, отказ пришелся всем по душе.

Дальше пойдет, право же, вынужденное хвостовство: председатели непрерывно сменялись, финансовое положение стало весьма беспорядочным, общие собрания протекали чрезвычайно бурно, с грубой бранью, угрозами рукоприкладства, вызовами на дуэль, и это заставляло упорствовать в нежеланий уступить обращаемым неоднократно просьбам снова

взять бразды правления. Но, когда явившаяся официальная депутация (впервые я почувствовал себя «маститым» и воспринял это, как мало приятное напоминание о возрасте) поставила дилемму ликвидации Союза в случае моего отказа председательствовать, я должен был принять на себя эту обязанность, более соответственно было бы сказать — повинность, и выполнять ее уже вплоть до отъезда в Париж, даже и при гитлеровском режиме, когда все беженские организации (за исключением Союза русских евреев), одни — волнуясь и спеша, другие — из-под палки, приспособились к «арийскому» параграфу (Gleichschaltung, — уравнение — термин, установленный национал-социалистической революцией).

Не помогло и письменное заявление о сложении обязанностей — под разными предложениями рассмотрение его все откладывалось. Но в это время от прежнего многочисленного состава Союза, блиставшего яркими литературными именами, перенесшимися после дефляции из Берлина в Париж, остались — качественно и количественно — только поскребки, среди коих по пальцам нетрудно было перечесать настоящих литераторов.

Быстрое размножение беженских организаций дало себя знать серьезными моральными и практически неудобствами. Каждая в отдельности искала и более или менее успешно устанавливала связи с депутатами рейхстага, членами правительства и старалась через них воздействовать в желательном направлении на политику по отношению к беженцам и к советской власти. А так как желательные направления расходились широким веером, то нередко случалось, к великому конфузу, слышать от немцев: «Но, ради Бога, я уже ничего не понимаю. Ведь Имярек вчера доказывал мне совершенно противоположное. Договоритесь же, наконец, между собой, господа мои».

Наименьшим влиянием пользовалась так называемая полуофициальная «русская делегация в Германии», которой предоставлено было выдавать беженцам паспорта и выполнять некоторые консульские функции. Возглавлявший ее бывший посланник С. Д. Боткин охотно перечислял симптомы признания его германским Министерством иностранных дел:

— Я получил приглашение на панихиду по президенте Эберте; барон фон Мальцан с супругой обменялись со мной визитами.

А этот самый Мальцан на устроенном им для представителей эмиграции рауте (для этого и пришлось обзавестись вновь смокингом) с горечью говорил мне, указывая на стоявшего в соседней комнате Боткина:

— Скажите, милый доктор, неужели же никого другого нельзя было назначить, кроме заведомо враждебного нам дипломата: ведь он так ревностно подвизался в качестве члена комиссии в изобличении «германских зверств» во время войны.

Другим неудобством была неизбежная без предварительного сговора путаница при устройстве балов: число дам-патронесс, налаживавших буфет, томболу и т. д. и собиравших дань продажей входных билетов, было ограничено *pignum clausum*, да еще постепенно убывающим, и представляло круг лиц, податливых до веселья в пользу голодных беженцев. Требовались определенные промежутки между балами, чтобы не набить оскомины. Поэтому мысль о координации работы отдельных организаций стала все громче и громче высказываться, встречала все больше и больше сочувствия. Но лишь только созрела до осуществления, то, как это ни странно с первого взгляда, выразилась в оформлении водораздела между различно настроенными эмигрантами. Сразу же образовалось два объединения: в одно входило 11 организаций, в другое — 14. Позже, в Париже, ставшем центром эмиграции, и

отдельные профессиональные союзы — чуть что не все — разделились на два: два адвокатских, два литературных, два академических и т. д., и мне почему-то всегда вспоминался бретерский спор Соленого из «Трех сестер» с Тузенбахом, забиячно твердящего: «В Москве два университета».

Образовавшиеся объединения можно именовать и характеризовать различно и всё же в общем довольно точно: одно — дворянское, другое — разночинное, одно — реставрационное, другое — отрицающее возврат к прошлому; в одном фактически не было — кажется, я не ошибаюсь — ни одного еврея, в другом — еврейский элемент играл заметную роль. Каждое объединение избирало своих представителей в центральный орган, включавший, кроме них, еще главу упомянутой русской делегации и представителя Красного Креста. А так как число представителей от объединений зависело от числа входящих в них организаций, то началось ристалище, возникали всё новые организации, требуемые, как мертвые души Чичикову, только для счета, но ничем жизнедеятельности не проявляющие.

После смерти Набокова представительство разночинных организаций выпало на мою долю, и с каким тяжелым чувством я всегда отправлялся на заседания «центра», наперед твердо зная, что, о чем бы ни зашел разговор, какой бы вопрос ни был на очереди, ничего, кроме глухой вражды, ядовитых намеков и тупого упрямства, не встречу. К сожалению, вспоминаю только обстановку, подковыристый тон, твердокаменность, хоть кол на голове теши, но безнадежно забыл темы, обсуждение коих неизменно заставляло вспыхивать вражду. Несомненно, однако, что темы большей частью, прямо или косвенно, связаны были с оценкой происходящих в России событий и что основное расхождение таилось в злобном нежелании отделить в этой оценке большевиков от родины.

В постоянных спорах и перекорах Центральный орган как-то незаметно растаял и фактически перестал существовать. Новый толчок объединению дал столь удачно придуманный «День русской культуры», приуроченный ко дню рождения Пушкина — 26 мая (6 июня). Программа празднования обсуждалась и расходы по устройству распределялись по добровольной раскладке между всеми организациями — их уже насчитывалось что-то около пятидесяти, но и тут вскоре часть отделилась, считая недостойным делать символом русской культуры имя Пушкина, ввиду небезупречности его «арийства», и устраивала отдельный праздник 15/28 июля, в день рождения Св. Владимира.

Наконец, при гитлеровском режиме, объединились, под флагом «национальных», 22 организации, но жизнеспособность проявлялась исключительно в посылке унижайнейших приветствий Гитлеру, что и заставило меня вторично сложить с себя звание председателя, а Боткина, это объединение возглавлявшего, отблагодарили запрещением вернуться в Германию из Франции, куда он временно уезжал.

Стремление к обособлению приняло совсем курьезные формы, когда весьма разномастная группа ученых, писателей и журналистов, высланная советской властью за границу, тоже сплотилась особняком, пытаясь противопоставить себя рядовой эмиграции. Вспоминая об этом в парижской газете, Осоргин брюзжал, что высланным не было устроено торжественной встречи (мы лишь позаботились приготовлением для них крова) и что зря пропал заряд речей, которые были выработаны в ответ на ожидаемые приветствия. Это и не было совсем точно: высланные всё же успели устроить раут, на который были приглашены видные представители эмиграции, и смутно припоминается, что какие-то речи — не знаю, те ли именно, что были заготовлены, — были все-таки произнесены. Но сплочение надолго не удержалось, и,

когда фельетон Осоргина был напечатан, высланные уже давно растворились во всех организациях — от одного полюса до другого.

* * *

...основная трудность... в том, что если вообще последние двадцать лет, как уже было замечено, еще не стали прошлым и никаких перспектив не открывают — то, в частности, отношения между «здесь и там», между эмиграцией и властителями России остаются лишь формально варьирующимися, в существе же неизменными с самого возникновения и до сегодняшнего дня.

Разворачиваю двенадцатый номер журнала «Новый Град», призывающий эмиграцию к бодрости, активности, к самопознанию, и читаю в нем такие поистине страшные строки: «Мы (эмиграция) как бы теряем весомость, теряем телесность, мы почти что тени. Наше собственное общественное мнение не имеет никакой силы. Может быть, никогда и никто не бывает так вне всего жизненного процесса, как эмигранты». Мог ли бы, будь он трижды Давидом, в таком душевном настроении победить Голиафа?

Мне, с разлагающим скептицизмом, приходилось чрезвычайно тяжело, и как я жаждал, как жадно искал ободрения и обнадеживания. Отлично вспоминаю, с каким удовлетворением отметил в «Руле» (это было уже в 1927 г.), когда победа революции не могла вызвать никаких сомнений, суждение авторитетного иностранного наблюдателя Жео Лондона: «Эмиграция, — удостоверил он в результате путешествия по России, — настоящее бельмо на глазу у советской власти, и она не пожалела бы ничего, чтобы от эмиграции избавиться».

В столь категорической форме такое утверждение представлялось, однако, сильно стилизованным, в глу-

бине души ему с трудом верилось. Поскольку же такие средства, чтобы от эмиграции избавиться, пускались в ход, они действовали весьма успешно в смысле морального ее разложения и ослабления ее влияния.

В самом начале, а затем под влиянием нэпа, обнаруживалось стремление советской власти даже не избавиться, а напротив — примириться, призвать эмиграцию на помощь, и в моих случайных записях остался яркий след подобных стремлений. Так, под 30 ноября 1923 г. записано следующее: «Гучков сам рассказывал мне, что к нему приезжал один из его наиболее видных и ответственных сотрудников по военному министерству (Временного Правительства) для переговоров о возвращении на родину». Вслед за этим пришлось видеть письмо Троцкого к упомянутому сановнику, письмо, в котором Троцкий предлагал ему вернуться в Россию, оборвав переговоры с эмиграцией.

Вскоре в Берлин пожаловал автор знаменитого «приказа № 1» Н. Д. Соколов, который своими — мне казалось — нарочито резкими повадками, голосом и манерой речи и сиянием самодовольства мозолил глаза, вызывая представление о чем-то сусально-лубочном, и я испытывал к нему непреодолимую антипатию.

Соколов мотивировал призыв возвращаться в Россию необходимостью укреплять нарождающийся «правый курс», и я отозвался на его призыв несдержанной статьей, выдававшей задушевные мечтания. Я признавал, что эмиссар советской власти «явился в подходящий момент. Беженцы истосковались по родине, пребывание за границей и морально и материально с каждым днем становится труднее». Но он не приходит с оливковой ветвью, не говорит, что за революцию ответственны все, а потому спешите на помощь русскому народу, нет — у него поручение среди многих званых найти избранных и с каждым в отдельности сговориться, отделить «козлиц от овец по признакам,

установленным благородным ГПУ». Отсюда я делал вывод, что «как ни тяжело положение беженцев и как ни велико тяготение к родине, но, увы, час возвращения еще не пробил, придется еще пострадать, дорога открыта только для угодных ГПУ».

Усилия Соколова (несомненно, не единичные), обращенные — нужно оговориться — не к массе, не к толще эмиграции, а к ее верхушке, к избранным, не остались безуспешными. На «советскую платформу» сразу же перешло несколько членов Союза литераторов: Алексей Толстой, в пользу которого еще так недавно я устраивал литературный вечер в своей квартире, горячо преданный, почтительный сотрудник «Руля» А. Дроздов, испытывавший, правда, большую нужду; Роман Гуль, давший в «Архиве Русской Революции» яркое описание одного из эпизодов гражданской войны, и еще несколько человек. Их сотрудничество в недолговечном советском «Накануне», выходявшем под редакцией прожженного Кирдецова, бывшего трубадура северо-западного правительства, дало основание поставить вопрос об исключении этих лиц из состава эмигрантского профессионального союза. Но уйти добровольно они не хотели, напротив — на бурном общем собрании отстаивали свое *j'у suis* так вызывающе, что нельзя было не заподозрить задних целей. Как потом один из вернувшихся в лоно эмиграции уверял, цель состояла именно о том, чтобы, добившись исключения, обжаловать это постановление в суд, перед которым и устроить публичное состязание между Давидом и Голиафом.

Точно так же в Союзе инженеров произошел раскол, закончившийся демонстративным выходом целой группы членов, стоявших на старой платформе.

Больше всего огорчил звучный отклик, который советские эмиссары нашли у эмигрантской молодежи. Помню всеобщее смущение при получении известия о переходе на советскую платформу возглавлявшего об-

щестуденческий союз (ОРЭСО) Влезкова вместе с несколькими членами правления. Обидно это было потому, что, как мне казалось, их не столько прельщал советский соблазн, сколько обескураживала наша беспочвенность, я бы сказал — неприкаянность, распад, принимавший вовне уродливые формы.

В «Руле» под заголовком «Эмигрантский интернационал» напечатана была карикатура, изображавшая беженца, отвечающего на официальную анкету: «Моя жена латышка, старший сын — поляк, дочь — эстонка, второй сын — литовец, я сам — румын». Думаю, поэтому молодежь устремлялась на призыв по правилу — хоть гирише, тай иньше. И действительно, прибавлю тут же: когда они на своей спине это «гирше» испытали — многие прибежали обратно.

Неожиданную — и тем более мощную — поддержку проповедь возвращения получила изнутри эмиграции. В числе высланных за границу был А. В. Пешехонов, член редакции «Русского Богатства». Это был один из наиболее характерных представителей славной русской интеллигенции, напоминавший статуэтку Инсарова, вылепленную Шубиным. Если многие из нас чувствовали себя за границей в безвоздушном пространстве, то для него жизнь вне родной стихии была и физически непереносима; он остался в России, потому что бежать от ужасов большевизма значит заткнуть свои уши, а это «противно моей чести». Так объяснял он в изданной им замечательной, как я выразился в «Руле», брошюре «Почему я не эмигрировал». Подвергнув советский режим уничтожающей критике, вполне совпадавшей с суждениями «Руля», даже в прогнозе подготовляемого большевиками бонапартизма, Пешехонов, однако, утверждал «государственные заслуги большевиков», не побоявшихся совершить «грязную работу восстановления, обманом, железом и кровью, авторитета власти». Для укрепления государственности Россия нуждается в культурных си-

лах, которые только на родине найдут поприще для творческой работы, и нужно наконец рассеять призрак одиозности возвращения домой.

Выступление Пешехонова — трудно уйти от банального сравнения — произвело впечатление разорвавшейся бомбы и вызвало столь же ожесточенную, сколь и сумбурную полемику. Едва ли не самой резкой чертой эмиграции, наряду с витиеватыми призывами к объединению и беззаботным переходом с одной позиции на другую, было ревнивое искание не точек соприкосновения, а напротив, пунктов отталкивания. Шаблонные интеллигентские термины «правый и левый» давно утратили всякий смысл, но, кажется, не было более страшной угрозы, чем та, что тебя заподозрят в правом уклоне. Запомнилась горькая жалоба Степуна на «ложный стыд, отсутствие гражданского мужества собственной мысли и ужасную наследственную стадность». И разве это не так и было на самом деле? Больно вспомнить, например, собрание представителей одного из объединений общественных организаций, на котором обсуждалось воззвание о пожертвовании в пользу остатков Врангелевской армии на Балканах. После долгого жаркого ораторского сотязания собрание отказалось принять участие в сборе пожертвований, потому что «всецело сочувствуя воззванию, усмотрело в его структуре (!) политическую тенденцию».

Даже исчезновение генерала Кутепова послужило поводом для остервенелой полемики между «Последними Новостями» и «Возрождением», которое с пеной у рта оспаривало у противника Белого движения право на интерес к похищению белого генерала. Думаю, что в этом жадно и страстно искомом отталкивании кроется основная причина сумбура, овладевшего нашей полемикой, спорами, дискуссиями и т. д.

Так было, конечно, и в отношении «возвращения на родину». Газетная полемика только запутывала

вопрос все больше и больше, оставалась надежда, не поможет ли непосредственный живой обмен мнений. Я пригласил содокладчиками двух высланных из России профессоров, Айхенвальда и Карсавина, подлинных антиподов. Айхенвальд был органическим противником всякого насилия, через которое его нежная, чуткая душа никак не могла перешагнуть. Отсюда непримиримая, буквально всепоглощающая ненависть к большевикам. Как раз в это время приехал в командировку в Берлин 22-летний сын его, уже профессор политической экономии, выпустивший книгу, пользовавшуюся в России сенсационным успехом — она разошлась в сотнях тысяч экземпляров. Он преподнес экземпляр отцу с надписью: «Неисправимому отцу со слабой надеждой ознакомить «Руль» с настоящей русской действительностью».

Увы! Действительность грозно ответила ему: через два-три года книга была объявлена ересью, изъята из обращения, сам он арестован и, если жив еще, томится в каком-нибудь изоляторе. Но это случилось уже после ужасной смерти Ю. И. Айхенвальда. Тогда же сын находился в апогее славы, и помню, как я был поражен, когда, показывая полученный от сына дар, Ю. И., трогательно заботливый, любящий семьянин, говорил о сыне как человеку чужом и чуждом — узы кровного родства бесследно испарились в горниле святой ненависти к стороннику насилия.

Другой содокладчик Л. П. Карсавин, внешне напоминавший Владимира Соловьева — в уменьшенном виде, не уступал Айхенвальду ни по уму, ни по всестороннему образованию, ни по литературному таланту, но резко отличался, противостоял ему демонстративно покладистым отношением к жизни, граничившим с непризнанием, издевательством над всем святым. Так ли, однако, оно подлинно было или же это был маскарадный костюм на обнаглевшем после войны базаре житейской суеты — я бы ответить не ре-

шился: за второе говорило, что, усматривая в большевиках спасителей русской государственности, он не склонился перед советской властью, был арестован и, как сказано, выслан. За первое же — что, примкнув впоследствии к взыскующему града евразийству, разложил это движение лубочным восхвалением сталинского «национализма» и циническим провозглашением советской работы «общим с нами делом».

Это, впрочем, случилось несколькими годами позже, а на докладе, о котором я говорю, перед переполненной аудиторией Карсавин, в иной форме и другим тоном, высказывал те же мысли, что и Айхенвальд. И тот и другой резко осуждали большевиков («уголовники», по выражению Карсавина), оба высказывались против возвращения как связанного с унижением человеческого достоинства.

«Возвращаться, по мнению Карсавина, следует лишь для свержения большевиков». Но Айхенвальд, вместе с тем, говорил о высокой миссии эмиграции сохранить культурные традиции, оборванные советским режимом, а Карсавин утверждал, что «история России совершается там, а не здесь», и обличал гниение беженцев, приведя в пример, какой успех имели устроенные в Константинополе «тараканьи бега».

Эти противоположные уклоны и отвлекли прения от основной темы, дав благодарный повод: одним — упрекать Айхенвальда в реакционности, другим — уличать Карсавина в большевизанстве. Неловко было смотреть на разочарованные лица слушателей, тщетно рассчитывавших на всестороннее освещение волнующего вопроса и оглушенных страстными перекурами.

Я попытался в своем резюме вывести за скобки общий множитель эмигрантского настроения, указав, что «все сходятся на трех положениях: беженцы только и живут мечтой о возвращении; возвращению препятствует советская власть; возвращение допустимо при сохранении человеческого достоинства. Пора бы

отказаться от спора, нужна ли эмиграция России, и заменить вопросом, нужна ли Россия эмиграции».

Пока же мы судили и рядили с «птичьего дуазо» — на практическую почву возвращенство поставлено было верховным комиссаром по делам о беженцах Нансеном, приобретшим, правда, всемирную известность, однако, совсем в другой области. Но тогда специалистов по беженским вопросам еще не выработалось, а с другой стороны, крутая перемена профессий, принципиально большевистским режимом установленная, нашла отзвук и в послевоенной Европе: разве, например, знаменитый пианист Падеревский не был посажен президентом Польской республики?

К великому негодованию одной части эмиграции и соблазну другой, Нансен вступил в переговоры с советской властью о репатриации, завершившиеся водворением на родину 10 тысяч беженцев. О дальнейшей судьбе их слышать не приходилось, но вряд ли можно сомневаться, что они оказались в первых рядах жертв террора, ярко воспламененного пятилеткой и коллективизацией.

Печальная участь родственника моего может служить точным показателем опасной зыбкости положения возвращенцев, даже при наиболее благоприятном стечении обстоятельств.

Речь идет об одном из «богатых» (как их называли в семье) Гессенов, владельцев волжского пароходства, нескольких страховых предприятий и т. п. Удачно бежав из Петербурга в Финляндию в конце 1918 г., Юлий Исакович стал открытым сторонником Юденича, активно вел антибольшевистскую пропаганду, стоившую ему немалых денег, а после крушения Юденича переселился сначала в Берлин, а затем в Париж. Среди многочисленных служащих в его предприятиях до революции было несколько меньшевиков, в том числе Лежава, занимавший затем у большевиков видные посты. Приехав за границу в командировку, Лежа-

ва встретился с бывшим шефом и в дружеской беседе жаловался на полную разруху волжского пароходства.

Не знаю, по чьей инициативе, в результате беседы всплыл вопрос, не сдать ли (или не взять ли) это когда-то цветущее предприятие в аренду Гессену. Во всяком случае оба собеседника проявили большой интерес к этому вопросу, и спустя некоторое время Гессен получил приглашение приехать в Москву для переговоров.

Предварительно он снесся с известной английской компанией Кунард Лайн, с которой до войны состоял в деловых связях. Теперь фирма выдала ему неограниченные полномочия на заключение, по его усмотрению, арендного договора за ее счет. Узнав об этом, фон Мальцан, тогда статс-секретарь Министерства иностранных дел, настоятельно просил Гессена предоставить и Германии участие в этом деле. Со столь ценным багажом Гессен явился к Крестинскому, который, конечно, по инструкции из Москвы, принял его с распростертыми объятиями, чествовал роскошным завтраком и снабдил советским паспортом, на котором, к особому удовольствию и успокоению Гессена, красовалось и разрешение на обратный выезд из СССР.

Быстро, без сучка и задоринки, принципиальное соглашение было достигнуто, руководивший переговорами сановник — председатель Госплана Цюрупа — мило пошутил: «В сущности, ведь ничего необычайного не случилось. Было у нас госпароходство, а теперь будет геспароходство».

Когда договор был оформлен во всех подробностях, Гессен отправился — уже с англичанами — в Нижний Новгород для осмотра в затонах инвентаря. Но тут их ждал ошеломивший англичанина сюрприз, показательный для советского строя: местная партийная ячейка не только отказалась допустить гостей до осмотра, но предложила по добру по здорову убрать-

ся из Нижнего Новгорода вместе с сопровождавшим их сановником из Москвы.

На том дело и кончилось, госпароходство не состоялось. Но потому ли, что Москва чувствовала себя неловко или по соображениям деловым, Гессену предложено было заняться разработкой проекта Волго-Донского канала и приисканием фирмы, готовой взять на себя осуществление этого плана. Нашлась фирма — и притом первоклассная (Юлиус Бергер), и началось ежедневное хождение в берлинское торгпредство для переговоров и переписки с Москвой, которые чем дальше, тем все больше и безнадежней затягивались.

Тем временем упомянутая фирма получила концессию на постройку железных дорог в Персии и при посредстве Гессена заключила с советской властью договор о транзите материалов через Россию с предоставлением ей опциона на поставку таковых. Фирма назначила Гессена своим представителем в Москве, и он отправился туда — теперь уже на более оседлое пребывание — вместе с женой. Ему было отведено помещение в Метрополе, но не успел он оценить предупредительность советской власти, как недели через две-три — был арестован и... только его и видели.

Тщетно жена его, от которой в испуге отшатнулись все родные и знакомые, добивалась узнать, в чем его обвиняют. Ей лишь сообщили через несколько месяцев, что дальнейшие «передачи» излишни. Через некоторое время удалось прочесть в записях крематория, что такого-то числа сожжено тело Гессена. Жену убитого в течение двух лет не выпускали из России под тем предлогом, что «вы ему (т. е. мне) все расскажете, и он поднимет шум в «Руле»!».

Это было тем более жестоко и бессмысленно, что она сама ничего не знала, а шум поднят был берлинской печатью, безрезультатно протестовавшей против такого отношения к представителю германской фирмы. Впоследствии же выяснилось, что арест Гессена

был эпилогом «геспароходства»: ячейка не удовлетворилась аннулированием заключенного Москвой договора, а предъявила обвинение в подкупе служащих для приведения инвентаря в полную негодность, чтобы заставить сдать предприятие в аренду. И если бы Гессен не умер в тюрьме, то, вероятно, послужил бы первым объектом вредительского процесса.

Особняком стоит метаморфоза Бориса Савинкова, составившая настоящую мировую сенсацию, хотя его предшествовавшие эскапады давали достаточно оснований думать, что от этого бретера от революции всего можно ожидать. Но на нем почил яркий ореол, которым сиял его ряд дерзких политических убийств. Правда, после разоблачения Азефа выяснилось, что удачей он был обязан именно этому предателю, с которым душа в душу работал и который, оберегая его от Департамента полиции, тем самым отводил от себя подозрения в двурушничестве.

Но и сама по себе авантюрная дерзость отнюдь не презюмирует душевной стойкости и легко может сочетаться (как и утверждает пословица) с беспринципной непоседливостью и даже трусостью. При Временном правительстве Савинков занимал разные видные должности вплоть до военного министра, исключен был из партии эсэров за двусмысленное поведение в деле Корнилова, в качестве ярого антибольшевика организовал трагически разгромленное восстание в Ярославле, дальше Колчак назначил его своим представителем в Париже; затем находим его в Польше при Пилсудском, старом товарище по революционному подполью. Вместе с Философовым и Арцыбашевым он издает в Варшаве эмигрантскую газету, превращается в ревностного соратника буйного головореза, баяна Булак-Балаховича, банды которого совершали зверские налеты на пограничные области России. Когда же в сентябре 1924 года появилось известие об аресте Савинкова при переходе через русскую границу,

вместе с бывшим сотрудником «Русских Ведомостей» Деренталем, оно было истолковано так, что Савинков попал в руки провокаторов, завлекших его в западню. Только в «Руле» сразу же было высказано предположение, что тут дело нечисто, что он направился в Россию по предварительному уговору с большевиками.

У меня никогда не лежала к нему душа. Его нашумевшие романы: «Конь бледный», «Конь вороной» — казались мне бездарной литературщиной; поскольку же в них содержались черты автобиографические, они убеждали, что автор — просто охотник за черепами, что средство заменяет ему цель, что как бывают люди, что словечка в простоте не скажут, так он шагу ступить не может без позы и жеста.

Во время войны Савинков находился во Франции и предложил «Речи» свои патриотически сюсюкающие шаблонные корреспонденции. Я горячо убеждал Милюкова отвергнуть его сотрудничество, но отношение Милюкова к революционным партиям то и дело менялось в противоположных направлениях, и он отвечал в данном случае: — Нам важно установить связь с левыми кругами.

Теперь мои предчувствия сбылись. Действительность оказалась ярче самых недостойных догадок: из опубликованного письма Савинкова к «гражданину Дзержинскому» обнаружилось, что он вел «беседы» с Менжинским и другими сановниками из ГПУ, обещавшими ему «помилование и предоставление работы».

Возможно, что такое намерение и имелось налицо, что и чекистов ослеплял ореол «единственного действенного политического деятеля», как характеризовал Савинкова Мережковский, что участь Савинкова не была предрешена, тем более, что к предателям у большевиков влечение, род недуга: вспомним, как ревниво держался за разоблаченного Малиновского Ленин. Приблизительно одновременно с Савинковым, в свое время, судили старого народовольца Окладского,

который в 80-х годах был правой рукой Желябова и участвовал в разных террористических покушениях и убийствах. В своем последнем слове на суде* Окладский заявил, что не только не просит о помиловании, но счел бы смягчение своей участи за оскорбление. Он и был приговорен к смертной казни, но... сохранил жизнь ценой перехода на службу в Департаменте Полиции. Вместо него повешено было много преданных им народовольцев, в том числе цареубийцы Кибальчич, Михайлов, Желябов. Окладский продолжал состоять агентом Департамента Полиции до революции, получив последнее жалование в феврале 1917 г., и лишь на восьмом году советского режима был разоблачен. Но, при всей кровожадности, на его жизнь большевики не посягнули, а приговорили к тюремному заключению, и кто знает, не продолжает ли он службу в застенках ГПУ.

Добровольно сдавшемуся Савинкову казнь была заменена тюремным заключением в условиях весьма комфортабельных. С месяца на месяц ГПУ откладывало обещание принять его в лоно советского режима, которому он клялся служить верой и правдой, но, быть может, чрезмерно рьяное покаяние заставляло сомневаться в искренности. Искатель приключений не выдержал и покончил самоубийством, выбросившись из не защищенного решеткой окна**.

Из всех известных мне случаев возвращения — тут и член кадетского ЦК М. Мандельштам, и видный адвокат Кальманович — я припоминаю только один пример удачи: писатель Алексей Толстой, пользовавшийся официальным почетом и утопавший в деньгах и роскоши.

* В этой фразе речь идет о дореволюционном процессе (1880 г.). — П р и м. р е д.

** Согласно легенде, Савинков выбросился в лестничный пролет, не защищенный сеткой. Вероятнее же всего, он не выбросился, а был убит чекистами. — П р и м. р е д.

Жестокая реальность «возвращенства» не рассеивала фантазмагории, споры наши продолжались и наибольшей страстности достигли после появления в Берлине неугомонной Е. Д. Кусковой, высланной вместе с С. Н. Прокоповичем из России. С каким восторженным лицом, точно открыла секрет спасения родины, шепнула она мне на ухо, что «будет съезд», и казалось, что так, по признаку: шумим, братец, шумим, — она эту перспективу и расценивает.

Сейчас — да будет стыдно, никак не вспомню, состоялся ли съезд, но смешно и странно представлять себе теперь, с каким трудом удавалось поддержание хоть видимого порядка и как я опасался, что в порыве нетерпимости спорщики вот-вот бросятся друг на друга. Было тем тяжелей, что я не улавливал смысла разногласий: разница словесных излияний была примерно та же, что сказать «театр был наполовину пуст» или — «театр был наполовину полон». На поставленный вопрос «жива ли Россия» все отвечали утвердительно, но одни приковывали внимание к страшным разрушениям, произведенным революцией, другие утверждали, что Россия все-таки живет и начинает, хоть и медленно, возрождаться. Тщетно зывал я, чтобы «спорщики осторожней выбирали слова, точнее формулировали свои положения, отбросили трафаретную фразеологию и перестали разыскивать виновных, потому что ответственность за случившееся падает на всех нас». Впрочем, ведь и в нормальных условиях издевкой звучит утверждение столь ходкое, будто от столкновения мнений рождается истина. А тут каждым столько выстрадано, так наболело, что он опасается, и не доверяет, и инстинктивно отталкивается от неосторожного прикосновения.

Еще много сумбурнее было в Париже, где — до курьеза — интересовались не тем, что говорят, а кто выступает. Так, когда появилась брошюра Пешехонова, спор сосредоточился не на ее содержании, а на лич-

ности автора, причем один утверждал, что автор остался в России как герой, а ушел как обыватель; другой был обратного мнения: остался как обыватель, ушел как герой; третий находил, что и остался и ушел как обыватель; а четвертый прибег к последней оставшейся комбинации, настаивая, что и остался и ушел как герой. Право же, я не шучу, так оно в действительности и было.

А что сказать о нескончаемой полемике по поводу состоявшегося на одном собрании рукопожатия между эсэром Авксентьевым и нововременцем Пиленкой! Эта безвкусная пародия на сенсационное рукопожатие между Церетели и Бубликовым на «московском государственном совещании», от которого еще позволительно было ожидать каких-нибудь реальных результатов, теперь дала обширную пищу чисто талмудическим толкованиям: эсэровская газета пояснила, что ее это рукопожатие «так же мало смущает, как жирные поцелуи, которыми советская власть награждает Кускову». Злобно откликнулся «Социалистический Вестник», возразив, что «поцелуй — акт односторонний, а рукопожатие — двусторонний, в котором Авксентьев не мог играть роль пассивной жертвы». Не тут-то было: эсэры не растерялись, истолковав, что «Авксентьев мог пожать протянутую руку безо всякой политики».

Но самое, действительно, забавное: когда, переселившись в Париж, я захотел получить об этом инциденте личную справку от Пиленки и Авксентьева, то последний отговорился запамätованием, а первый категорически отрицал весь инцидент, о котором в свое время так много спорили и шумели в эмигрантской печати. Очевидно, десять лет спустя факт этот представлялся настолько невероятным, что разум и логика вытравили без остатка воспоминание о нем.

Не оставляли в покое даже и мертвых: так, чествование памяти Плеханова тоже вызвало жестокую склоку среди революционеров. Последователи покой-

ного видели главную заслугу в его борьбе с большевиками и напоминали, что задолго до Ленина эсэры мечтали о захвате власти, а посему они-то и являются родоначальниками большевизма. Эсэры протестовали и предложили заключить мир «без победителей и побежденных» вместо того, чтобы «разбираться в метрических выписях с целью взаимного посрамления и уличения, кто кого породил». Плехановцы отвергли почетный мир и привели из сочинений Плеханова ряд цитат, оправдывающих их утверждения. Тогда эсэры приняли вызов и, в свою очередь, разыскали несколько цитат, не оставляющих сомнения, что Плеханов был одним из учителей Ленина. На это последовал ответ, что «существует два Плеханова или разные Плехановы», что так оно и быть должно, потому что покойный был «богатой, даровитой и уже по этому одному меняющейся духовной фигурой», которая готова была поступиться любым демократическим принципом ради «успеха революции».

Точно так же на вечере памяти Н. В. Чайковского возник горячий спор об отношении покойного к Богу. Мережковский и Гиппиус утверждали, что Чайковский «не сразу пришел к пониманию Бога, но носил Его в своей душе», на что Милюков решительно возразил, что «потустороннее его не интересовало и что он был чужд Мережковскому и Гиппиус». — «Неверно, протестую!» — воскликнул Мережковский.

В грандиозных размерах это повторилось на чествовании великого поэта нашего по случаю столетия со дня его кончины. И в России и в эмиграции славословие низвергалось шумными сверкающими водопадами, но чем оно было пышнее, тем ярче сверкало желание использовать воду на свою мельницу: для одних Пушкин славен как бунтарь, для других — просветленный монархист, для третьих — всё заключается в апофеозе смерти, озаренной потусторонним светом, и т. д. и т. д.

Может быть, если бы в наших спорах принимали участие и большевики, если бы поэтому вопросы ставились ребром — больше было бы прямоты и решительности, не надо было бы прятаться за дымовую завесу, прибегать к эзоповскому языку. Но большевики от словесных турниров быстро — не знаю, сознательно ли или умышленно, стали уклоняться, предоставляя эмиграции вариться в собственном соку, и неприятно вспоминать, с каким упоенным самозабвением мы предавались этому, притом не только в области идейной полемики.

ГЕССЕН Иосиф Владимирович — видный политический и общественный деятель. Родился в 1865 г., получил юридическое образование в Новороссийском и Петербургском университетах, несколько лет прослужил в Министерстве юстиции. В 1898 г. основал журнал «Право», в редакционную коллегию которого входили В. Д. Набоков, Б. Э. Нольде, А. И. Каминка, М. Я. Пергамент и др., и был его неизменным главным редактором. В 1906 г. избран в ЦК партии конституционных демократов, в 1907 — депутатом Государственной Думы второго созыва, тогда же становится главным редактором органа к.-д. партии газеты «Речь», оставаясь на этом посту вплоть до Октябрьской революции, после которой вынужден был покинуть пределы России. В Берлине в 1920 г. создает книгоиздательство, а затем основывает и редактирует газету «Руль», закрытую после прихода Гитлера к власти. В 1936 г. переезжает в Париж, а после капитуляции Франции — в США. Скончался в Нью-Йорке в 1943 году.

26 июня 1978 года

**Международному Олимпийскому Комитету (МОК)
Президенту МОК лорду М. Килланину**

Господин президент, господа,

В СССР происходят события, которые вы не можете игнорировать. Арестовывают и судят людей (членов «Хельсинкских Групп» и других правозащитников), деятельность которых преследовала чисто гуманные цели. Страна-хозяйка Олимпиады-80 демонстрирует пренебрежение к общечеловеческим гуманитарным нормам, а также к собственным международным обязательствам.

Уже сейчас известно, что атмосфера Московской Олимпиады будет существенно отличаться от предыдущих Игр. Число гостей Олимпиады ограничено заранее согласованной с МОК цифрой, и так как свободный въезд на территорию СССР запрещен, то столь характерного для других Олимпиад массового, стихийного наплыва туристов и любителей спорта из разных стран СССР, по-видимому, не допустит. Культурная программа Олимпиады-80 ограничена советскими национальными достижениями, т. е. будет контролироваться советскими органами цензуры. Передвижение иностранных гостей по стране предусмотрено по жестким ограниченным «коридорам» под эгидой «Интуриста». Такая специфика «закрытого общества». Но как совместить все это с идеей международного доверия, провозглашаемой Олимпийской хартией?

Ваше согласие провести 22-ю Олимпиаду на советских условиях, ваше «олимпийское спокойствие» в отношении происходящего в СССР перечеркивает прекрасные слова Олимпийской хартии.

«Спорт — вне политики» — таков мудрый принцип олимпизма. И точно так же вне политики, выше политики фундаментальные вопросы гуманности, неотделимые от основных целей олимпийского движения. Сегодня ваше молчание означает прямую поддержку совершенно определенной политики.

СССР придает предстоящим Олимпийским играм огромное пропагандистское значение. Советские власти, очевидно, хотят сделать Москву-80 городом официальных улыбок; «очистка» Москвы от инакомыслящих уже началась и следует ожидать расширения этой кампании. Мы просим

вас не допустить этого. Ни одна семья не должна оплакивать Олимпиаду.

Мы, так же, как и вы, придаем большое значение Всемирной Олимпиаде в нашей стране, как важному событию, которое могло бы способствовать международному доверию и безопасности, но эту высокую роль Олимпиада может сыграть только при неукоснительном следовании Олимпийским принципам.

Мы призываем вас бескомпромиссно добиваться, чтобы контакты между людьми, культурный обмен, доступ в страну и т. п. реализовались на XXII Олимпиаде в той же мере, что и на предыдущей.

В древности во время Олимпийских Игр прекращались войны. Сегодня в СССР ведется война против гуманности и милосердия. Мы призываем вас потребовать «прекращения огня» в качестве обязательного условия проведения в СССР Олимпийских Игр, потребовать прекращения преследований за ненасильственные действия в защиту прав человека, за религиозную деятельность, за попытки добиться осуществления права на свободный выбор страны проживания и места проживания в пределах страны. Мы призываем вас потребовать, чтобы страна-хозяйка Олимпийских Игр освободила Юрия Орлова, Александра Гинзбурга, Анатолия Щаранского, Владимира Слепака, Льва Лукьяненко, Виктора Пяткуса, Александра Подрабиника и всех других членов Хельсинкских Групп; Сергея Ковалева, Игоря Огурцова, Георгия Винса, Владимира Шелкова, Василия Романюка, Иду Нудель, всех, осужденных за попытку покинуть страну. Мы призываем вас требовать освобождения всех УЗНИКОВ СОВЕСТИ.

Мы просим довести это письмо до сведения Национальных Олимпийских Комитетов и спортивных Обществ разных стран, чтобы каждый участник предстоящей Олимпиады мог высказать свое отношение к поставленным вопросам.

Члены Московской Группы Содействия выполнению Хельсинкских Соглашений:

Елена Боннэр, Софья Каллистратова, Мальва Ланда,
Наум Мейман, Виктор Некипелов, Татьяна Осипова

Присоединяемся к письму Московской Хельсинкской Группы:

Борис Альтшуллер, Татьяна Великанова, Андрей Сахаров,
Георгий Владимов, Лариса Богораз

ЗАЯВЛЕНИЕ О МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 1980 ГОДА

Нарушения прав человека в СССР: суровые приговоры участникам борьбы за права человека и гласность, религиозные преследования, нарушение права на эмиграцию и свободный выбор места проживания внутри страны, нарушение свободы убеждений и информационного обмена — вызывают большую озабоченность мировой общественности. Одним из проявлений этой озабоченности является кампания за бойкот предстоящей в 1980 году Московской Олимпиады. Я понимаю и глубоко уважаю мотивы инициаторов этой кампании.

Мое отношение к предстоящей Московской Олимпиаде выразилось в том, что я присоединился к документу Группы Содействия выполнению Хельсинкских соглашений, призывающему добиваться на Московской Олимпиаде полного осуществления Олимпийской хартии.

Развивая идеи этого документа, я и моя жена считаем важным и реалистичным, чтобы каждая спортивная делегация приняла на себя конкретную ответственность за судьбу одного или двух узников совести в СССР — таких, как Орлов, Гинзбург, Щаранский, Огурцов, Шелков, Лукьяненко, Тихий, Руденко, Пяткус, Ковалев, Глузман, Гаяускас, Романюк, Винс, Сергиенко, Федоренко, Слепак, Нудель, Кузнецов, Мурженко, Федоров, заключенных женщин, больных политзаключенных, взяла бы под свою опеку отказников: немцев, евреев, людей других национальностей; верующих, в том числе пятидесятников, адвентистов, баптистов, — и просила от советских властей освобождения этих конкретных людей как акта гуманности и дружелюбия, необходимого для того, чтобы эта делегация смогла счесть возможным для себя участвовать в Олимпиаде, и необходимого для осуществления гуманистических принципов Олимпийской хартии.

14 сентября 1978

*Андрей Сахаров,
лауреат Нобелевской премии Мира*

Спорт и политика

Алексей Орлов

ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

С утра небо затянули тучи. Ближе к полудню пошел дождь. Но ни хмурое небо, ни дождь, то усилившийся, то затихавший, не могли нарушить царившего в столице праздничного настроения.

Настроение это ощущалось в столице и за ее пределами задолго до начала праздника. Уже на границе, при въезде в страну, зарубежных гостей встречали с улыбками. Таможенные формальности занимали считанные минуты. Улицы же главного города были разукрашены во всевозможные цвета, среди которых преобладал красный — цвет государственного флага. Со стен глядели портреты вождей. В окнах магазинов, жилых домов, государственных учреждений красовались плакаты с известной всему миру эмблемой праздника — пятью переплетенными кольцами.

Преобразилась не только сама столица, но и люди. Еще недавно грозные блюстители порядка распрощались с мрачной униформой, непременной частью которой был пистолет, и выглядели добропорядочными джентльменами... Предупредительные переводчики — у каждого на лацкане пиджака флаг той страны, языком которой он владеет, — были готовы выполнить любую просьбу иностранного гостя... На улицах стало меньше военных...

Я читал репортажи из олимпийского Берлина и меня не покидало ощущение, что я знакоюсь не с тем, что было, а с тем, что будет. На память приходили футуристические «репортажи с Олимпиа-

ды», которые уже пару лет печатает «Советский спорт»: в них — и безотказная работа транспорта, и услужливые переводчики, и прекрасное обслуживание гостей.

Через сорок два года я читал отчеты об XI Олимпийских играх. Служащий нью-йоркской Публичной библиотеки, не спросив у меня ни удостоверения личности, ни справки с места работы, ни домашнего адреса, ни — даже! — «для каких целей?», принес две коробочки с микрофильмами — газету «Нью-Йорк таймс» за первую половину августа 36-го года. Я зарядил пленку, включил экран и погрузился в чтение... Один раз я, наверное, вскрикнул, потому что сидевший рядом парень наклонился ко мне: «Вам плохо?». Я показал ему на экран. Парень привстал, чтобы прочесть, что я показывал. «Это — история», — сказал он равнодушно и вновь уселся на свой стул.

История!.. Его совершенно не тронули слова доктора Геббельса. «Каждый должен быть хозяином, — говорил, обращаясь к берлинцам накануне Олимпиады, герр Геббельс. — Будущее Рейха зависит и от того, с каким чувством покинут его наши гости».

«Каждый москвич должен чувствовать себя хозяином. От нас всех вместе и от каждого в отдельности зависит, вынесут ли лучшие впечатления о Москве, о нашей социалистической родине гости Олимпиады», — говорил в 75-м году на совещании спортивных журналистов заведующий отделом пропаганды Спорткомитета А. Валиахметов.

Сорок два года назад раздавался над Берлином голос Геббельса, обращенный к спортсменам мира: «Германия — ваш друг! Германия стремится только к миру, и только Германия имеет возможность обеспечить мир!»

В июле 62-го года Брежнев — тогда еще не генсек, а просто президент — говорил в Москве на открытии 59-й сессии Международного Олимпийского Комитета (МОК): «Прочный мир, полное равноправие, взаимо-

понимание и доверие между всеми государствами, не-
взирая на различия в их общественном строе, — таков
генеральный курс нашей внешней политики».

МОСКВА ДЕЛАЕТ ХОД

«Серые начинают и выигрывают».

Г. Владимов

«Страны НАТО используют спорт в качестве ору-
жия своей агрессивной политики...»

«Классовая борьба находит свое место и в между-
народных спортивных связях...»

«Пропаганда аполитичности — «спорт вне поли-
тики» — есть не что иное, как один из методов идео-
логической диверсии империалистических кругов, на-
правленной против стран социалистического лагеря...»

Словесные клише, знакомые нам с детства. В при-
веденных цитатах слово «спорт», согласитесь, можно
легко заменить. Поставьте, например, на место «спор-
та» — «искусство». Или — «наука». Или же — «тор-
говля». Тасуйте словарь, как хотите, смысл не изме-
нится.

Откуда заимствованы цитаты?.. Из передовой
статьи «Советского спорта»? Из доклада заведующего
отделом пропаганды Спорткомитета? Из выступления
какого-нибудь спортивного деятеля перед слушателя-
ми военных академий? Нет, нет и еще раз нет! Это
из «научного труда», озаглавленного «Международ-
ное спортивное сотрудничество» и рекомендованного
Спорткомитетом «в качестве учебного пособия для
студентов институтов физической культуры».

Ну, а год издания?.. Время «холодной войны»?
«Кубинского кризиса»? «Пражской весны»? Да нет
же! Год семьдесят третий — розовое утро детанта.

Место издания — Москва, которая в то время уже настойчиво добивалась права именоваться олимпийской столицей. Но одно дело — высокие слова о спортивной дружбе и клятвы верности олимпийским принципам, другое дело — учебник для внутреннего потребления, который штудируют будущие чемпионы. И когда мэр Москвы В. Промыслов отправился в октябре 74-го года в Вену, где МОКу следовало решить, кто же — Москва или Лос-Анжелес — примут XXII Олимпийские игры, он повез с собой не труд, разблачающий спортивную диверсию стран НАТО, а альбомы с видами Москвы. И на пресс-конференции после голосования В. Промыслов говорил: «На Олимпийских играх не должно быть места политике!»

Большинство членов МОК отдали свой голос Москве. О спортивных деятелях из социалистических стран не говорю — с ними всё ясно. Представители «третьего мира» по традиции — школа ООН! — также предпочли Москву. Но Международный Олимпийский Комитет — не Организация Объединенных Наций, социалисты-коммунисты и «третий мир» не располагают в МОК абсолютным большинством голосов, что (прости, читатель, за еще одну цитату из «пособия») «весьма усложняет борьбу за демократические преобразования... и не отражает современного соотношения сил в мировом спорте».

Однако — не «осложнило» и «отразило»: Москву избрали столицей Олимпийских игр 80-го года.

В глазах членов МОК Москва олицетворяла надежность. Это — не какой-то там Денвер из захолустного американского штата Колорадо: взял да и отказался проводить Зимние игры 76-го года: денег у него, мол, недостает... И не какой-то Монреаль, где строители олимпийского комплекса чуть ли не каждый день бастуют... Знали отцы современного олимпизма, что в Москве и с финансами будет полный порядок, и забастовки не предвидятся. Заверил же премьер

Косыгин президента МОК лорда Килланина: дадите Москве Олимпиаду — можете спать спокойно!.. Члены Международного Олимпийского Комитета — не дети малые, понимали они, что могучее советское государство не бросит Москву на произвол судьбы. Это Денверу самому пришлось расхлебывать финансовую кашу, да и Монреаль не очень-то подкармливала государственная казна. Правда, в «Олимпийской Хартии» записано, что «честь организации предоставляется городу, а не стране». Но кто в наш просвещенный век размышляет о подобных мелочах! Главное — формальности соблюдены: проголосовали за Москву. Дальнейшее — за организаторами Олимпиады.

К тому же и опыт уже был, когда не город — государство проводило Игры, и, как писал историк олимпийского движения Александр Вейланд*, «при солидной поддержке правительства ничего не осталось недоделанным, внимание обращали даже на мельчайшие детали». О, нет-нет, члены МОК отшатнулись бы от такой аналогии! Чего-чего, но повторения Берлина они, надеюсь, искренне не хотели. Но — «солидная поддержка правительства», и — «за» Москву, и — го-ра с плеч.

И не скажешь, что МОК не ведал, что творил. Сразу после окончания Всемирной Универсиады (Москва, август 73-го), когда до голосования в Вене оставалось больше года, поднялись протесты против предоставления Москве права проводить Олимпийские игры: Универсиада, превратившаяся в антисемитский шабаш, заставила усомниться в добрых намерениях Москвы.

«Всемирные Университетские игры, прошедшие в Москве, можно сравнить с прискорбной Олимпиадой в нацистской Германии», — говорил 11 сентября американский конгрессмен (ныне мэр Нью-Йорка) Э. Коч.

* Alexander Weyland. The Olympic Pageant. New York, 1952.

«Тоталитарная Москва — неподходящее место для молодежи мира», — заявил Джордж Мини 13-го сентября.

Ни Э. Коч, ни Д. Мини на Универсиаде не были, судили о ней по сообщениям газет. Может быть, они ошибались?

«Я только надеюсь, что этого никогда не случится», — сказал о возможности превращения Москвы в олимпийскую столицу старший тренер студенческой сборной США по баскетболу Норм Слоан. Он-то долго будет вспоминать московский турнир.

...Четыре минуты оставалось до конца матча между баскетболистами США и Кубы. На табло горел счет — 98:74 в пользу американцев. Еще одна атака команды Норма Слоана, и, как свидетельство ее безоговорочного превосходства, загорится «100». Эта атака близилась к завершению, когда американский баскетболист упал, сраженный боксерским приемом. Поверженному тут же достался еще один удар — ногой в лицо. Этот удар послужил сигналом к началу вакханалии. На площадку выбежали запасные игроки кубинской команды. Еще через пару секунд высыпали на арену «посланцы героического острова Свободы», сидевшие на трибунах. Американцев били кулаками, ногами, подвернувшимися под руку стульями, и даже графин с водой, стоявший на судейском столике, пошел в ход. На глазах блюстителей порядка, в форме и без. Блюстители не вмешивались. Иностранцы неприкосновенны — это во-первых. А во-вторых, били свои, из социалистического лагеря, били чужих, что пришли с той стороны баррикад... На следующий день я брал интервью у доктора Ференца Хеппа — одного из руководителей Международной федерации баскетбола, свидетеля почти всех крупнейших турниров за последние тридцать лет. «Всякое бывало, — говорил Ф. Хепп, — но не такое. Самое странное, что полиция была безучастной».

...А сотрудники КГБ: в пресс-центре, на местах соревнований, в «международном клубе», в общежитиях для спортсменов.

...А постыдная церемония открытия Универсиады, когда зрители в Лужниках проводили свистом и улюлюканьем команду Израиля. (На стадионе в Берлине зрители освистали спортсменов США, которые, проходя мимо ложи почетных гостей, где сидел фюрер, не выкинули руки в традиционном фашистском приветствии.)

Членам Международного Олимпийского Комитета все эти факты, безусловно, были известны. Но они выбрали Москву.

КАК КУЮТСЯ ПОБЕДЫ

Газета «Вашингтон пост» напечатала (9 января 77-го года) письмо Дона Берлингера — писателя, занимающегося проблемами науки, и летчика-любителя. Письмо заслуживает быть приведенным полностью.

«Недавно я был членом американской команды, которая участвовала в Восьмом чемпионате мира по высшему пилотажу. Чемпионат проходил прошлым летом в Киеве.

Американский Клуб высшего пилотажа потратил 50 тысяч долларов, заработанных членами Клуба, чтобы послать на чемпионат шесть летчиков, девять механиков и шесть самолетов. Мы наивно полагали, что это будут честные открытые соревнования, какими бывали предыдущие чемпионаты. Организаторы же состязаний в Киеве рассматривали первенство как возможность продемонстрировать превосходство социализма над капитализмом.

Спортивное мужество участников из пятнадцати стран было на высоте, поступки же советских судей — бесчестными. Они искажали правила, принуждали

честных арбитров изменять свои решения, игнорировали нарушения советских пилотов, снижали — когда это было совершенно неоправданно — оценки главным конкурентам. Слишком поздно мы открыли, что арбитрам следовало от случая к случаю давать жевательную резинку, чтобы получить лучшие оценки.

Советская команда завоевала все главные призы — к очевидному смущению самих победителей. Некоторые из них были действительно хороши, но все же не были лучшими в мире, с точки зрения старожиллов соревнований.

Разве все это — не предвестник куда более серьезных антиспортивных проявлений, которые случатся в 1980 году? Олимпийскому Комитету США следует более реалистично смотреть на вещи».

Организаторы Олимпийских игр в Берлине мечтали использовать всемирные соревнования для демонстрации превосходства национал-социализма. Их советские товарищи намерены продемонстрировать в Москве превосходство социализма. Для достижения этой цели они ничем не побрезгуют.

...На Олимпийских играх в Монреале разразился скандал — советского пятиборца Бориса Онищенко уличили в жульничестве. На фехтовальной дорожке он побеждал соперников при помощи «технического приспособления» в рукоятке шпаги. Миллионы западных телезрителей видели, как коммуниста Б. Онищенко схватили буквально за руку на месте преступления. Этого не видели, естественно, телезрители нашей страны (все соревнования транслировали в видеозаписи: следовало изъять крамолу). Лишь в «Советском спорте» можно было прочесть пару невразумительных строк: Онищенко совершил-де поступок, недостойный советского спортсмена, а потому выведен из состава олимпийской команды. О самом поступке, разумеется, ни слова. Исключен и — баста!.. Так завершилась спортивная карьера чемпиона мира, олимпий-

ского чемпиона (1972), неоднократного чемпиона Советского Союза, заслуженного мастера спорта, офицера советской милиции, парторга (!) советской команды в Монреале, грудь которого украшали ордена и медали, врученные за спортивную доблесть.

За несколько дней до бесславного конца Онищенко вместе с тысячами спортсменов стоял на поле монреальского стадиона и давал клятву бороться честно. Но уже тогда, в торжественный час открытия XXI Олимпийских игр, он был клятвопреступником, ибо к честной борьбе не был готов.

Оставим, впрочем, в стороне незадачливого пятиборца. В конце-то концов могли и не поймать его с поличным на олимпийских соревнованиях, как не поймали на состоявшемся незадолго до турнира в Монреале чемпионате страны. Проследим-ка лучше спортивный путь сотен тысяч Онищенко — от детской секции до национальной сборной.

Если спортсмен — гимнаст, фигурист, прыгун в воду, акробат, боксёр (занимается тем видом, где результат фиксирует не точный прибор, а глаз арбитра), то с детских лет он слышит разговоры о «необъективном судействе». Он действительно сталкивается с таким судейством и постигает на собственном опыте, что для победы спортивного мастерства бывает недостаточно.

Если он — теннисист, борец, фехтовальщик, то усваивает, что на спорте можно подзаработать, и чем выше спортивный разряд — тем больше. Не все соперники столь умелы, как ты, а повисить разряд кто не мечтает. Поэтому: ты мне — деньги, я тебе — победу. В Ленинграде я знал мастера спорта по настольному теннису, которого охотно приглашали на различные турниры, потому что он продавал «мастерские баллы»... А сколько брзцов ложатся, как говорят, под соперника, чтобы заработать деньги! — имя им — легион.

Если он — лыжник, то обязан побеспокоиться, как достать (не купить — достать, в продаже не бывает) дефицитные импортные лыжи — не на советских же «досках» бегать! — как перекупить дефицитные мази.

А тренер детской секции! О, быть детским тренером — редкое искусство. Работа тренера — это постоянная гонка за кубками, медалями, грамотами, потому что оценкой педагогического таланта тренера являются исключительно призы. В гонке за победами тренеры ничем не брезгуют.

Самый распространенный способ добиться успеха — изменить год рождения в метрике ученика. Еще лучше — раздобыть ему новую метрику. И выигрывает «четырнадцатилетний» у своих «ровесников» — тренер руки потирает. Ни одна Всесоюзная спартакиада школьников (своего рода советские олимпийские игры детей) не обходится без скандалов, связанных с победами великовозрастных детей. Но ловят не всех. А не пойманный, простите уж, не вор.

Еще один путь к победе — выставить Иванова под фамилией Петров. Незачем менять метрику, незачем что-то исправлять в ней...

В такой-то спортивной атмосфере произрастают онищенко. Когда же они попадают в сборные, у них ничего святого не остается. Они впитывали яд годами, они и о других судят по себе.

— Вы знали, что на чемпионат Европы можно брать ребят не старше 1953-го года рождения? — спросил я в 72-м году у тренера юношеской сборной по баскетболу.

— Конечно, знал.

— Но Виктор Викторов родился в пятьдесят втором, а вы его включили в команду.

— Все так делают, — ответил тренер убежденно. Функционер советского спорта, он ни секунды не сомневался, что подлогами занимается каждый.

Вот так-то «куются победы»!

Припоминаю историю, рассказанную арбитром международной категории по баскетболу. Меня эта история поразила — своим цинизмом, надругательством над спортивными идеалами. Еще больше поразило то, что в тоне рассказчика было не осуждение, нет! — было восхищение, почти что зависть: жаль мол, не я — другой решился на подобное.

— Вы, конечно, знаете, что на хоккейных чемпионатах мира разыгрывается приз «справедливой игры», — рассказывал арбитр. — В одном чемпионате на приз претендовали наши и шведы. Перед последней игрой шведские хоккеисты имели меньше штрафных минут. Последний матч шведов проводил Юрий Карандин... Начался матч, минута шла за минутой, а шведы играют себе «чисто», без удалений... После первого периода к Карандину подошел Тарасов и сказал... — тут рассказчик сделал паузу и оглядел слушающих, желая удостовериться, что все они представляют старшего тренера сборной Тарасова; удостоверившись, продолжал: — Анатолий Владимирович сказал: «Как судишь!» Карандин молчал. «Как судишь!» — грозно повторил Анатолий Владимирович... В следующем периоде Юра на пустом месте вlepил шведу пятиминутный штраф, а когда тот недоуменно развел руками, Карандин вlepил ему десятиминутное наказание — за пререкание с арбитром... Приз «справедливой игры» получили наши. Каждому хоккеисту достались часы «роликс».

Я не был свидетелем беседы, которую проводил Тарасов, не мог им быть и бравый баскетбольный арбитр, но, зная закулисную спортивную кухню, где поварами выступают советские тренеры и судьи, я не сомневаюсь в правдивости этой истории. Цель, считают они, оправдывает средства, а цель — любыми способами доказать превосходство «нашенской» системы... Ну, а в каких спортивных обществах лучше всего

готовят к победам? Даже беглое знакомство со справочниками показывает: львиная доля всех наград достается армейским и динамовским (КГБ и милиция) спортсменам.

Сильнейшие хоккейные команды? ЦСКА и «Динамо» (Москва)... Лучшая баскетбольная команда? ЦСКА... Футбольные? Динамовцы Киева, Тбилиси и Москвы... Волейбольные? У женщин — московское «Динамо», у мужчин — ЦСКА... На Олимпийских играх, с 52-го по 76-й год, армейцы и динамовцы завоевали для советских сборных больше золотых медалей, чем спортсмены всех других обществ.

Влачит полунищенское существование «гордый» «Буревестник» — студенческое общество, объединяющее сотни тысяч спортсменов. Не лучшие дела у «Спартака», «Труда», «Локомотива», «Авангарда». Талантливых спортсменов из профсоюзных обществ мобилизуют в армию, чтобы они не службу проходили — победы на стадионах ковали. В каждом военном округе созданы специализированные спортивные дивизии, где тренируются, тренируются, тренируются воины — спортсмены-«любители».

Несовместимая с олимпийскими идеалами милитаризация проникла во все поры советского спорта. Подобного феномена не знала даже гитлеровская Германия. Полагаю, что фашистам просто времени не хватило.

...Вот в такой-то обстановке и растут будущие онищенко. В повседневной жизни они по поводу и без повода повторяют олимпийский девиз: «Главное — не победа, а участие в соревнованиях!» Но они-то знают: что — главное. Они твердо усвоили, что за участие не получишь квартиру, орден, машину вне очереди, что участие не гарантирует материального благополучия ни тебе, ни детям твоим. Блага причитаются только за победы.

Американская радио-телевизионная компания Эн-Би-Си заплатила Мехико-Сити 4,5 млн. долларов за право трансляции XIX Олимпийских игр. XX Олимпиада обошлась той же компании в 13,5 млн., а XXI Игры — в 25 миллионов... «Более чем за три года до церемонии открытия XXII Олимпийских игр Советский Союз и Эн-Би-Си установили первый рекорд Московской Олимпиады — 85 миллионов долларов», — прокомментировала «Нью-Йорк таймс» невиданную в истории спорта сделку. Правда, советская сторона запрашивала 100 миллионов, сошлись, однако, на 85-ти.

Советский Союз нуждается в деньгах. В твердой валюте. И чем солиднее дозы долларовых впрыскиваний, тем лучше. Но — не меньше, чем в деньгах, Советский Союз нуждается в пропаганде «светлой и счастливой» жизни. И американское телевидение окажет Советскому Союзу великую услугу.

Помните геббельсовское: «Будущее Рейха зависит и от того, с каким чувством покинут его наши гости».

«Гости Олимпиады уносят благоприятное впечатление о Рейхе» — это «шапка» через всю страницу «Нью-Йорк таймс» (16 авг. 36-го).

В самом деле: поражающий чистотой город... обходительнейшие гиды... бесперебойная работа всех олимпийских служб...

Антисемитизм? Полноте! Выходят себе мирно две еврейские газеты. В немецкой сборной — спортсмены-евреи: барьеристка Хелен Майер и член команды по хоккею на траве Руди Белл. Почему только двое? Но сборные комплектуют по спортивному принципу — не по национальному... Да, да, был досадный эпизод — не пожал фюрер руку победителю соревнований по прыжкам в высоту — американскому негру Корнелиусу Джонсону, покинул ложу перед самым награж-

дением. Но фюрер — человек государственный, могли быть у него неотложные дела. Не так ли?

И уносили гости благоприятное впечатление о Берлине и Рейхе.

А что знали об Играх те, кто не был в Берлине? Им доставались газетные отчеты и рассказы очевидцев. Как доставало Геббельсу телевидения! Весь мир увидел бы улыбки счастливых немецких граждан! И какие захватывающие интервью могли бы дать Хелен Майер и Руди Белл — разъяснили бы они всему миру, что об антисемитизме в Германии говорят и пишут только недруги Рейха...

Далеко шагнул технический прогресс. В 80-м году мир убедится — спасибо Эн-Би-Си! — что на Земле нет лучше города, чем Москва, и что социализм — самая справедливая система. О дружбе народов смогут рассказать фехтовальщик Андрей Лукомский (еврей), штангист Давид Ригерт (немец), легкоатлетка Вильгельмина Бардаускене (литовка)... Конечно, не расскажет Вильгельмина о тех литовских спортсменах, которых не включали в сборные только из-за того, что их отцы и старшие братья вели в конце сороковых-начале пятидесятых годов партизанскую войну с советскими оккупантами... Никто не сможет рассказать, что Рашида Абелянова не могли включить в сборную по баскетболу только потому, что он — крымский татарин... Впрочем: сборные комплектуют по спортивному принципу — не по национальному...

Да, благодаря Эн-Би-Си мир увидит, каких гигантских успехов достигла страна советов. И не надо платить денежки за олимпийскую путевку — включил телевизор и — наслаждайся!

«В нашем контракте нет ничего, что бы указывало, что мы не будем иметь полной свободы», — сказал Чет Симмонс, глава спортивной редакции Эн-Би-Си.

Пошел кролик в пасть удаву.

15-го марта 63-го года московское бюро Эн-Би-Си было закрыто, а корреспонденту Франку Боургхольтцеру приказали покинуть пределы гостеприимной советской страны. Причина? Два фильма, снятых Эн-Би-Си: один — о смерти Сталина, второй — о карьере Хрущева. Только через два года московское бюро вновь открыли.

2-го июля 74-го года советские теле-власти прервали трансляцию репортажа, подготовленного корреспондентом Эн-Би-Си и включавшего интервью с академиком А. Д. Сахаровым.

Оба эти эпизода, возразят мне, из доисторической эпохи взаимоотношений Советского Союза и Эн-Би-Си, когда еще не был заключен 85-миллионный контракт... Ничего другого не остается, как привести пример по свежее.

28-го августа 78-го года московский корреспондент Эн-Би-Си Джин Пелл решил проинтервьюировать у выхода из Лефортовской тюрьмы своего соотечественника Фрэнсиса Кроуфорда, которого советские власти обвинили в спекуляции валютой. Намерениям Джина Пелла не суждено было осуществиться: люди в штатском отобрали у него журналистское удостоверение и не разрешили беседовать с Кроуфордом.

«Чернить» нашу советскую действительность никому не положено. А кто посмеет — того к суду привлекут, как корреспондентов «Нью-Йорк таймс» Крэйга Уитни и «Балтимор сан» Хола Пайпера. Что есть правда, а что ложь, знают только представители всепобеждающей марксистско-ленинской философии. Другим не дано... К другим, разумеется, относятся и корреспонденты Эн-Би-Си... И не с критиками советского режима будут беседовать в 80-м году американские телевизионщики, а с мастерами спорта, числящимися — по совместительству — инженерами да сталеварами... И останутся ли к 80-му в Москве крити-

ки! Есть еще время: одних — в ссылку, других — в эмиграцию. Тем же, кто останется, влепят по пятнадцать суток — за «мелкое хулиганство». Чтобы не отравляли во время Олимпиады чистый московский воздух. Опыт, кстати сказать, имеется: в дни никсоновских визитов в Москву, в 72-м и 74-м, многих инакомыслящих упрятали в каталажку...

Кого не захочет увидеть советская власть, тому попасть в Москву будет трудно. Своим путем закрыть просто: в столицу пустят только обладателей олимпийских путевок — «передовиков соцсоревнования», комсомольских активистов, отличников учебы. С чужими, буржуазными, разобратся сложнее, но и с ними разберутся. На предыдущие Олимпийские игры приезжали все, кому хотелось. Никаких ограничений, ни для кого. И в Берлин? Да, и в Берлин... Выставляя свою кандидатуру, Москва заверяла: двери открыты всем. Потом подули иные ветры.

В начале 77-го года Москва устами ответственного секретаря олимпийского Оргкомитета А. Гресько* объявила: «Вряд ли удастся удовлетворить просьбы всех желающих приехать в это время в Москву. И поэтому по традиции Олимпиад каждой стране будет установлена квота» (газета «Труд», 4-го января)... Но традиция не ограничивает числа туристов, а только вводит квоту на распределение билетов на стадионы и в спортивные залы.

5 мая (а это — день печати в Советском Союзе) «Советский спорт» обрадовал журналистов: «Прежде не существовало ограничений количества аккредитируемых журналистов на Олимпийских играх... И в Инсбруке и в Монреале их оказалось больше, чем участников соревнований. Само по себе это неплохо. Однако появилась опасность, что пресс-служба будет гро-

* Александр Гресько был агентом КГБ в Великобритании и в 1971 г. в числе 105 советских шпионов выслан оттуда.

моздкой и недееспособной, а расходы на нее станут непосильными».

И? И — МОК утверждает численный состав корреспондентского корпуса, предложенный советскими товарищами.

Дальше — больше. Газета американских коммунистов «Дэйли уорлд», получающая деньги и информацию из одного, кремлевского, источника, довела до всеобщего сведения (9 февраля 78-го): «Советский Олимпийский комитет попросил МОК не допускать недружественных корреспондентов в Москву, так как эти корреспонденты отравляют «дух мира и дружбы между народами и нарушают принципы олимпийского движения».

Итак: разобрались с туристами, с корреспондентами. Наступила очередь спортсменов.

В начале 78-го года заместитель председателя Спорткомитета В. Ивонин сообщил, что установлена квота для участия иностранных атлетов в предолимпийской неделе, которая пройдет, по традиции, за год до Олимпиады. «Мы пригласим две тысячи спортсменов», — сказал В. Ивонин. Однако он отказался ответить на вопрос, будут ли приглашены спортсмены Израиля и Тайваня, заметив, что из-за рубежа смогут приехать лишь «беспорные звезды». Кто «звезда», а кто — нет, определяют, разумеется, московские товарищи.

А летом этого же года организаторы Балтийской парусной регаты не пустили в Таллин спортсменов Бельгии, Израиля, Ирландии, Чили. Таллинские соревнования рассматривались яхтсменами как один из этапов подготовки к Олимпийским играм. Именно здесь намечено провести парусные состязания XXII Олимпиады, и Таллин, как и Москва, назван олимпийским городом.

В Берлин и в немецкий город Гармиш-Партенкирхен (здесь в 1936 были Зимние Олимпийские игры)

доступ был свободным для всех. Были в Берлине и советские журналисты, хотя к тому времени Сталин и Гитлер еще не успели заключить договора о разделе мира... Информация, передаваемая из Берлина, никакой цензуре не подвергалась, и на страницах фашистской печати не опровергали «досужие домыслы» корреспондентов других стран. Возвращаясь же к Московской Универсиаде и вспоминая, как советские газеты обрушивались на появившиеся в западной прессе критические статьи, можно безошибочно предсказать, что произойдет в 80-м году. В советские газеты наверняка не попадет ни одного слова, бросающего тень на единственно справедливую в мире социалистическую систему.

Чехословацкие газеты подвергли цензуре и «исправлениям» выступление лорда Килланина на сессии МОК в Праге (июнь 77-го). Он имел неосторожность сказать, что «национальные олимпийские комитеты и каждый спортсмен должны быть защищены от правительственных распоряжений». «Правительственные распоряжения» восприняли — и вполне справедливо — как намек на спортивную политику социалистических стран. И исчезли из текста «правительственные распоряжения» — появились... «коммерческие интересы». Перед президентом МОК извинились (виноватым оказался «стрелочник», в данном случае — переводчик), поправок в чехословацких газетах не появилось. Лорд Килланин и члены МОК пилюлю проглотили — сессия продолжалась. Преодолимпийская разминка прошла успешно, очередь за соревнованиями.

А либеральный Запад продолжает подкармливать Москву. Уже и японское телевидение заключило контракт на трансляцию Игр — читай: пропаганду советского образа жизни. И западногерманская (с филиалами во многих странах) фирма спортивного снаряжения «Аидас» подкинула денег. И наш старый знакомый американец Арман Хаммер, встречавшийся

— чем неизмеримо гордится — с самим Лениным, а теперь вот и с Брежневым, закупил за полтора миллиона долларов право распространять монеты и медали с эмблемой Олимпиады... Кто следующий, господа хорошие? Занимайте очередь, чтобы конкуренты не обошли!

«Неужели то, что случилось в Берлине, снова случится в Москве! Неужели Запад снова позволит обмануть себя!» — недоумевает в лондонской «Тайм» (26 июля 78-го) журналист Беверли Николс, писавший репортажи из Берлина.

Увы, дорогой мистер Николс, скорее всего случится.

* * *

В сороковые-пятидесятые годы на всех афишах, анонсирующих матчи футбольного первенства СССР, было напечатано: «Игра состоится при любой погоде». Проливной ли дождь, ураганный ли ветер, снег ли — при любой погоде. В шестидесятые годы эта приписка исчезла. То ли потому, что матчи, заранее запланированные, стали по поводу и без повода переносить на другие дни (еще один пример социалистического планирования), то ли увидели в словах «при любой погоде» какой-то нежелательный намек, так или иначе перестала существовать эта фраза. А зря. Во всяком случае, сегодня ее следовало бы вспомнить и широко использовать. Использовать на рекламных проспектах XXII Олимпийских игр, на плакатах, сувенирных медалях, монетах и марках и даже — вношу предложение в МОК — на медалях, которые получат призеры будущей Олимпиады.

«Коричневая» погода не помешала проведению XI Олимпийских игр. Судя по всему, и «красная» погода не будет помехой.

Но не всегда же торжествовало зло. Спортивный мир знает примеры достойного ответа тоталитаризму.

После подавления советскими войсками Венгерской революции Олимпийские комитеты Нидерландов и Швейцарии не послали свои команды в Мельбурн на XVI Олимпийские игры.

Через двадцать лет Международная федерация гандбола в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского Договора отменила чемпионат мира для женских команд, который должен был проходить в Советском Союзе.

Зимой 69-го года Норвегия отказалась проводить чемпионат мира по хоккею с мячом, потому что в этом турнире собиралась участвовать советская сборная. Той же зимой первенство мира по хоккею с шайбой перенесли из оккупированной Праги в Стокгольм.

С тех пор погода не прояснялась. Односторонняя разрядка — а какой еще она могла быть? — не принесла потепления. Наоборот — климат похолодал. Так что же, и в самом деле «игра состоится при любой погоде»?

...Свыше четырех десятилетий минуло со времени XI Олимпийских игр. Сколько берлинцев осталось в живых из того миллиона, что стояли сплошной стеной вдоль пути следования факела с олимпийским огнем?

Что случилось с мальчиками из «гитлер-югенд», которые пели задорные песни, приводя в восхищение приехавших в Берлин туристов?

В какие могилы легли немецкие спортсмены, возлагавшие в тридцать шестом году венки на Могилу Неизвестного Солдата?

Олимпийские игры 40-го года отменила война.

А что будет с Олимпийскими играми 84-го — орвелловского — года?

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 3-й СЕССИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ САХАРОВСКИХ СЛУШАНИЙ
ОБРАЩАЕТСЯ К КАЖДОМУ, КТО:**

1. Когда-либо принимал участие в советском судебном (уголовном или гражданском) процессе в качестве судьи, секретаря суда, народного заседателя, защитника, обвинителя, свидетеля, подсудимого, истца или ответчика.
2. Когда-либо подвергался принудительному помещению в психиатрическую больницу не по решению суда.
3. Работал в органах Министерства внутренних дел СССР или союзных республик, в органах прокуратуры, был членом коллегии адвокатов или участвовал в деятельности народных дружин по охране общественного порядка.
4. Избирался в Советы депутатов трудящихся или работал в их исполнительных комитетах.
5. Обращался когда-либо в суд, прокуратуру или в любые советские и государственные органы с жалобами на неправомерные действия властей, с жалобами на нарушение каких-либо своих прав.
6. Когда-либо добивался разрешения на прописку или обмен, по какой-либо причине лишался прописки или жилой площади, или каким-либо образом преследовался за нарушение паспортного режима.
7. Работал на государственных производственных (промышленных) предприятиях (рабочим, мастером, производственным инженером и т. д.), в колхозах или совхозах.
8. Участвовал в работе профсоюзных организаций или обращался в профсоюзные организации с жалобами на нарушение своих прав.
9. После увольнения или ухода с работы пытался найти другую, соответствующую своим интересам или профессиональной подготовке, или любую другую работу.

10. Когда-либо преследовался за «тунеядство».
11. Занимался принудительным трудом в исправительно-трудовом лагере.
12. Был когда-либо условно осужден или условно-досрочно освобожден с обязательным привлечением к труду.
13. Проходил действительную военную службу в строительных частях на сооружении объектов гражданского строительства.
14. Работал в органах социального обеспечения.
15. Работал в городских, районных или ведомственных больницах и поликлиниках.
16. Принимал участие в работе окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в местные или Верховный совет, или по выборам народных судей.

Если это окажется возможным, представитель Исполнительного Комитета будет рад встретиться с Вами и обсудить возможность Вашего участия в очередной сессии Сахаровских слушаний.

Исполнительный Комитет Сахаровских слушаний заинтересован в любой, основанной на личном опыте информации о соблюдении или несоблюдении основных прав и социально-экономических прав советских граждан.

Исполнительный Комитет просит Вас прислать предварительную информацию о характере Вашего опыта жизни в Советском Союзе или только сообщить о себе по адресу:

INTERNATIONAL SAKHAROV HEARINGS
20 West 40th St., New York, N. Y. 10018, U.S.A.
Tel: (212) 921-0939

Литература и время

Станислав Баранчак

ПЕРЕВОДЯ БРОДСКОГО

1

Мое постепенное знакомство с поэзией Бродского довольно верно отражает те приключения, которые переживало его творчество в Польше. Первая встреча произошла в середине 60-х годов. Я тогда был желторотым поэтом, студентом младших курсов полонистики. Русский язык незадолго до этого изучил сам, усердно вчитываясь в Пушкина и Чехова: уровень преподавания русского в школе мог только вызвать отвращение к нему, но меня тогда одолевала амбиция читать великих поэтов в оригинале. Да, к тому же, переводы были увлечением моей молодости, я начал переводить стихи раньше, чем писать: еще в школе — ради самого удовольствия переводить — я мучился над давно переведенными стихами Рильке и Элиота. Следом пришли первые попытки переводить и русские стихи — те, что и достать можно было, и нравились мне: несколько лирических стихотворений Блока, Есенина, Ахматовой... Стоит ли добавлять, что всё это оставалось на уровне любительства.

Но Бродского я в то время читал не в оригинале, а в чужих переводах. У нас тогда был очень широкий интерес к ленинградскому поэту, особенно разожженный его недавним процессом. Цензура, более бдительная, чем в 56-м году, но всё еще сравнительно либеральная, делала вид, что не знает, в чем дело, — и в польских литературных журналах, начиная с 1963 г.,

время от времени появлялись стихи Бродского в очень неплохих переводах (Анджея Дравича, Евгении Семашкевич, позднее также Виктора Ворошильского и Северина Полляка). Стихи его поражали меня своей особливостью, каким-то новым тоном: они были настолько не похожи на всё, что я читал тогда в «Новом мире» или в «Юности» — журналах, которые я ради изучения языка штудировал весьма старательно, но часто не удерживая зевоты. Конечно, я захотел прочитать Бродского в оригинале. Только где его взять?

Прошло несколько лет, пока мне это удалось. Кстати, совершенно случайно. Знакомый — тоже молодой поэт — привез пачку машинописных страниц из поездки в Москву: самиздатские стихи. Больше всего там было Бродского, и я жадно набросился на его стихи, упиваясь их ни на что непохожестью, еще более очевидной по-русски. Особенно увлекла меня «Большая элегия Джону Донну», занимавшая еще и личностью своего героя: в те годы меня зачаровывало всё барочное и метафизическое, да и в литературе нашей была тогда мода на английских поэтов XVII века. Я схватился переводить, не зная, что уже существует несколько переводов «Большой элегии» (неопубликованных, опубликованных в отрывках или напечатанных в эмигрантской прессе). Было позднее лето 1970 года, когда редакция провинциального журнала «Нурт», где я работал, заранее, как всякий год, готовила ноябрьский номер, посвященный годовщине Октябрьской революции. Главный редактор поморщился-поморщился (он бы предпочел Демьяна Бедного или Евтушенко), но, не очень-то зная «дело Бродского», согласился принять мой перевод «Большой элегии». Номер вышел вовремя, цензура — и она, видно, прозевала — не тронула ни Бродского, ни миниатюр Даниила Хармса, которые к этому случаю мне тоже удалось протащить. Годовщина революции была отмечена несколько странно: абсурдистскими

штучками Хармса и религиозно-метафизической поэмой не так давно осужденного «тунеядца» Бродского... Только несколькими годами позднее, читая книгу Бродского, я с ужасом обнаружил, что в моем переводе не хватает двадцати последних строк: очевидно, в самиздатском тексте оригинала, переходившем из рук в руки, потерялась последняя страница. Что же, с литературой в странах Восточной Европы и такие приключения бывают; вскоре и мои стихи начали ходить в польском самиздате, и мне случалось видывать их еще более поврежденные копии. Можно было бы сказать, что поэзия в наших странах, ускользнув от цензурных ножиц, непременно — хоть и не по злому умыслу — будет поковеркана неконтролируемым самиздатским распространением. Лучше уж это второе.

Только раз и удалось мне напечатать перевод из Бродского, прямо накануне символического для польской истории декабря 70-го года. После декабря в нашей культурной жизни, правда, наступила кратковременная оттепель, но как раз для Бродского пришли плохие времена — цензура явно больше не могла притворяться, что она не знает, о ком идет речь. И начался второй этап присутствия поэта в польской литературной жизни, присутствия — особенно с момента эмиграции — почти исключительно потаенного. Крайне редко кому-нибудь удавалось пробить в печать что-то из старых, уже опубликованных переводов (напр., в «Антологии современной русской поэзии» Домбровского, Мандаляна и Ворошильского); новые переводы уже не могли увидеть свет. А я, как назло, тогда и добрался, благодаря знакомству с некоторыми переводчиками Бродского, до его стихов, изданных за границей. К примеру, приложив долгий труд, хотя, разумеется, с огромным наслаждением, я перевел два больших стихотворения: «1972» и «Бабочку» — и всё зазря. Один журнал принял было «1972», потом отказался от этого намерения: дело выглядело незна-

дежным, редакции было ясно, что Бродский «не пройдет». А «Бабочка» в другом журнале была уже почти напечатана — в последний момент ее сняла цензура. «Бабочку», стихотворение о жизни, смерти и красоте, в высшей степени постороннее вопросам истории и политики! Это был знак, что запрещено само имя поэта.

В последние годы, думаю, начался новый, третий этап присутствия русского поэта в польской литературной жизни. Ибо в самой этой жизни начался новый этап. Цензурное давление во второй половине 70-х годов стало столь безжалостно абсурдным, что литература стала искать новые пути к читателю. Серьезно расширился самиздат. Авторы, живущие в Польше, всё чаще и без псевдонимов публикуют книги в эмигрантских издательствах. Быть может, важнейшее событие — возникновение независимого и неподцензурного литературного журнала «Запис». Сейчас, когда я это пишу, готовится к выходу четвертый номер «Записа», где будут несколько моих переводов из Бродского и статья о поэте. Очерк в «Записе» предназначен для польского читателя и информирует о самом основном: о том, кто такой Бродский, каковы были ухабы его жизни (мои друзья несколькими годами моложе не помнят ленинградского процесса и не отдают себе отчета в том, что значил приговор судьи Савельевой для дальнейших судеб литературы в СССР), как развивалось его творчество. Полагаю, что русскому читателю всё это известно куда лучше. Для него существенно интересней — так я, по крайней мере, предполагаю — ответ на вопрос, почему сегодня в Польше мы так захвачены Бродским, с каких точек зрения подходит к его творчеству польский читатель, что находит в Бродском и чем обязан ему переводящий его польский поэт. Поэтому для «Континента» я пишу не столько о самом Бродском, сколько о механизмах его восприятия в

Польше — во всяком случае, о тех, что существенны для меня как читателя, поэта и переводчика в одном лице.

2

Сначала попытаюсь ответить на самый общий вопрос: что делает Бродского столь интересным для польского читателя, для кого-то, кто ради одного читательского любопытства и удовольствия следит за современной русской литературой?

На это можно бы найти не один ответ, но все они, думаю, с разных сторон указывали бы на одно и то же: на бросающуюся в глаза *независимость* и *особливость* Бродского на фоне поэзии, создаваемой сейчас за нашей восточной границей, да, пожалуй, и на фоне поэзии русской эмиграции. Он отличается, прежде всего, пониманием целей и истоков поэзии. В легенду вошел ответ молодого Бродского на вопрос судьи Савельевой о том, кто ему дал право называться поэтом: «Думаю, это... от Бога...» Эта несмелая реплика полна силы, характерной для ключевых моментов развития литературы того или иного народа. Я не говорю даже о религиозном содержании этих слов, столь поразительном в зале советского суда. Важнее, что ответ Бродского был, пожалуй, первой столь открытой декларацией независимости поэта от государственной власти. Тоталитарное государство считает своей собственностью любого гражданина, в том числе и поэта; оно сурово карает не только своих врагов, но и тех, кто просто стоит в стороне и живет своей жизнью, не присоединяясь к массовому лицемерию. Как правильно написал Солженицын (в «Жить не по лжи»), само это неприсоединение есть акт свободы и сопротивления против тирании — тоталитарная система пала бы в одно мгновение, если бы такая по-

зиция стала всеобщей. А литература, а поэзия прежде всех обязана принять такую (по крайней мере, такую!) позицию. Писатель — если он обладает хоть каплей внутренней честности — лучше других знает, что существует кесарево и существует Богово, но что писательский талант, писательская совесть не выдаются государством и ничем кесарю не обязаны. В этом смысле фраза Бродского на фоне советской литературы середины 60-х годов — я имею в виду литературное поколение, вступившее в жизнь в послесталинскую эпоху, — была поразительно новой. Сама позиция независимости, разумеется, не была исключительным свойством только автора «Большой элегии», но в своем поколении он, насколько мне известно, первым поставил вопрос так четко: творчество поэта — только его владения, и никакая власть не имеет права в него вмешиваться.

Но независимость поэта от государственной власти — это всё еще вопрос внешний. Значительно важнее, видимо, то, что она последовательно и верно находит выражение в самом творчестве Бродского. Позволю себе сказать банальность: для польского читателя появление подобной поэзии в литературе наших восточных соседей было шокирующим сюрпризом. Возможно, русский читатель, хорошо ориентированный в подводных течениях и новейших поэтических устремлениях, замечал в свое время потаенные явления, которые предвещали Бродского. С нашей точки зрения всё выглядело иначе. Для тех, кто узнавал русские литературные новинки, главным образом, из переводов, многочисленных, но, естественно, фрагментарных, русскую поэзию середины шестидесятых годов представляли Евтушенко и Вознесенский, в наилучшем варианте — Айги. А Бродский с самого начала не имел с ними ничего общего. Даже с Айги — поэтом тоже независимым, смело идущим своим путем, но отыскивающим себя в соотнесении с западноевропей-

ским авангардизмом. Бродский же, напротив, поражал обращением к европейской *традиции* — но образцы для его обращения трудно было отыскать в предшествующих поколениях, не говоря уж о поэзии его ровесников. Другими словами, он казался в кругу современной поэзии художником наиболее традиционным, но то, как он понимал традицию, одновременно делало его поразительным новатором.

Я, иностранец, — дилетант в истории русской поэзии, и то, что хочу сейчас высказать, наверно, будет принято как колоссальное упрощение или трюизм. Тем не менее, не могу не попытаться объяснить свое представление о месте Бродского в его отечественной традиции, пусть это не будет ни слишком точно, ни оригинально. Кажется мне, что русская поэзия XX века — точнее, со времени упадка символизма — развивается как бы двумя путями, оперирует двумя различными, если так можно выразиться, типами дикции: песенно-лирической (линия Есенина) и декламационно-риторической (линия Маяковского). Каждый тип связан с определенной стилистикой, с определенным «исполнением» (интимно-камерным или эстрадно-митинговым), с определенной формой социального функционирования. Поэзия же Бродского далека как от первого, так и от второго типа дикции. Если у него есть в этом отношении предшественники, то разве что — в самом общем смысле и с учетом многих существенных различий — Мандельштам, отчасти Заболоцкий. Однако он первый, как мне кажется, столь решительно оторвался от этих двух противоположных вариантов поэтической речи и создал собственный тип дикции: интеллектуально-дискурсивный. В стихах Бродского дело не столько в том, чтобы создать музыкально-лирическое настроение или вызвать агитационно-риторический результат, сколько в таком построении поэтического высказывания, чтобы оно читалось, прежде всего, как череда взаимосталкивающихся

идей и концепций. (Потому-то он, пожалуй, единственный из выдающихся современных русских поэтов, чьи стихи ничего не теряют в *тихом* чтении, в то время как тексты и «певцов», и «ораторов» обретают полноту выражения, как правило, только при чтении вслух.) В этом смысле специфический классицизм Бродского больше обязан английским метафизикам XVII века, нежели непосредственным отечественным предшественникам.

3

Произнесено слово: классицизм. Самое время перейти к ответу на второй вопрос: почему заинтересовался Бродским польский поэт, почти его ровесник (на шесть лет моложе), но в поэзии вроде бы совсем на него не похожий? Прибавлю, что такой вопрос мне в Польше задавали не раз. Например, об этом спрашивали на поэтических вечерах слушатели, которым я читал переводы из Бродского и которые более или менее ориентировались в характере моей собственной поэтической программы. Особые споры возбуждал обычно вопрос о классицизме, поскольку в своей первой литературоведческой книге «Недоверчивые и самонадеянные» (1971) я с большим пылом атаковал классицистические тенденции в молодой польской поэзии. Как согласовать одно с другим? Классик Бродский должен — теоретически — быть мне чуждым.

Дело-то в том, что слово «классицизм» в применении к поэзии имеет не одно значение. Этих значений много даже тогда, когда мы оставляем в стороне чисто исторический термин (течение, предшествовавшее сентиментализму и романтизму), а сосредотачиваемся на смысле универсальном и свойственном различным эпохам. В таком понимании классицизм может означать, прежде всего, определенный стиль

мышления — строго рационалистический, чуждый всякой метафизике и таинственности, ясный и однозначный, неприязненный по отношению к сложности, парадоксу, гротеску, иронии. Легко заметить, что с таким классицизмом Бродский не имеет ничего общего. Он скорее дитя Барокко, чем Просвещения: говоря, что он «заражен... классицизмом трезвым», поэт — не без самоиронии — больше выражает некоторый свой идеал, нежели действительное состояние духа. По существу, это поэт, терзаемый метафизическими загадками, ощущением абсурдности человеческого существования, оттого и мысли его развиваются через столкновение парадоксов, через иронические диссонансы, антитезы и не разрешенные до конца вопросы.

«Классицизм» может также означать в поэзии своеобразную абстрактность образной системы и языка: оторванность от заземленной исторической конкретности, интерес скорее к самым общим проблемам, для которых пригоднее кажется язык мифологически-аллегорический, а не прямое и конкретное именование. И снова — такой классицизм Бродскому не приклеишь (если забыть о некоторых ранних стихах, в плену у античной мифологии копирующих средиземноморские жанрово-стилистические образцы). Наоборот — в своем зрелом творчестве он вступает в круг тех поэтов, которые, по выражению Чеслава Милоша, тоже слывущего классиком, знают: «...то, что чисто и вечно, реализуется лишь в брэнном и временном». Лучшие стихи Бродского вырастают из конкретного, привязанного к месту и времени опыта — и только на этой основе выстраивают метафизическое или историософское видение. Поэма «Остановка в пустыне» — это же в начале детальное, почти репортерское описание сноса греческой церкви в Ленинграде, и лишь под конец событие вызывает серию более общих вопросов о духовной дегенерации общества. «Два часа в резервуаре» лишь на первый взгляд говорит о вне-

временном фаустовском мифе: всё решает постепенно конкретизирующаяся точка зрения рассказчика, которым оказывается наш современник, к тому же, русский, размышляющий над историей Фауста под грохот совхозного трактора. Великолепный «Мексиканский дивертисмент» — поэтическая рефлексия о вечно обращающемся колесе истории человечества, но в то же время поэма о звуках, красках, запахах экзотического края — глазами нынешнего туриста, пришельца с другой стороны земного шара. Даже в таких произведениях, как «Большая элегия», точка зрения остается конкретной (несравненная материальность вступительного описания хозяйства Джона Донна!) и исторической, хотя и отнесенной в далекое прошлое. Бродского интересуют — это верно — фундаментальные проблемы человеческого существования: любовь и смерть, краткость жизни и что из этой жизни человек делает, место рода человеческого на границе мира природы и мира культуры, смысл и бессмыслица нашего существования на земле. Не без глубоких оснований был избран эпитафия из «Короля Лира» к сборнику «Остановка в пустыне»:

... Men must endure
Their going hence, even as their coming hither.
Ripeness is all.

Но, повторим еще раз, эти общие проблемы рассматриваются в том конкретном воплощении, каким является отдельная человеческая судьба: будь то библейский Исаак, или английский поэт три века назад, или вспоминаемый спустя годы одноклассник. При всей метафизической глубине и интеллектуальной усложненности, стихи Бродского полны материально-исторической конкретности. Особенно это относится к поэмам, написанным в эмиграции (замечательная «Колыбельная Трескового Мыса»), где дополнительным истоком поэзии становится ситуация пришельца

из Восточной Европы, «вброшенного» в мир американских реалий.

Вернемся к дальнейшим значениям слова «классицизм». Третье из них, кажется, имеет с Бродским больше всего общего. Под классицизмом поэт XX века может понимать еще и определенное отношение к традиции. В этом смысле классицизм — полярная противоположность всякому авангардизму, а тем более таким течениям, как футуризм, в свое время требовавший сжечь библиотеки и музеи и начать культуру заново. И в России, и в Польше мы теперь хорошо знаем, что приносит такое «начинание заново» в области культуры, которая как-никак является преемственным опытом человечества, и преемственность эту нельзя просто разорвать, отвергнуть или уничтожить. Потому-то, думаю, особенно в восточноевропейских культурах, опустошенных и обескровленных наступлением тоталитарного варварства, обращение к традиции сегодня бывает не просто одной из многих художественных мод, но глубоко значимым гуманистическим жестом. Именно таков случай Бродского: если в своих стихах он говорит с Джоном Донном, то это не знак мимолетного увлечения старинным поэтом, но декларация принадлежности к европейской культурной традиции.

Однако само обращение к традиции может принимать самые различные формы. Это особенно заметно в современной польской поэзии, где мы имеем дело с двумя совершенно разными поэтическими «школами», несправедливо заработавшими у критиков одну и ту же этикетку «классицизма». Первую, лучше всего представленную интереснейшим творчеством Ярослава Марека Рымкевича, — можно было бы назвать «утверждающим классицизмом». Это творчество исходит из уверенности, что вся европейская культура остается нашим актуальным наследством, что в ней нет ничего подобного устарелому, не при-

годному для сегодняшних явлений прошлому; прошлое, настоящее и будущее, утверждает Рымкевич вслед за Элиотом, в культуре остаются одним и тем же и существуют одновременно. Естественно, что основным творческим методом этой школы становится имитация — как можно более совершенное подражание прежним поэтикам.

Такого рода творчество тоже нужно — как один из элементов, составляющих панораму современной поэзии. Но куда более широкие перспективы открывает вторая школа, представленная у нас, в первую очередь, художниками такого уровня, как Чеслав Милош и Збигнев Херберт, — ее можно было бы назвать «скептическим классицизмом». В ее основании лежит один особый парадокс: тот факт, что современный человек одновременно наследует и не наследует многовековые европейские гуманистические традиции. Наследует, ибо только обращение к этим традициям позволяет ему осознавать свои духовные корни, отыскивать образцы общечеловеческих ценностей, восстанавливать расшатанную веру в возможности рода человеческого. Не наследует, ибо как раз двадцатый век принес с собой такие радикальные испытания, что прежние представления о сущности человеческой природы, прежняя модель человеческой культуры поставлены под сомнение. Человек, за плечами которого пережитый или хотя бы осознанный опыт концлагерей, показательных процессов, массового уничтожения целых народов, массового порабощения духа целых поколений, — уже не может сегодня просто имитировать Горация или Расина. Он обязан возвращаться к ним, обязан возвращать жизнь мифам и извечным путеводным ниточкам нашей культуры, но с новой точки зрения: с точки зрения человека, который живет в двадцатом веке, в тени массового уничтожения, несвободы и лжи. Столкновение этих двух сфер опыта

порождает основной творческий метод «скептического классицизма»: иронию.

Бродский в современной русской поэзии представляется мне именно таким «скептическим классиком». Подобно Мандельштаму, который в Воронеже по своему производил драматическую переоценку средиземноморской традиции, Бродский принимает традиции европейской культуры только затем, чтобы заключить их в своего рода кавычки. Он обращается к ним, но для того лишь, чтобы тем яснее осознать, какое расстояние отделяет его, человека XX века и гражданина (теперь уже бывшего гражданина) тоталитарного государства, от классического образа мира. Отсюда и идет ирония — из выявления этих духовных противоречий.

Бродский, однако, старательно отделяет иронию от куда более легкого поверхностного «сарказма» — позиции, в его глазах бесплодной и мало что объясняющей. Сарказм не способен преодолеть и раскрыть все тайны человеческой жизни, а особенно главную из них — смерть. Иначе говоря, позиция бесплодного саркастического отрицания достаточна лишь для того, чтобы справиться с экзистенциальными проблемами в практическом мире общества и истории, но оказывается плохим инструментом познания, когда в игру входят более универсальные загадки и парадоксы, из которых складывается наше существование. Тут единственно достойно человека — принять к сведению наличие этих неразрешимых загадок, признать парадоксальность жизни: это и есть шекспировская «зрелость». И тогда оборотной стороной иронии оказывается вера. Но вера парадоксальная, возникающая, когда, полностью сознавая всю ограниченность и несчастье человеческого существования, обнаруживаешь в нем смысл.

Именно таков классицизм Бродского: не только «светлый», но и сознающий присутствие тайн; не

только метафизический, но и касающийся земли; не только верный традиции, но и скептический по отношению к ней. И поэтому он так близок мне как поэту — хоть мне самому этикетка «классика» не слишком подходит.

4

Остается еще один вопрос. Я мог бы восхищаться Бродским просто как читатель и поклонник русской поэзии, мог бы — как поэт другого народа, другого языка и стиля — находить в нем через границы стран, культур и поэтик так называемую братскую душу. От этого все-таки еще далеко до того, чтобы взяться за труд перевода. И вот третий вопрос: что делает Бродского столь притягательным для переводчика?

Ответ снова будет несколько парадоксальным. Мне так хорошо переводить Бродского потому, что он так труден для перевода. Потому, что он так сложен в мышлении, так виртуозен в языке. Конечно, у него есть стихи, написанные языком прозаизмов, репортерски дословным (напр., «Посвящается Ялте»), но как раз они меньше нравятся мне как читателю и менее привлекательны как для переводчика. Важнее для меня тексты — более свойственные Бродскому, — которые ставят перед переводчиком что-то вроде огромной головокружительной головоломки. К ней сначала надо хорошо присмотреться, хорошо в нее вслушаться, обнаружить основные смыслы и главные конструктивные связи. Затем найти стилистический принцип, который делает текст целостным, наделяет его особым, ему только свойственным характером. Тут наступает озарение, но с ним и внезапное сомнение в своих силах: этот принцип обычно так искусен и так последовательно проведен в целом произведении, что передать его на другом языке кажется несусветным.

Первый попавшийся пример: уже цитированное мною стихотворение «Одной поэтессе». Поверхностный взгляд разве что скажет нам, что стихи написаны восьмистрочными строфами с одной и той же схемой рифм: *a-b-a-c-d-b-d-c*. Нелегко, но и не такое удавалось переводить... Присмотримся, однако, ближе к чередке строф: оказывается, дело не так-то просто. Это не обычные рифмы. На сетку нормальных ассонасных созвучий (классицизмом — капризным, сарказмом — разным, железным — трезвым и т. д.), основанных на совпадении гласных, накладывается дополнительная сетка консонансов. Рифмующееся слово «*a*» созвучно не только с другим «*a*», но, к тому же, сходством согласных объединено со словами «*b*» (классицизмом — сарказмом — разным) и «*d*» (классицизмом — железным — трезвым и т. д.). Вот тебе и головоломка! И отказаться от этой второй сетки нельзя: стихи сразу утратят свой неповторимый характер. К тому же — вопрос амбиции: Бродский сумел, а я не сумею? И начинается погоня за рифмами во всех восьми строфах. Погоня изнурительная, зато какое испытываешь удовлетворение, когда обнаруженный принцип поэтической изощренности удается перенести на почву своего языка!

Если уж речь о рифмах, то вот еще пример. Стихотворение «1972»: тут дело опять сложнее обычного, но по другой причине. В лесенке рифм отдельных строф Бродский виртуозно использует созвучия, возможные в таких количествах, вероятно, только в русском языке. В схеме *a-a-a-b-c-c-b* появляются слова с ударением на третьем от конца слоге, рифма обогащается, охватывая три последних слога каждого слова. Затруднения невероятные! В польском же языке почти нет слов с таким ударением, столь распространенным в русском. Как за это приняться? В конце концов я выбрал иной выход, но отнюдь не облегчивший мою задачу: для рифм «*a*» и «*c*» я отыскиваю слова, хоть и «нормальные», с типичным польским

ударением на предпоследнем слоге, но такие, чтоб они давали предельно богатую рифму: созвучие должно охватывать, по крайней мере, три слога, то есть распространяться дальше привычных требований польской рифмы. В обычном стихотворении к слову «*tracitem*» вполне хватило бы рифмы «*mówilęm*», «*byłem*» и т. п. Здесь, в переводе «1972», меня удовлетворяет лишь цепочка «*tracitem — trapitem — trafitem*» — больше, чем рифма, почти каламбур! И снова неслыханно мозольный труд, исписываю поля перевода тройками рифм: «*zawzięciej — zapięciem — zamięcie*», «*poucza — porusza — pokusa*», «*podeszły — podeszły — podeszwy*» и тому подобных. Конечно, всего лишь малая доля всех этих придумок попадет в конце концов в шестнадцать строф польского перевода. Принцип рифмовки различен, ибо различны законы просодии польского и русского языка, — окончательный же результат выглядит, надеюсь, схоже: обогащенная и, к тому же, тоекратная рифма выдвинута на первый план, навязывает большому стихотворению отчетливую конструкцию, не говоря уже о том, что в большинстве строф она функционирует еще и как самостоятельная игра слов, как языковая острота. Если бы я облегчил свою задачу и остановился на «нормальных», не обогащенных рифмах — стихотворение сразу стало бы выглядеть банальным.

Я говорю здесь много (и, опасаясь, для не-специалиста скучно) о рифмах, ибо во многих стихах Бродского они играют исключительно подчеркнутую роль. Но есть и другие специфические черты стиля, опустить которые в переводе было бы столь же роковой ошибкой, а верно передать — столь же трудно. Вот, например, «Два часа в резервуаре», где больше всего бросается в глаза (опять-таки наряду со сложной рифмовкой) нафаршированность текста немецкими и псевдонемецкими макаронизмами: ритм и синтаксис не всегда позволяют дословно скопировать эти герма-

низмы — приходится изобретать замены на свой страх и риск, не забывая о том, чтобы грамотность этих слегка карикатурных выражений была столь же подозрительной, как в ироническом тексте оригинала. Вот, в свою очередь, «Мексиканский дивертисмент», особенно такие его части, как «Мерида» или «Мексиканский романсеро», где переводчик наталкивается на короткие, но насыщенные звуковой инструментровкой, перепадами интонации и многочисленными внутренними созвучиями строки; или другая часть того же цикла, «1867», где необходимо сохранить в стихотворении четкий ритм танго (тем более важного, что именно танго танцуют в начальной сцене император Максимилиан и его любовница). Вот, наконец, «Бабочка», где сквозь узкий коридор строжайше организованных строф надо безошибочно провести философское рассуждение о природе земной красоты, не исказив и не переставив ни одного его звена. И так далее, и так далее... Почти любое произведение Бродского, особенно поэмы и большие циклы, таит в себе подобные ловушки и головоломки — но и трудно найти другого поэта, который приносил бы переводчику столько удовлетворения.

Для одного ли собственного удовольствия стараюсь я передать всё это в переводе? Разумеется, нет. У настоящего поэта нет никаких излишеств, и изощренность, стилистическая усложненность стихов Бродского обоснована скрытыми глубже чертами его поэзии. Будучи «скептическим классиком», Бродский словно бы исповедует принцип, что действительность, при всем своем мнимом абсурде, всегда обладает смыслом и ценностью. Однако, классик скептический и иронический, он не способен поглядеть сквозь пальцы на этот, пусть даже мнимый, абсурд действительности, не способен притвориться, что никакого абсурда нет и в мире царит рациональная упорядоченность. Этот интеллектуальный парадокс находит свое выражение

в концепции поэтического стиля. Когда классическое понимание высшего смысла сталкивается с деструктивными свойствами иронии, на уровне стиля это выявляется в устойчивом парадоксе: структура стихотворения подчиняется некоему строгому организующему принципу, и в то же время всё в стихотворении нацелено на то, чтобы подчеркнуть условность, своеобразную искусственность этого принципа. Например, определенный принцип рифмовки осуществляется с железной последовательностью, но в то же время рифма так демонстрируется, обогащается, подчеркивается, что в какой-то момент мы отдаем себе отчет: сама рифмовка есть чистая условность, навязанная языку поэтом. Бродский словно говорит: мир — это хаос, но, чтобы в нем хоть как-то жить, надо условиться, что это имеет смысл; точно так же и язык — отражение мира — внутренне абсурден, но именно поэтому следует его максимально организовать, обуздать, предельно подчинить некоторым заранее установленным правилам. Отсюда и возникает изобилие всех этих стилистических средств: многократных богатых рифм, игры на созвучиях, каламбуров, ритмической организации, усложненной строфики и т. п., — которые стремятся навязать языковому хаосу упорядоченную структуру, основанную на мнимой родственности, взаимозависимости и симметрии.

Передать всё это верно на другом языке — безусловно, задача не из легких. Не осмелюсь утверждать, что какой-либо из моих переводов, что называется, конгениален, дорастает до оригинала. И все-таки я надеюсь, что смог дать польскому читателю хотя бы самое общее представление о том, на чем основано поэтическое искусство Бродского. Остальное и так остается делом восприимчивости и воображения читателя. Думаю, что, независимо от качества имеющихся переводов, Бродский уже нашел своих польских читателей. Пока что это, может, еще не многотысячные

толпы, но постоянно расширять этот круг — забота наша, переводчиков. И он расширится. Заверяю в этом Вас, Иосиф Александрович, через все материки и моря, что нас разделяют.

В марте 1978 года моя жена Галина Вишневская и я узнали из телевизионной передачи, что мы лишены советского гражданства. Этот акт советского правительства вызвал сильную реакцию протеста свободных людей всего мира, что очень поддержало нас в тяжелые дни нашей жизни.

После этого мы были облиты грязью в советской печати, где не было напечатано ни одного слова правды о нас, чтобы полностью дезориентировать наш народ.

Казалось бы, что нужно еще советскому правительству от нас после этого?

Но господа, управляющие нашей страной от имени народа, на этом не остановились. Теперь они преследуют единственную оставшуюся в Советском Союзе мою сестру. Она более двадцати лет играет в оркестре Московской филармонии и теперь, когда оркестр совершает турне по городам Канады и США, моя сестра была отстранена от репетиций и поездки только за то, что ее брат — я.

Она имеет мужа и двух детей, никогда не помышляла и не помышляет остаться на Западе, была на хорошем счету в оркестре как музыкант и всегда, до лишения меня гражданства, выезжала с оркестром на все гастроли.

Дело значительно серьезнее, чем просто факт невыезда с оркестром за границу. Каждый советский гражданин, которому запрещен выезд в зарубежные страны, является политически не благонадежной личностью, с которой не рекомендуется общаться, и даль-

нейшая жизнь такого человека обречена и профессионально, и морально.

Я не знаю, кому принадлежит пальма первенства в изобретении системы заложников — советскому правительству или террористам, — но эта система хорошо налажена в моей стране.

За то, что я не клеветчу на западную цивилизацию, за то, что я здесь нашел свое музыкальное счастье, за то, что я открыто говорю о несвободе советского искусства, желая этим только добра своей родине, — за все это мне мстят, а теперь заставляют страдать мою сестру, налагая на нее черную печать парии в ее собственной стране, лишая ее законного права на творчество и на работу.

Интересно, как бы реагировали музыканты из оркестров США и их профсоюз на подобный акт дискриминации? Невозможно подобное издевательство и самоуправство ни в США, ни в других цивилизованных странах мира.

Неужели после этого серьезно можно говорить, что в СССР существуют хоть какие-либо права человека, которые отличались бы от прав зверя, загнанного в клетку?

В будущем году в Москве проводятся Олимпийские игры, которые должны символизировать свободу общения между людьми всего мира. В былые времена во время этих игр прекращались даже войны.

Неужели нельзя потребовать от советского правительства прекратить сажать людей в тюрьмы за их убеждения или лишать работы за их родственников?

Мстислав Ростропович

Колонка редактора

Папа Иоанн-Павел II

Избрание польского кардинала Войтылы на Папский престол поразило мир прежде всего своей неожиданностью. Казалось бы, ничто до того не предвещало столь судьбоносного во всех отношениях выбора. Но это только на первый взгляд. Если же ретроспективно присмотреться сейчас к тем процессам и мутациям, свидетелями которых мы были на протяжении последних десяти-пятнадцати лет, то нетрудно убедиться, что решение Ватиканского конклава — лишь их закономерный результат или, вернее, один из этих результатов.

Наши палачи и респектабельные пособники наших палачей, частично пристраиваясь к событиям, вдруг начинают вспоминать о Евангельских заветах, взывая нас к христианской терпимости, прощению, любви к ближнему. К сожалению, до последнего времени многие иерархи католической и православной Церквей были склонны поддаться лукавому соблазну этого гнусного суесловия, начисто забывая о том, что Спаситель завещал нам любить *своего* врага, но не врага *Бога*. В практике же Ватикана и Московской Патриархии все до сих пор обстояло наоборот.

Но логика происходящих у нас на глазах событий окончательно выбивает почву из-под ног у этого противоестественного сговора. Идея универсальности Прав Человека, вынесенная теперь на самый верх человеческого сознания героическими усилиями лучших людей России и Восточной Европы, получила одно из своих достойных завершений в акте избрания польского священнослужителя главой Вселенской католической Церкви.

Выдающийся французский публицист Жан-Франсуа Ревель в своей статье, опубликованной недавно в парижском еженедельнике «Экспресс», не без упрека в адрес западной мысли отмечал, что все сколько-нибудь значительные идеи приходят в современный мир с Востока. Справедливости ради, мне хотелось бы со своей стороны добавить, что, какими бы значительными ни были эти идеи, они едва ли смогли бы утвердиться и получить здесь широкое распространение, если бы Запад оказался сейчас не в состоянии их воспринять и усвоить. К счастью, конвергенция, взаимопроникновение — процесс обоюдный.

В связи с этим я не могу не процитировать слова Александра Солженицына, высказанные им польскому журналу «Культура» по поводу избрания нового Папы: «В большей части благополучного мира христианство испытало развையье, в иных местах — одеревянение. Западные люди во множестве утратили ощущение масштабов жизни и сути ее. Эти масштабы и эту суть принесет в католическую Церковь, как я надеюсь, новый Папа из духовно стойкой Польши, поднявшийся сквозь притеснение христианства у себя на родине. Вместе с католиками восточноевропейских стран мы, русские, глубоко радуемся этому избранию. Мы верим, что оно поможет укреплению нашей общей христианской веры во всем мире, — а только она сегодня и может спасти человечество».

Поистине великим знаменем времени представляется мне на Папском престоле Иоанн-Павел Второй, счастливо сочетающий в себе непокорный славянский дух и решительный римский облик.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОМИТЕТУ БИОЛОГОВ

Прежде всего, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех тех, известных и неизвестных мне лиц, которые ранее уже выступали в защиту моего отца, С. А. Ковалева. В частности, я благодарю профессоров Боша и Львова за участие, принятое ими в судьбе моего отца.

Биолог Сергей Ковалев, отбывший уже 4 года лагерей из 7, назначенных ему по суду, неоднократно подвергался репрессиям уже в лагере. Совсем недавно, 6 ноября, он вышел из внутрилагерной тюрьмы (ПКТ), где пробыл 6 месяцев.

Истощенный физически, он не сломлен морально. И в лагере он отстаивает права — свои и других заключенных, заступает за преследуемых, добивается соблюдения законности. Вот события лишь самого последнего времени:

26 июля Ковалев держал голодовку в защиту заключенного Равиньша;

21 августа он вместе с другими заключенными голодовкой отметил 10-летие оккупации Чехословакии;

14 сентября Ковалев и другие заключенные объявили голодовку и отказались выйти на работу. Основное требование — улучшить питание;

20 сентября многие заключенные, в том числе и Ковалев, объявили днем траура по поводу расправ над группами «Хельсинки». В этот день они держали голодовку;

с 25 сентября Ковалев держал 10-дневную голодовку;

30 октября, в день политзаключенного, многие, в том числе и Ковалев, держали голодовку.

Тяжелые условия лагерной жизни, плохое питание, отсутствие квалифицированной медицинской помощи пагубно отражаются на здоровье заключенных. Я приведу лишь один пример лагерной «медицины». Мой отец болен парадонтозом; этим летом ему удалили несколько зубов.

Эта операция была проделана над помойным тазом, хотя от ПКТ, где это происходило, до лагерной санчасти не более 300 метров. Кроме того, Ковалев страдает гипертонией, его мучают частые головные боли с тошнотой.

С осени 1977 года, когда отец отказался от права переписки, от него не было ни одного письма. Этот его шаг был вынужденным. Письма, которые он писал, конфисковывались, либо их попросту крали на почте. То же происходит с письмами, адресованными ему. Например, от меня отцу не передали ни одного письма, начиная, примерно, с весны 1978 г. Все они были конфискованы, так как якобы содержали «условности». Конфискована даже открытка, состоящая всего из одной фразы: «Помним, любим, целуем», — подписей и примечания о том, что выслано письмо.

В заключение я хочу выразить надежду на то, что выступления с требованиями свободы для Ковалева и в поддержку его общественной деятельности будут продолжаться и впредь.

3 января 1978 г.

Иван Ковалев

119285, Москва, 2-й Мосфильмовский пер.,
д. 14, кв. 72

Адрес С. А. Ковалева:

618263, Пермская обл, Чусовской р-н, пос. Кучино, учр.
ВС-389/36

Критика и библиография

ГРАЖДАНИН БУКОВСКИЙ

Книга Владимира Буковского начинается и заканчивается описанием событий двух неполных суток в декабре 1976 года — от приказа «с вещами на выход» в камере Владимирской тюрьмы до снятия наручников в самолете, пересекающем советскую границу. А затем, еще ощущая боль от этих наручников, — выход в толпу встречающих и корреспондентов всех газет и телекомпаний мира: «Г-н Буковский, каковы ваши планы на будущее?», «Что вы думаете по поводу...?», «Как вы расцениваете...?». *«Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть, или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри»*, — это первая фраза книги.

Но главное содержание ее в том, что перемежает описание этого необычного путешествия из Владимира в Цюрих: в биографических отступлениях, начиная со школьных лет, за которыми почти непосредственно следует первый арест, а потом — психбольницы, лагеря, тюрьмы с тремя недолгими просветами воли, в общей сложности менее четырех лет, и лихорадочная спешка — успеть сделать как можно больше до нового неминуемого ареста...

Как-то не выговаривается об этой книге «мемуары», «воспоминания». Это не дела давно минувших дней, а наша теперешняя жизнь, еще не ставшая историей. Автору едва за 30. Но ему есть о чем рассказать и молодым и старым, потому что жизнь Буковского — это живое свидетельство об удивительном явлении современности, с корявым для русского уха названием «диссидентское движение».

Еще в ранней юности, взглянув окрест себя, Володя Буковский увидел ту же ложь и те же мерзости, которые все мы видим постоянно. Но, не видя, как всякий нормальный человек, возможностей перемен в Советском Союзе, он все-

Владимир Буковский. «И возвращается ветер...», «Хроника», Нью-Йорк, 1978.

таки отказался смириться с выводом, что плетью обуха не перешибешь. Вся его дальнейшая жизнь — итог этого сознательного выбора. Совсем недавно такой выбор не сулил ничего, кроме безвестной гибели. Это же ждало Буковского — если бы он оказался один. К счастью и для него, и для всех нас, он оказался не единственным, а одним из первых. Его книга — первое печатное свидетельство участника и очевидца движения, прошедшего все его стадии, от самых истоков.

Началось с подпольных организаций, преимущественно молодежных. В 50-х годах они росли как грибы. В одной из них оказался 14-летний Володя: *«После того как краснозвёздные танки — гордость и мечта нашего детства — давили в Будапеште наших сверстников, кровавый туман застил нам глаза... Мы, дети социалистических трущоб, готовились как-нибудь поутру расстрелять безразличие и сдохнуть... Мы не планировали создать какой-нибудь новый строй взамен — нам нужен был взрыв, момент наивысшего напряжения, ...когда вдруг по всем улицам Москвы поднимутся НАШИ и неудержимо пойдут на штурм всех Лубянок, партийных комитетов и министерств...»*

Но быстро пришло разочарование. Членство в подпольной организации делало юных бунтарей совершенно безопасными для властей. *«В сущности, мы ничего не делали. Вся наша деятельность состояла в конспирации и вовлечении новых членов. Даже нелегальная литература не распространялась и не рекомендовалось ее доставать»* — чтобы не навести КГБ на след. Взрослый Буковский добавляет к этому: *«...логика всех начинающих примерно одинакова, и танцуют они все от печки, т. е. от истории КПСС... Мы забываем, что большевики работали в условиях свободы для создания тирании, а не наоборот; что существовала значительная свобода печати и свободная эмиграция, а всё руководство сидело в Цюрихе или в Баден-Бадене, ...что вся тайная полиция того времени умещалась в двухэтажном домике, ...что несмотря на это ловили большевиков чуть ли не каждый день. Но никто не давал им за пропаганду 10 лет тюрьмы, а ссылали в ссылку, откуда только ленивый не бежал... Уже в который раз покупаемся мы на коммунистическую пропаганду и забываем, что никакой революции большевики не сделали, а развили свою деятельность только после Февральской революции — в условиях полной сво-*

боды, да еще на немецкие деньги». И твердый вывод для себя: «...к демократии не идут подпольным путем. Нельзя учиться у них, если хочешь быть не таким, как они. Подполье рождает только тиранию, только большевиков любого цвета».

На следующем этапе, кем-то удачно названном «культурной оппозицией», уже переболевший подпольем Буковский оказался в числе первых. В X классе он участвовал в выпуске открытого литературного журнала: *«Наша десятилетняя скука вылилась в довольно ехидную пародию на школьную жизнь, отчасти на советскую жизнь вообще».* За этот журнал, выпущенный «забавы ради», Володя вылетел из школы. Вопреки почти официальному запрету ему удалось поступить в университет. Оттуда его, впрочем, тоже скоро выгнали, но уже за дела посерьезней.

Летом 1958 года, во время открытия памятника Маяковскому, после официальной церемонии стали читать стихи желающие из публики. Начинание это стало повторяться. Получилось нечто вроде клуба под открытым небом, «московский Гайд-парк». Конечно, власти спохватились и вскоре прикрыли эти собрания. Осенью 1960 года Володя и двое его друзей решили возобновить чтение у памятника, в надежде, что после двух-трех раз придут и те, кто собирался тут два года назад и не очень напуган разгромом. Так и случилось. Среди «старичков Маяковки» Буковский нашел друзей и единомышленников. Чтения «на Маяке» привлекали сотни людей. Народ собирался разный — и те, кого интересовало только чистое искусство, и такие, как Буковский, приходившие сюда потому, что в те дни свобода творчества, проблемы искусства и литературы оказались центральными в жизни общества. *«Боролись мы за конкретную свободу творчества, и не случайно потом многие из нас влились в движение за права человека: Галансков, Хаустов, Осипов, Эдик Кузнецов и многие другие — все мы перезнакомились на Маяке».*

В августе 1961 года были арестованы активисты Маяка Илья Бакштейн, Эдуард Кузнецов и Владимир Осипов. Галанскова, Хаустова, Буковского и еще человек 20 таскали на допросы. Вечерами они собирались, обсуждали ситуацию, советовались, как лучше отвечать. Тут они впервые услышали о правовом положении свидетеля — целую лекцию об

этом прочел им Александр Есенин-Вольпин. *«Поражало меня, — пишет Буковский, — с какой серьезностью он рассуждал о правах в этом государстве узаконенного произвола. Как будто не очевидно было, что законы существуют у нас только на бумаге, для пропаганды и везде оборачиваются против тебя».*

Буковский подробно излагает идею Вольпина в том виде, в каком она стала, после долгих споров и раздумий, его собственной идеей, определяющей его жизнь по сей день: *«Идея Алика была гениальной и безумной одновременно. Гражданам, уставшим от террора и произвола, предлагалось просто не признавать их. Это можно было бы сравнить с гражданским неповиновением, если бы не двусмысленность законов, делавшая такое неповиновение образцом гражданской доблести... Идея фактически состояла в том, чтобы не признавать реальности, а — подобно шизофреникам — жить в своем воображаемом мире, в том мире, который мы желали бы видеть...*

Но в том-то и штука с коммунистами, что признать реальность созданной ими жизни, усвоить их представления — значит самим стать бандитами, палачами, доносчиками или молчаливыми соучастниками. Власть — это всего лишь согласие подчиняться, и каждый, кто отказывается подчиняться произволу, уменьшает его на одну двухсотпятидесятимиллионную долю, а каждый компромисс — усиливает его.

И разве реальная советская жизнь — не воображаемый шизофренический мир, населенный выдуманными советскими людьми, строящими мифический коммунизм? Разве все и так не живут двойной, а то и тройной жизнью? Гениальность идеи состояла в том, что она уничтожала эту раздвоенность, напрочь разбивала все внутренние самооправдания, которые делают нас соучастниками преступления. Она предполагала кусочек свободы в каждом человеке, осознание своей «правосубъектности», как выразился Вольпин. Иными словами, личную ответственность. Это и есть внутреннее освобождение».

Беседы с Вольпиным были прерваны первым арестом. Почти два года провел Буковский в спецпсихбольнице, вышел на свободу в феврале 1965 года, а в декабре снова оказался на 8 месяцев в психбольнице — за участие в подготовке первой

в СССР правозащитной демонстрации. Ее задумал провести Александр Вольпин в День Конституции, 5 декабря, с требованием гласности суда над писателями Синявским и Даниэлем. По освобождении опять началась отчаянная гонка: успеть сделать как можно больше, пока не взяли. Суд над писателями вызвал публичные протесты, это имело отклик на Западе. *«Впервые мы воочию убедились в силе гласности, видели страх и растерянность властей... Впервые у нас, в нашем мертвом обществе, возникли зародыши общественного мнения. На наших глазах начиналось движение в защиту прав гражданина... Зарождалось то удивительное содружество, где не было руководителей и руководимых, не распределялись роли, никого не втягивали и не агитировали. Но при полном отсутствии организационных форм деятельность этого содружества была поразительно слаженной... Мы не играли в политику, не сочиняли программ «освобождения народа», не создавали союзов «меча и орала». Нашим единственным оружием была гласность. Не пропаганда, а гласность, чтобы никто не мог сказать потом «я не знал». Остальное — дело совести каждого. И победы мы не ждали — не могло быть ни малейшей надежды на победу... Шла не политическая борьба, а борьба живого против мертвого, естественного с искусственным».*

Арест в 1967 году на три года оторвал Владимира от друзей. Он вернулся в Москву еще раз, на 2 года и 3 месяца, — и снова арест и 12-летний приговор. А через 6 лет состоялся беспрецедентный обмен, и Буковский, не увидев Москвы, неожиданно-негаданно оказался на Западе.

Неудивительно, что в книге человека с такой судьбой много места занимает описание тюрем — Владимирской и Лефортовской (последней — даже с оттенком лирики), лагерей — общего, где он был единственным политзаключенным среди уголовников, и политического — 35-го пермского, и психбольниц (Ленинградской специальной и общего типа на станции Столбовая под Москвой, а также Института Сербского). Казалось бы, что принципиально нового можно написать о нынешних тюрьмах и лагерях после книги Анатолия Марченко? Но время другое, и атмосфера другая, не только на воле, но и в неволе. Буковский описывает не столько тяготы лагерей (хоть и усилились они в 70-е годы), сколь-

ко борьбу политзаключенных за свои права, за человеческое достоинство — «с позиции гражданина».

Существенную роль в этом изменении атмосферы играют зарубежные радиоголоса, основательно разрушившие многолетнюю государственную монополию на информацию, раз и в неволе они слышны. Буковский умудрялся наладить слушание заграничных радиостанций и в лагере (по самодельному приемнику, спрятанному в физическом кабинете школы среди учебного оборудования), и в подмосковной психбольнице, где санитары помогли раздобыть комбайн — телевизор с преемником — и установили его в столовой. Каждое утро за завтраком здоровые «больные» ловили радиопередачи Би-Би-Си. *«Ну, чем не символическая картина нашего славного отечества! Огромный сумасшедший дом, где все разворовано до последней картофелины, где всем распоряжается горстка «здоровых», да и те — спившиеся жулики, предпочитающие прикидываться шизофрениками. Сидим и слушаем, что нам из Лондона расскажут о нашей жизни».* А во Владимирской тюрьме: *«...не успевала иногда закончиться наша очередная голодовка, как надзиратели тайком сообщали нам подробности передач Би-Би-Си или радио «Свобода» об этой самой голодовке — даже их увлекла эта радиовойна».* Офицеры и начальники тоже знают: если завопят в Лондоне, Мюнхене, Вашингтоне о владимирских делах — жди комиссии из Москвы, а уж если приедут, то найдут неполадки — глядишь, выговор, а то и снимут кого-нибудь. Вот и крутят по ночам приемники, спрашивают друг друга наутро: было вчера что-нибудь? *«Почти все слушают западное радио, — констатирует Буковский, — ...меня даже конвойные на этапе узнавали».*

Буковский не идеализирует Запад, который он имеет возможность наблюдать теперь собственными глазами. Он отвергает «хитроумно-наивные» доктрины теоретиков и политиков, ищущих компромиссного решения взаимоотношений с СССР, в обход морального противостояния. *«Изнеженные западные демократии забыли свое прошлое, свою суть, а именно, что демократия — это не уютный дом, красивая машина или пособие по безработице, а прежде всего право бороться и воля к борьбе».* Но ведь и у нас, когда речь идет о борьбе за что бы то ни было помимо собственных материальных благ, можно ли делать ставку на боль-

шинство? Тем не менее, дело движется. И движется оно с помощью тех людей с Запада, кто не забыл, в чем суть демократии, и поэтому увлеченно втягивается в нашу гражданскую борьбу. С благодарностью вспоминает Буковский об английском юристе Элмане, после визита которого в Институт Сербского освободили оттуда Владимира в 1966 году, о корреспонденте Ассошиэйтед пресс Роджере Леддингтоне, который вместе с ним при необходимости убежал от кагэбистов и не сплеховал в спровоцированной ими драке. При решении главной своей задачи — пресечения психиатрических репрессий против инакомыслящих — Буковскому тоже пришлось ориентироваться на поддержку Запада. Он собрал доказательства таких репрессий — истории болезни 6 известных диссидентов, свидетельства прошедших через психушки людей и их родственников, добавил собственные показания, и план был — убедить кого-либо из видных советских психиатров выступить публично с оценкой этих материалов. Но «Сахарова среди них не нашлось». Спасли положение специалисты с Запада, которым он передал материалы с призывом огласить их на международном съезде психиатров в Мехико, за что и получил свой 12-летний срок. Съезд в Мехико отказался «вмешиваться в политику», но нашлись люди, которые не оставили этого дела. Был создан Международный комитет по борьбе с злоупотреблениями психиатрией, во многих странах стали работать комитеты психиатров, подготовившие общественное мнение Запада к следующему съезду — в Гонолулу (1977 год), который, наконец, принял резолюцию, осуждавшую СССР за использование психиатрии в политических целях. Дело, конечно, не в словах на бумаге, это дало и практические результаты.

Психиатрические репрессии не удалось искоренить полностью, однако и советским властям не удалось сделать их широко применяемым средством борьбы против диссидентов, что явно входило в намерения властей в конце 60-х — начале 70-х годов, когда стало ясно, что политические суды не удаётся проводить без скандальной огласки*.

Еще хочется отметить способность Буковского давать — возможно, впервые — оценку существу дела во многих собы-

* Согласно моим подсчетам по «Хронике текущих событий», в 1969 году были осуждены по политическим мотивам 115 человек, из

тиях. Очень интересны его рассуждения об «экономических» судебных процессах 60-х годов как о не замеченной Западом расправе советских властей с особой формой внутренней оппозиции; о борьбе школ в советской психиатрии; о принципиальной разнице между следствием по уголовным и политическим делам; о роли повального воровства в укреплении нашей несвободы; о революции; об «оттепели», называемой хрущевской, и др.

Я прочла эту книгу залпом, не отрываясь, и уже несколько дней перебираю в уме отдельные эпизоды, остроты, раздумываю над выводами автора. Радостно убедиться, что Буковский, которого его друзья знают как сильного, благородного и умного человека, к тому же еще — талантливый писатель.

Людмила Алексеева

них в психбольницы попали 11 (9,5%). В 1970 году были осуждены 106 «политических», в психбольницы отправили 20 (18,8%), притом самых активных и известных, суды над которыми могли вызвать наибольший шум. Из 11 диссидентов, судимых в Москве в конце 69-го — 70-м году, 8 были признаны невменяемыми, среди них П. Г. Григоренко, Н. Горбаневская, В. Гершуни, В. Кузнецов, а с ними и судимый в Риге Иван Яхимович, тоже хорошо известный в СССР и на Западе. В 1971 году из 85 «политических» признали невменяемыми 24 — 28,2%, т. е. почти каждого третьего. Но в 1977-78 годах число «невменяемых» среди арестованных политических заметно упало.

ЗЕРКАЛО ПАМЯТИ

Увесистый том в 890 страниц, непривычно состоящий из двух-трехстраничных рассказов: так не бывает, так не делают книжки — уж если сборник миниатюр, то и сам он должен быть невелик, чтобы легче было «распробовать» каждую из составных. Но это — совсем особый сборник, его не берешь в руки, как любую другую книжку, и писать рецензию на него — испытываешь неловкость, почти вину. «Колымские рассказы» Варлама Шаламова кажется нечестным рассматривать с точки зрения литературного приема, композиционной выстроенности, художественной завершенности. Не только потому, что рассказанная в них жизнь слишком страшна, слишком фантастична, слишком реальна, слишком отчетливо-правдива, чтобы не скомпрометировать попытки применить к ней законы, придуманные для художественного вымысла; но и потому, что погрешности противу литературных правил выворачиваются в этой книге лишним подтверждением подлинности описываемого. Здесь сразу надо оговориться: книга издана по самиздатской рукописи, автор не имел возможности сделать свои поправки, так что решительно неизвестно, что именно в ней следует отнести к ошибкам при перепечатках, а что — к откровенному пренебрежению автора законами письма. Когда дважды и трижды в одной или близко стоящих фразах повторяется одно и то же слово; когда короткие и внятные предложения чередуются с длинными и запутанными стилистическими периодами, в которых внезапно меняются местами понятия времени и то, что произошло раньше, оказывается происшедшим позже, а вся фраза начинает выглядеть болезненно-ущербно, то это может быть с одинаковым успехом и результатом хождения рукописи по пишущим машинкам, и принципиальной невнимательностью автора к такого рода мелочам. И действительно: если нравственные законы общества, которые человек привык не то что уважать, но считать в известном смысле незыблемыми, оказываются до такой степени хрупкими и нежизнеспособными, то что же говорить тогда о правилах литературных, которые в нечеловеческих условиях существо-

вания превращаются в бессмысленную, смешную, баснословно дорогую игрушку, удел счастливчиков, которым дозволено жить?

Рассказы Шаламова с точки зрения чисто литературной поражают своей неритмичностью, неравномерностью расположения материала внутри каждого из них, часто — композиционной асимметричностью, незавершенностью, гуляющей и далеко от темы уходящей мыслью (от темы — узкой, локальной, потому что в конечном счете тема одна: безмерность человеческого падения, в которой палач соединяется с жертвой). И одновременно, рядом — рассказы, точные, быстрые, блистательно завершенные (такие, скажем, как «Ягоды», «На представку», «Васька Денисов — похититель свиней», «Утка», «Академик», «Сентенция» и т. д.). И тут не подсчитаешь «тех» и «этих», не заговоришь привычно об «эволюции творчества», о «накоплении мастерства» — все они перемешаны без всяких пропорций и хитрых литературных приемов, и автор-лукавец не подмигивает читателю, кивая на умение свое одним полуторастраничным росчерком двинуть ему, читателю, прямо под вздох: автор с читателем бесстрастно, почти равнодушно честен. Он его не букой пугает, смакуя лагерные ужасы (а ужас весь в том, что ужасов в лагере не остается: всё — быт, простенький, как календарь); он ему и не объясняет даже, а перечисляет, на что он, читатель, гуманист, естественно, обладатель духовных ценностей, накопленных человечеством, добряк и славный парень, — на что он способен, на что способно животное, притаившееся во тьме его, в тех внутренних джунглях, о существовании которых и сам он не подозревает, пока дьявольское, адское производство, конвейер зла (им же вызванный к жизни) не втянет его в свой процесс, в свой цикл, в свое движение — какое бы слово еще найти попроще, побудничней? — ну, в свою работу, просто р а б о т у.

О шаламовских рассказах говорить страшно — оттого что более совершенные в литературном отношении нельзя назвать более сильными, а менее завершенные — более слабыми, оттого что приходится менять все мерки. Именно поэтому публикация отдельных рассказов в зарубежной периодической печати была кастрацией их, обворовыванием писателя. Между тем, полная рукопись, положенная теперь в основу книги, уже множество лет находится на Западе — и

уж если говорить о настоящем, полном невезении, то надо признаться, что именно шаламовской рукописи не повезло отчаянно. Рассказы эти разрывать нельзя — это и не «рассказы» вовсе, а один рассказ, похожий на рваное повествование только что очнувшегося, только что пришедшего в себя после долгой и изнурительной болезни человека, который пытается пересказать то, что он видел по ту сторону сознания, ничуть не заботясь — поймут его или нет, поверят или нет. Его дело — сказать. Его дело — припомнить. Он отнюдь не надеется прибавить людям опыта или убедить их поступать так или иначе. Он не смотрит в глаза собеседнику (или собеседникам). Он смотрит в собственную память и пересказывает виденное. Между ним и любителем рассказывать сны — одна и весьма существенная разница: Шаламов не задает вопроса: к чему бы это? — он не бежит заглядывать в сонник, он сам знает ответ. К чему это, про что его страшные сны-жизнь — он знает и не устает повторять, нимало не волнуясь о том, что это уже было сказано им где-то раньше и совершенно в тех же выражениях. Его мысль-память бесконечно кружит по лицам, сценам, эпизодам, по биографиям и чужим рассказам, и нет для нее прошлого и будущего, раньше и позже, — нет хронологии, нет временной последовательности, потому что у времени на Колыме никакой последовательности и не было. Оно остановилось и заledenело, оно сохранялось консервами в вечной мерзлоте, как трупы полуприкрытых камнями эзков, при оползнях появлявшиеся на поверхности в столь высокой степени сохранности, что их трудно отличить было от еще двигающихся скелетов, которых жалкая человеческая логика требовала называть живыми, но которые на самом деле таковыми не были. Время обладало тьмою и светом, сменяющимися друг друга, но не обладало главным своим признаком — движением. Это мог быть один чудовищных размеров день, а могла быть попросту вечность, которая уже сама по себе для ненадежного и слабого человеческого существа чудовищна. В этом бесконечном повествовании, иногда внезапно прерываемом, словно спотыкающемся о простое нежелание автора продолжать дальше, герой меняет фамилии и имена, является действующим лицом, или слушателем, или простым наблюдателем; по несколько раз возвращается к одним и тем же историям; умирает на наших глазах, потом

оказывается на своем первом допросе, потом появляется перед нами свободным человеком, вернувшимся к обычной жизни, потом — без перехода — снова опускается в ад — в ад собственного тела, давно переставшего быть вместилищем духа, сознания, чувства, а превратившегося в разрушающуюся оболочку, где хранится жалкий комочек тепла. «Лагерь — отрицательная школа жизни. Целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет — ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи...». «Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть». «Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас вместе с мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания». «Мы поняли — и это было самое главное, что наше знание людей ничего не дает нам в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, разгадываю, предвижу поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не буду и добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере — это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку — арестанту, как я. Я не буду искать «полезных» знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов — подлец, Петров — шпион, а Заславский — лжесвидетель?». «Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представителей человек физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого — того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену». «К честному труду призывают в лагере подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты — до самой смерти».

Все процитированное выше — сжатая суть шаламовского лагерного опыта. Простая констатация того, что все законы, по которым с рождения живет человек, по которым строится существование человеческого опыта, в лагере недействительны. Как если бы он не был одной из форм (пусть

даже принудительной) человеческой общности. Нет ничего человеческого, и общности нет. Остается одно — принуждение, насилие, растление. Власть — растлевает. Покорность — растлевает. Простое присутствие в качестве пассивного свидетеля — растлевает. Способность видеть и накапливать впечатления — убивает или растлевает. Оргия зла, тление, растление всех — и палачей и жертв. Духовная проказа, при которой одна за другой отпадают способности к размышлению, к чувствованию, к ощущению вещей отдельно от их первичной физической принадлежности и смысла. Гибель смысла вообще, гибель разума.

Несмотря на то, что поток лагерной литературы на сегодняшний день громаден, «Колымские рассказы» Шаламова читаются как откровение. Ни в одном произведении подобного рода нет такого обвинения роду человеческому, как у Шаламова. Да, мы знаем — и он не устает говорить об этом, — что ГУЛag порожден вполне определенным политическим режимом. Но те, кто делает это своими руками, — они ведь нормальные, обыкновенные люди, обыкновеннейшие! Каждый из нас, значит, носит в себе палача или униженную, духовно уничтоженную жертву (которой, в свою очередь, ничто не мешает превратиться в палача). Все это похоже на чудовищный эксперимент, проведенный аккуратно, с лабораторной последовательностью и дотошностью: где черта, за которой человек исчезает как личность, как венец Творения? Куда еще надо поднажать, чем плеснуть, какой кислоты добавить, чтобы растворить само имя «человек» в воющем животном? Кто стоит за этим экспериментом? Кому он нужен? Дьяволу? Это далеко — дьявол. Это слишком просто — дьявол. Это слишком комфортабельно. И почему эта адская лаборатория со столь неизменной последовательностью увенчивается красным знаменем (у Гитлера — тоже было красное) и словами о равенстве и братстве (о братстве — всегда потом, сначала — о равенстве: в газовых печах все — одинаковый пепел, в вечной мерзлоте все — одинаковый лед)? Книга Шаламова — о том, во что человек способен превратить себя, во что мы способны превратить себя... Дай Бог, чтобы память была нам зеркалом!

Виолетта Иверни

Коротко о книгах

ВЛАДИМИР ОСИПОВ

ТРИ ОТНОШЕНИЯ К РОДИНЕ

«Посев», Франкфурт, 1978

В те самые дни, когда всё тревожнее вести, доходящие из лагеря, когда сама жизнь Владимира Осипова под угрозой, мы держим, наконец, в руках книжку, где его статьи, открытые письма, интервью собраны под одной обложкой.

В условиях разрушения всякой национальной культуры, советизации всех народов, при наличии многочисленных национальных движений в СССР — странно было бы, если бы единственно в русском народе не нашлось людей, обращенных к истокам, корням, почве национальной жизни. Но — увы! — именно русским в этом праве постоянно отказывают, причем не только представители других национальностей, но нередко и соотечественники. Из ложно ли понятого чувства национальной вины, из фальшивого ли отождествления реально существующей русификации с мнимыми преимуществами «имперской нации», из

убеждения ли, что все народы имеют право искать свое национальное лицо и только русские обязаны быть «гражданами мира», из страха ли, что русские национальные устремления будут восприняты нерусскими в рамках влияния советской пропаганды («разделяй и властвуй»), разжигающей национальную ненависть, — Бог весть, но только и советской власти не доставалось от некоторых столько обвинений, как Осипову со товарищи.

Впрочем, что касается «со товарищи», надо не забывать, что как ко всякому движению, не только национальному, примазываются подонки всех мастей, так и вокруг честного и прямого Володи Осипова собирались не только такие, как он, но и люди, для которых целью бывала спекуляция на национальной фразеологии, а то и прямое выполнение заданий КГБ. Результатом всего этого был, как мы помним, раскол журнала «Вече»,

главным редактором и создателем которого был Осипов.

И теперь, читая тексты самого Осипова, мы убеждаемся, прежде всего, что его позиция — это позиция *открытая*, как в том, что он пишет, так и в том, каким он хотел бы видеть свой журнал.

«Мы хотим, чтобы колокол «Вече» издавал тон, на который откликнулись бы струны национального самосознания; сверяясь с этим тоном, любой мог бы определить свое отношение к идеям бытия человека в мире как бытия национального, любой мог бы понять, что сознательно исповедуемый национализм есть единственная сила, способная вырвать людей из состояния морального одряхления, аморфности и антиэстетичности безнационального бытия, его неполноценности и недостойности. «Вече» хочет помочь разглядеть во всем великом и знаменательном ... истоки национального отношения к миру... Мы хотели бы разоблачить фальшь и беспочвенность самонадеянных защитников безнационального. «Вече» не имеет готовых рецептов к достижению всех этих целей, и линию своего становления находит, прислушиваясь к голосу русско-

го бытия. Это нелегко сделать сквозь шум всех ветров современности».

Сознательно оставаясь на позициях крайнего легализма, надеясь сохранить «Вече», Осипов не уточнял, что за «ветры современности» заглушают голос русского бытия. Они же, в свою очередь, внимательно прислушивались к той борьбе, к тому их преодолению, которое вел Осипов на страницах самиздата, и оценили его по достоинству: 8 лет лагерей строгого режима (это после семи уже отсиденных) за «антисоветскую агитацию и пропаганду». Трагический ответ на продолжающееся заблуждение всех тех, кто и по сей день считает, что нет у советской власти лучшего оружия, чем русский национализм. Не кто иной, как Осипов, в статье «Три отношения к Родине» разоблачил советскую спекуляцию на чувстве Родины, «модерн-патриотизм», при котором «историю великого народа превращают в колоду крапленых карт», религию, основу национального бытия, уничтожают, великий язык низводят «до матерщины рабов», а из крови нации «месят новое племя».

Конечно, каждый найдет в этой книге то или иное вы-

сказывание, с которым не согласится (впрочем, и сам Осипов, человек живой и движущийся, позволяет себе вступать в противоречие с собой). Вот только опять: кто из нас когда соглашался целиком с любым другим сборником публицистики? — но почему-то лишь над текста-

ми, исповедующими русское национальное чувство, самые рьяные защитники плюрализма и демократии медленно принимают позицию того, кто, по слову Галича, «знает, как надо». И мучительно хочется припомнить: кого, ну кого же они в этот момент напоминают, эти критики?..

ВЛАДИСЛАВ ГНОМАЦКИЙ

ТОВАРИЩ ТРЯПКИН

Wladyslaw Gnomacki

TOWARZYSZ SZMACIAK

Instytut Literacki, Paryż, 1978

Тысячелетие польской государственности, в 1966 году, поэтический Самиздат страны отметил распространением сатирической поэмы «Тихие и гусаки, или Бал у президента», принадлежавшей перу «польского Галича» — Януша Шпотанского. В поэме «тихие» — гебисты успешно боролись с «гусаками» — польской интеллигенцией. Перипетии этой борьбы происходили на фоне тех социально-политических сдвигов, которые сотрясали Польшу в шестидесятых годах.

В «Тихих и гусаках...» рассказывалось о первом организованном выступлении

инакомыслящих — протесте 34-х интеллектуалов в 1964 году, об «отлучении» сталиниста Мияля, который в джеймсбондовском стиле бежал в Албанию, где создал... коммунистическую партию Польши. Финал поэмы предсказывал кровавую бойню польского народа, которая и наступила в городах Взморья в судьбоносные дни декабря 1970 года.

19 марта 1968 года тогдашний хозяин страны, Владислав Гомулка, выступая в Зале конгрессов перед партийным аппаратом столицы, назвал Януша Шпотанского «человеком с психикой альфонса», тем самым решив

судьбу автора поэмы. Поэт был брошен в чрево Мокотува, польской Лубянки.

Второго тысячелетия год двенадцатый ознаменовался второй поэмой польского Самиздата. Это сатира Владислава Гномацкого (псевдоним) «Товарищ Тряпкин», калейдоскоп взлетов и падений которого саркастически суммирует подзаголовок произведения — «всё хорошо, что хорошо кончается». Польский Литературный институт в Париже (издательство журнала «Культура») выпустил недавно поэму отдельным, книжным изданием.

«Тихие и гусаки...» и «Товарищ Тряпкин» разделены водоразделом времени: десятью годами — и всё же тематически они связаны композиционно-сюжетным каркасом, взаимодополняются, дают код к раскрытию того, что скрывается за аббревиатурой — ПНР. Общность двух поэм отнюдь не исчерпывается ни тем, что они, почти по-ленински, «вскормлены молоком дикого зверя» — смердящим «самогоном» народно-демократической «жизни», — ни тем, что они написаны в форме ченстоховских частушек, чуть-чуть модернизированных; ни тем, что обеим предпосланы под-

заголовки. Произведения эти связаны особым музыкальным обрамлением. «Тихие и гусаки...» зачастую приобретают звучание хоральной песни, некоторые ее части читаются или поются под мотивы популярных песен. «Музыкален» и эпилог «Товарища Тряпкина».

Своеобразный знаменатель двух поэм — их авторство. Создатель «Товарища Тряпкина» полностью отождествляет себя с автором «Тихих и гусаков...» Исходя из строгих законов ономастики, мы можем утверждать, что имя Владислав Гномацкий соткано из глубинных аллегорических морфем. Обитатели польского «Архипелага» в 60-х годах называли тогдашнего Первого секретаря ЦК ПОРП, Владислава Гомулку, или «Квадратовы», или «Гном». Перефразировка одного из этих прозвищ (при сохранении имени) нужна автору для констатации парадоксального: оценка сегодняшней Польши поэтом вполне может совпасть с мнением хозяев «дней минувших». Или еще глубже: писал же мемуары кукурузный волонтерист, отчего «Гному» не воспеть тряпкинство...

Творческие импульсы Януша Шпотанского черпали энергию в самой концовке

тысячелетней истории страны, поэтическое же это Владислава Гномацкого заговорило в июне 1976 г., в городе Радоме, во время выступлений польских рабочих, когда Первый секретарь воеводского комитета ПОРП в вынужденном порядке провел стриптиз в центре города. Рабочие тогда подожгли здание комитета партии. Секретарю-горемыке не дан был выбор: спасаясь от разъяренных языков пламени, он выпрыгнул в окно и попал... в руки демонстрантов. «Собеседующие» с партийцем рабочие лишили его одеяния.

Под улюлюканье радомских рабочих партийный бонза, почти в костюме Адама, пробился все же к милицмейской машине, найдя в ней спасение. Именно этот факт, имевший место, служит автору «стартовыми колодками», хотя «бег» поэмы начинается чуть позднее, когда герой, товарищ Тряпкин, чудом избежав самосуда толпы, в своем особняке:

«Закутавшись в халат,
пьет шотландское виски с
вишневым соком...» —
— и думает:

«Чья же это провокация?
Так и есть —
опять ревизионисты!
Все евреи —
не велосипедисты!»

Товарищ Тряпкин — не поэтическое воплощение переживаний радомского секретаря, он плод литературного вымысла. С живым коллегой он связан лишь датой 25 июня 1976 года, днем поджога рабочими зданий партийного комплекса в Радоме. Образ товарища Тряпкина несет в себе собирательные черты, символизирующие духовное оскудение номенклатурных царьков.

Под надежной охраной стен своего особняка Тряпкин приступает к «ликвидации» второй бутылки виски. Под влиянием то ли винных паров, то ли пережитого погружается наш герой в глубокий сон, который и составляет основную часть поэмы. Сон Тряпкина используется автором не в традиционном для славянских литератур ключе, а в своеобразной манере «подмены понятий». В долгом забытье этом герой-мучитель становится жертвой, а его жертва — мучителем. Избежав суда толпы, на следующий день Тряпкин приходит в свой райкомовский кабинет, в котором, за его письменным столом, сидит крестьянин Дептала (это всё во сне, а наяву Тряпкин способствовал ликвидации своего идейного противника).

Известный публицист С. Киселевский в 1968 году тонко определил суть польского «нового класса», назвав его «темняки» — определение, адекватное владимировскому «серые». Именно темные люди: уголовники и садисты, сексуальные из-

вращенцы и маньяки-импотенты, наркоманы и алкоголики, доносчики-интеллектуалы и примитивы-топтуны возводят «светлое будущее» на «зияющих высотах» польского социализма. В первых рядах «строителей» Тряпкин и тряпкинское сонмище.

ЖАН ЛАКУТЮР

ДА ВЫЖИВЕТ КАМБОДЖИЙСКИЙ НАРОД!

Jean Lacouture. Survive le peuple cambodgien! Seuil, Paris, 1978

Восприятие где-то происходящего ужаса, после первого эмоционального потрясения, быстро притупляется, становится отдаленным — во времени и пространстве — понятием, становится словом, иногда словом протеста, но непременно включаемым на Западе в структуру того или иного идеологического направления. Вдруг получается, что важнее не само происходящее, а то, «с какой позиции» его рассматривают.

«...казалось бы, что «прогрессивное» общественное мнение, столь долго отрицавшее существование советских лагерей и затем воспринявшее как откровение книги Солженицына, в которых печать гения осенила факты, давно известные всем, кто

хотел знать; что это самое общественное мнение, верившее в китайский социалистический рай до тех самых пор, пока дело Линь Бяо и «банды четырех» не сорвало маску с «культурной революции», — что вроде бы оно, после полувековой неколебимой наивности, дошло до понимания, что за словами «революция» и «социализм» могут скрываться наихудшие тирании, и вот, наконец, оно объединится и встанет на защиту жертв от палачей. Но это была еще одна иллюзия», — пишет в своей книге французский журналист Жан Лакутюр.

Книга Лакутюра, в сравнении с другими материалами о камбоджийском геноциде (см. напр., рецензию на кни-

гу Дж. Баррона и Э. Поула в «Континенте» № 16), приносит не так уж много новых фактов. Но, приводя неопровержимые факты, автор идет дальше них. Он исследует и страстно разоблачает свойственное левой западной интеллигенции нежелание говорить правду. Тем более, что сам Лакутюр — довольно типичный представитель французской левой интеллигенции, активный участник кампании за мир в Индокитае. Крупный французский журналист, он немало путешествовал по Индокитаю, писал — с любовью и надеждой — о Вьетнаме и Камбодже, о народах этих стран. Любовь эта, которую он сохранил, не дает ему смешивать красных кхмеров и камбоджийский народ, вьетнамский режим и вьетнамский народ. Она не позволяет ему молчать или разоблачать одну лишь сторону нынешнего вьетнамско-камбоджийского конфликта (мало ли разоблачений Демократической Кампучеи встречаем мы сегодня в советской пропаганде? не так ли же яростно обрушиваются на вьетнамские порядки китайские вожди? и не редко ли на Западе интеллигенты выбирают одну мишень разоблачения в зависимости от своих просоветских

или прокитайских симпатий?). Лакутюр показывает, как в своих репрессиях красные кхмеры выступают ревностными, превосшедшими учителя учениками своих вьетнамских братьев-соперников. Не удивительно, что Жан Лакутюр одним из первых отозвался на призыв комитета «Корабль для Вьетнама», что во французской прессе он публикует ряд статей о причинах вьетнамского «исхода».

Бывших борцов за мир в Индокитае условно можно разделить на две части: на тех, кто, как Лакутюр, включился в эту борьбу по велению сердца, испытывая *нравственный долг*, и тех, кто вошел в нее, исполняя *долг левого*. И эти вторые, добившись желанного мира и вывода американских войск, часто просто отказываются верить тому, каков этот «мир». Логика их проста: «достоверных» свидетелей нет, беженцам доверять нельзя (исповедуя ту же логику, в 40-е годы бывших узников советского ГУЛага объявляли агентами ЦРУ). Да и руководители Демократической Кампучеи — люди известные, интеллигентные, по Парижам обучались. Да и вообще западной интеллигенции лучше помалкивать — ведь на ней лежит вина за

колониальное прошлое. Примерно таково мнение Ноама Хомского. Этот американский лингвист с мировым именем многократно заявил себя как автор политических высказываний, по меньшей мере безответственных. Вот и сейчас он считает, что «даже если отдельные интеллигенты и не чувствуют за собой вины и полагают, что совесть у них чиста, они не должны упускать из виду возможное использование их действий в определенных целях организаторами американской агрессии и поддерживавшей их прессой». Словом, оставим факты молчать, а людей гибнуть, лишь бы не угодить пресловутым империалистам.

Уже после выхода книги Лакутюра Хомский написал возмущенное письмо в «Нувель Обсерватер», где, предупредив, что страны с таким тяжелым колониалистским прошлым, как Франция, должны бы быть сдержаннее, особенно когда речь идет об

их бывших колониях, он обвинил Лакутюра, что именно на его заявление «о том, что два миллиона человек якобы уничтожены красными кхмерами, уже откликнулся один американский сенатор, потребовавший военного вмешательства США в Камбодже». «В отличие от меня, — отвечает Лакутюр, — Хомского более ужасает реакция сенатора Макговерна на призыв в защиту страдающего народа, чем само страдание народа...»

В своей книге Лакутюр восстает против такой идеологической «прозорливости», которая позволяет людям жить со слепым сердцем. Он сам называет свою книгу «призывом спасти народ от гибели». «Камбоджа, Кампучея у наших дверей, — заканчивает он. — И если нельзя иначе прорвать молчание государств и международных организаций, как воя с волками, не побоимся этого. Да выживет камбоджийский народ!»

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА

ПОРА ПРЕДЧУВСТВИЙ

«Круг», Тель-Авив, 1978

Вторая книга стихов Лии Владимировой вышла через три года после первой, вклю-

чавшей, в основном, стихи, написанные еще в Москве. И там уже звучала тема, кото-

рая стала главной в новых стихах поэта. Мотив слияния духовных традиций иудейских с христианскими в душе одного человека — четкое выражение в русской поэзии получил именно в стихах Владимировой.

«И два крыла, как два завета / в меня вошли, кровото́ча», — так писала она в первой книге. Эта слитность, преемственность духовной традиции — одна из основных идей христианской философии, о чем, к сожалению, порой кощунственно забывают, как в России, так и в Израиле... «Не думайте, что я пришел нарушить Закон или Пророков, не нарушить пришел я, но исполнить», — так говорил Христос ученикам, и слова эти говорят не о противостоянии, а о продолжении одного Завета другим. А в приложении к поэзии — о гармонии двух сознаний, которые порой считаются несовместимыми.

И то, что могло бы породить разорванность сознания, — в поэзии Лии Владимировой создает гармоническое двуединство, как религиозное, так и национально-культурное, от первого происходящее:

И стонет скорбная Дебора,
И Ярославна вторит ей.

Два горьких голоса,
два взора
В душе разорванной моей.
Горючий камень жжет
ладони,
И свет, и снег, и даль
в слезах,
И солнце, грозное в Сионе,
В морозных блещет
образах.

Расколотовость психологии русского поэта, которому с детства напоминали о нерусском происхождении, поэта русского не только по языку, но по глубинному ощущению христианской сути русской культуры, расколотовость эта, имеющая причины отнюдь не духовные, а всего лишь политические, вместо того, чтобы породить комплекс неполноценности, как это нередко бывает, трансформировалась в этих стихах в истинную гармонию.

В новой книге завихряющая мелодическая стихия берет окончательно верх над прежним, порой «говорным» стихом Владимировой. Стихия, полная зыбких, мгновенно сменяющихся друг друга образов:

«И кто-то плачет, кто-то пляшет, / и кто-то манит досветла, / то память мне рукою машет, / то ветер бьет в колокола...» Это уже не та

память, что в стихах первой книги, «установка кровотоцит, спокойно тлеет и стареет». Тут уже не ахматовский реализм зримых деталей, ему на смену пришла блоковская стихия музыки; образы не графично очерчиваются, а мгновенно ускользают, как отзвучавшая нота...

Можно предполагать, что

это движение — от графики к музыке — станет доминирующим для зрелости тех поэтов, которых и по сей час именуют в СССР молодыми (чтобы дольше не пускать в печать?). Во всяком случае, та манера, которую условно можно назвать «неоклассической», доминирует в обеих книгах Владимировой.

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США

Главный редактор **Андрей Седых**

69-й год издания

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

По страницам журналов

THE SAMIZDAT BULLETIN

NN 1-55. May 1973 — Nov. 1978

P. O. Box 6128, San Mateo, California, 94403

Вот уже пятый год в Калифорнии регулярно выходят «Тетради Самиздата». Группа энтузиастов, людей, равнодушных к судьбе родины, жертвующая свободным временем, силами и деньгами, собирает, переводит и издает по-английски произведения свободной печати в СССР. Издание «Тетрадей», которые редактирует и выпускает Ольга Стацевич, вдохновлено Самиздатом, и все его демократические традиции и законы калифорнийскими издателями усвоены и приняты: при выборе текстов не допускается никакой дискриминации, «Тетради» открыты для всех публикаций Самиздата, принадлежащих перу авторов всех национальностей и взглядов. Составители ежемесячника стараются показать американскому читателю весь диапазон общественной мысли в Советском Союзе, стремятся представить наиболее полную картину общественного со-

противления тоталитаризму советского типа. На соседствующих страницах «Тетрадей», в пределах отдельного выпуска, можно найти выступления за независимость украинцев и литовцев, обращения и документы крымских татар и поволжских немцев, протесты русских правозащитников и еврейских отказников, возмущенные письма недовольных своим положением советских рабочих и свидетельства православных христиан о гонениях на Церковь. Обычно каждый выпуск «Тетрадей Самиздата» включает в себя какой-то основной материал или подборку документов по теме (в последнем, 55-м, выпуске таким центром является сокращенный вариант работы Александра Подрабиника «Карательная медицина»), несколько разрозненных документов (в том же, отчетном, номере среди них обращает на себя внимание Открытое письмо правительст-

ву СССР украинского писателя Гелия Снегирева), а также короткую сводку важнейших новостей на правозащитном фронте.

Надо подчеркнуть, что калифорнийское издание использует документы и материалы, уже опубликованные по-русски в западной прессе, причем источники перепечаток самые различные: и «Хроника-Пресс», и «Новое рус-

ское слово», и «Русская мысль», и «Посев», и бюллетени Международной Амнистии и американских организаций, борющихся за советских евреев... Такое широкое и щедрое издательское содружество заслуживает всяческого одобрения: авторы Самиздата не ставят, как известно, на свои работы знака «копирайт».

«INTERROGATIONS», №№ 1-13

Ежеквартальный журнал «Энтеррогасьон» («Вопросы») издается в Париже с 1974 года и снабжен подзаголовком «Международный журнал по исследованию анархизма». Статьи в нем печатаются на одном из четырех языков: английском, французском, итальянском или испанском, но сопровождаются резюме на всех четырех языках. Основатель журнала, ныне покойный Луис Мерсьер Вега, стремился создать трибуну того течения в анархизме, которое можно было бы назвать философским, или интеллектуальным анархизмом, направленным на критику власти в любом обществе, какими бы лозунгами она не прикрывалась.

Как бы ни относиться к положительным идеям анархизма, отметим, что вряд ли какое иное течение общественной мысли подвергло коммунистическое общество столь сокрушающей критике, как современный анархизм. Такие теоретики анархизма, как Петр Кропоткин, Антон Паннекук и другие, предвидели характер общественного развития власти большевиков уже в первые годы революции. При этом они не просто предугадали, что большевики создают тиранию, но предсказали механику советской системы, те формы, в которые новая система выльется. Они оказались дальновиднее большинства историков и политических деятелей своего времени.

Вместе с тем, идеал анархистов остается нам чуждым или, по крайней мере, весьма далеким, прежде всего потому, что трудно поверить в способность человеческого общества самоорганизоваться безо всяких ограничений и тем более безо всяких моральных или религиозных критериев. Анархисты всегда верили, что человек изначально добр и что лишь власть портит людей. Эта вера вряд ли имеет веские основания, и общество без власти остается светлой, но вряд ли осуществимой мечтой человечества. Однако оно может стать некой нормой общественной мысли — нормой, к которой можно стремиться, даже не надеясь ее достигнуть. В этом случае анархизм оказывается скорее процессом, путем, чем конкретной политической программой, а политический скепсис анархизма служит надежным противоядием от идеализации той или иной политической системы.

Анархизм резко отрицательно относится к марксизму, с которым у него давний и острый конфликт — еще со времени столкновения между Марксом и основателем анархизма Бакуниным, своевременно разглядевшим в касте профессиональных революционеров людей, которые, избрав роль представителей рабочего класса, этим путем стремились к власти. Но Бакунин проповедовал насилие, и это не позволяет полностью разделить его критику марксизма.

Надо сказать, что вклад русских в анархизм необычайно высок, и имена Бакунина, Кропоткина, Махайского, Лазаревича принадлежат к числу наиболее почитаемых у анархистов.

Журнал «Энтеррогасьон» уделяет особое внимание советской и восточноевропейской оппозиции, находя точки соприкосновения с нею. В нем опубликованы, например, свидетельства о событиях в Польше 1975-76 годов (№ 9), составленный В. Турчиным документ Хельсинкской группы о рабочих, добывающихся эмиграции по экономическим и политическим мотивам (№ 8), полный текст отчета Хельсинкской группы (№ 11), самиздатские статьи Юрия Орлова «Возможен ли социализм не тоталитарного типа?» (№ 8) и М. Агурского «Экономические системы Востока и Запада» (№ 5).

Известный историк анархизма, автор одной из лучших книг о Кронштадтском восстании Поль Аврич (Нью-Йорк) в статье «Политическая философия Солженицына» (№ 1) в

противоположность большинству левых (а анархисты считаются крайне левыми) положительно оценивает эту философию, усматривая в ней торжество многих коренных идей русского анархизма. По его мнению, Солженицын исходит из традиций славянофильства и народничества, отрицавших Запад, и в этих традициях критикует советский режим. «Консерватизм» же Солженицына есть не что иное, как русский анархизм (в особенности близкий к толстовству) с его идеализацией крестьянина и ремесленника. Аврич напоминает, что солженицынский Шулубин прямо ссылается на Толстого и Кропоткина. В споре Сахарова и Солженицына Аврич скорее на стороне последнего: «назвать взгляды Солженицына реакционными было бы заблуждением... Они не имеют ничего общего с ксенофобией, антисемитизмом и обывательским обскурантизмом, к которым привержены многие советские консервативные патриоты. Презрение же его к представительной демократии является неотъемлемой частью традиции Герцена, Бакунина, Толстого, а прославление старинных русских деревень и городов, ныне завоеванных коробками уродливых многоэтажных жилых домов и несущими отраву двигателями внутреннего сгорания, совпадают с аргументами самых просвещенных экологов Запада».

Аврич приводит замечательное высказывание одного старого американского моряка-анархиста, который сказал про Солженицына: «Если бы мне пришлось снова выйти в море, я бы пошел с ним в одной команде». Творчество Солженицына — революционный документ и анафема правящему классу СССР, а изгнание Солженицына из России знаменовало победу свободы над властью, личности над государством, триумф традиций Кропоткина и Толстого над традициями Ленина и Сталина.

Статья Аврича показывает, что Солженицын куда более радикален, чем многие его левые критики, которые, с точки зрения теоретического анархизма, продолжают ту же традицию власти, что была дискредитирована историей СССР, и оказываются, таким образом, критиками «справа».

Исключительно интересна статья итальянского ученого Лючано Пелликани (Неаполь) «Критика Бакуниным марксизма как идеологии класса пролетаризированной интеллигенции» (№ 9). Пелликани отмечает, что марксизм представляет собой идеальную идеологию, узаконивающую власть

нового класса после революционного переворота. Впервые это понял Бакунин, убедившийся, что авторитарные и централистские концепции Маркса не приводят к освобождению рабочего класса, что марксистские идеи воплощают устремление к власти деклассированных интеллигентов, исключенных буржуазным обществом из-за отсутствия у них экономической силы, но обладающих некоторой культурой и способностью осуществлять политическое управление. Бакунин видел (и справедливо!) в марксистах будущих «новых господ» — олигархию, которая стремится использовать рабочих, чтобы установить свою диктатуру. (Кстати, о том же говорилось в статье М. Агурского — «Континент» № 5, — но автор ее ошибочно полагал, что первым такую идею высказал Махайский, который жил позднее Бакунина.)

Итальянский анархист Нико Берти (Падуа) в своей обзорной статье «Предвидение анархистами появления 'новых господ'» (№ 6) также говорит о Бакунине, но включает в рассмотрение взгляды Махайского, Малатесты, Прудона, Мерлино.

Особый интерес представляет выдержка из книги недавно скончавшегося анархиста Бруно Риччи «Бюрократический коллективизм», написанной им еще в 1939 году (№ 10). Риччи в свое время резко критиковал Троцкого за то, что тот называл советскую систему бюрократическим социализмом. По мнению Риччи, государственная собственность на средства производства не имеет ничего общего с социализмом, а лишь приводит к власти класс бюрократов, господство которых основано не на наследовании, а на функции. Ту же мысль недавно высказал Ю. Орлов, и не случайно, что журнал выделил его статью из потока самиздата.

Говоря о взглядах Риччи, Пелликано, Берти и других, стоит высказать глубокое сожаление о том, что итальянская общественная мысль, в частности — некоммунистическая левая, практически неизвестна русскому читателю.

Современный теоретический анархизм полностью отрицает какой бы то ни было прогрессивный характер всех без исключения коммунистических режимов, включая Китай и Кубу. Так же отрицательно относится он и к троцкизму — как лишь к одной из вариаций марксизма. Военные режимы «Третьего мира», включая так называемые «прогрессивные», тоже являются для современных анархистов лишь новыми

системами угнетения. Любопытно, что критике был подвергнут и режим Альенде (см., напр., интервью Луиса Веги в № 13), поскольку он был, в сущности, технократическим и не отражал интересов народа.

Разумеется, критикуя коммунистический и третий мир, анархисты не испытывают ни малейших симпатий к миру западному, рассматривая его как мир эксплуатации, угнетения и подавления личности.

«Энтеррогасьон» — лишь одно из многих изданий в весьма разветвленном мире современного анархизма, лишь одно из его течений — вероятно, наиболее интеллектуально глубокое. Оно не имеет ничего общего с теми отдельными группировками анархизма, которые выступают за насилие и смыкаются с политическими террористами в разных странах. Многие материалы из вышедших тринадцати номеров журнала заслуживали бы перевода на русский язык.

Наша почта

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОСКОВСКОМУ ХУДОЖНИКУ ВЯЧЕСЛАВУ КАЛИНИНУ

Дорогой Слава, большое спасибо за каталог. Поздравляю тебя с персональной московской выставкой. Кто бы мог о таком подумать два-три года назад. Ты спрашиваешь, почему нет твоих картин на выставке «20 лет независимого искусства из СССР», которая проходит сейчас в музее западногерманского города Бохум, и интересуешься, почему некоторые живущие в Париже художники и Монжеронский музей отказались в ней участвовать. Ну, ты, конечно, помнишь, что случилось на Биеннале в Венеции, а потом в Беллинцоне и Турине, где Нусберг со своей группой «Движение» оккупировал большую часть экспозиции, из-за чего в Венеции на выставку не попали ни Толя Зверев, ни Дима Краснопевцев, ни Валя Кропивницкая, ни Миша Шемякин и его группа «Санкт-Петербург», ни многие другие художники.

Действует Нусберг не сам по себе, потому и справиться с ним нелегко. За его спиной стоят, не знаю точно какие, но достаточно мощные силы. Тебе не хуже моего известно, что в то время, как всех нас травили, называли в советской прессе проводниками буржуазной идеологии, закрывали наши выставки и даже давили их бульдозерами, Нусберг со своей группой оформлял по прямому заказу ЦК комсомола партийные и государственные праздники. Выставки группы «Движение» проходили по несколько раз в год и в Москве, и в Ленинграде, и в Одессе. Партийные газеты и журналы пели Льву Нусбергу дифирамбы. И в это же время он поддерживал тесные контакты с западными искусствоведами-коммунистами, которые совершали вояжи в Москву.

Оказавшись на Западе, он развил бурную деятельность, утверждая себя здесь — это он-то! — в качестве диссидента и нонконформиста. Тут помогли и старые связи. Ведь выставку на Биеннале организовывал коммунист Энрико Крипольти. А в бохумском музее директорствует старый, еще по Москве, приятель Нусберга чешский эмигрант,

жертва «социализма с человеческим лицом» Петер Шпильман. Он-то и прислал в середине декабря приглашение некоторым (но не всем) живущим в Париже художникам, указав в письме, что его помощником в организации выставки является Нусберг. Тогда Рабин, Целков и Шемякин отправили ему очень вежливое письмо, в котором, ссылаясь на имевшие место прецеденты, просили включить в группу организаторов, наряду с Нусбергом, Жарких и меня. Они также просили прислать приглашение Монжеронскому музею, так как в нем находятся работы многих ведущих свободных русских художников, живущих в СССР. Называли имена, в том числе и твое. К сожалению, доктор Шпильман не посчитал нужным ответить на это письмо, а прислал Шемякину, Рабину и Целкову в конце декабря ультимативное требование: де присылайте до 1 января фотографии и биографии — иначе не попадете в каталог. Лишь после этого группа русских художников и общественных деятелей направила П. Шпильману письмо, в котором вновь предложили ему сотрудничество для организации объективной выставки. В заключение они объясняли, что будут вынуждены приехать на вернисаж и рассказать журналистам и публике, что скрывается под вывеской «20 лет независимого искусства из СССР». Вскоре действительно доктор Шпильман прислал мне приглашение. Но это, конечно, был только тактический ход. Как хорошо заметил Оскар Рабин — оттяжка времени. Выставка-то была уже на носу, оставалось мало времени и чтобы отобрать картины, и уж вовсе невозможно было включить их в каталог. Кстати говоря, мы не ошиблись. Когда Шпильман приехал в Париж, он даже не посчитал нужным посетить Монжерон, хотя предупредил меня телеграммой, что будет. В общем, в результате его с Нусбергом махинаций выставка не получилась. Мы ездили на вернисаж, и я видел все своими глазами. Какие же это 20 лет независимого искусства, если на выставке нет твоих работ, картин Димы Плавинского, Олега Целкова, Саши Харитоновой, Коли Вечтомова, Юры Жарких, Володи Овчинникова и многих, многих других. А если кто из крупных мастеров и есть (исключая несколько имен), то лишь для видимости — такая Потемкинская деревня в Германии. Володя Немухин, например, представлен двумя ранними холстами, ничего о нем не говорящими; Ра-

бин — тремя маленькими, двадцатилетней давности картинами; Целков показан крошечным наброском; Неизвестный — лишь графикой. Выставлено только два холста Свешникова. Но зато десяток работ представил Зеленин, по пять — Бугрин и Леонов, двадцать две работы демонстрирует группа Нусберга. А ты помнишь Мишу Гробмана, давнего и близкого друга Нусберга? Он ведь давно в Израиле. Организовал там отнюдь не из эмигрантов группу «Левиафан». И вот работы, сделанные в рамках этой группы, он широко показывает на русской выставке в Бохуме! А за такую возможность он дал для экспозиции массу рисунков, набросков и прочей чепухи из своей коллекции. Так вот они и показывают независимое русское искусство. И получается, что за двадцать лет почти ничего хорошего русские художники не сделали. Один шум от них идет. Это не помешало, правда, на вернисаже Гробману объявить, что выставка в Бохуме — самая объективная и представительная. Это после выставок в Пале де Конгре, Лондоне и Токио! Что ж, скромностью Гробман никогда не отличался, и плевать ему, что он совместно с Нусбергом дискредитирует свободное русское искусство. После такой выставки западные искусствоведы, конечно, напишут о провинциализме и слабости русского искусства.

После нашего выступления на вернисаже крупная немецкая газета «Ди Вельт» отметила, что выставка в Бохуме не соответствует своему названию, так как на ней почти отсутствуют работы художников, находящихся в Советском Союзе. Да и другие немецкие газеты выступили. А нам уже предложили устроить в пяти немецких городах объективные выставки свободного русского искусства.

Так что не огорчайся насчет Бохума. Еще раз поздравляю с московской экспозицией. Привет всем ребятам.

Саша Глезер

10 февраля 1979 г.

Р. С. Да, еще интересная деталь. Нусберговская компания организовала открытое письмо в поддержку бохумского предприятия. Под этим письмом, опубликованным в газете «Русская Мысль», они умудрились поставить подписи Плавинского, Немухина и твою. Я сразу же позвонил Не-

мухину, и он сказал, что вы ничего не подписывали и даже об этом письме не слышали.

От редакции: Мы публикуем это письмо в связи с тем, что за последнее время участились случаи, когда отдельные группы художников в эмиграции пытаются явочным порядком монополизировать здесь представительство русского нонконформистского движения, создавая тем самым на Западе искаженную картину нашего неофициального искусства.

«Континент» сочтет своим долгом довести до сведения своих читателей и любую другую точку зрения по этому вопросу, оставляя за собой лишь право редакционного комментария к каждой из них.

Читайте в следующем номере «Континента»

прозу

Ф. Камова, В. Левятова, Э. Неизвестного,

стихи

кубинских поэтов-политзаключенных,

публицистику

И. Ефимова-Московита, Р. Квадрелли,
Д. Моравского, Б. Парамонова, В. Тростникова

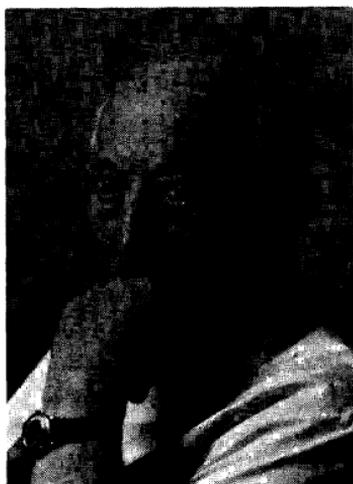
Наша анкета

НАМ ОТВЕЧАЕТ СИМОН ВИЗЕНТАЛЬ

Вопрос. После 1970 года более 150 000 человек покинули Советский Союз. Помогают ли вам в вашей работе встречи с этими новыми эмигрантами?

Ответ. Меня интересуют профессионально только те из них, которые во время войны оставались на оккупированных немцами территориях. Мы искали и ищем таких потенциальных свидетелей и в США и в Израиле. Существует немалое число военных преступников: русских, украинцев, прибалтов, — которые добровольно помогали немцам. Они убивали не только евреев, но и своих соплеменников. Мы давно подозревали, а теперь окончательно убеждены, что Советский Союз не заинтересован ни в раскрытии этого рода преступлений, ни в суде над преступниками. Для нужд советской внутренней пропаганды важно, чтобы эти преступники, ныне живущие на Западе, оставались на свободе. Сообщения о таких преступниках, регулярно публикуемые в советских газетах, отвлекают внимание читателей от насущных проблем их собственной жизни и как бы служат ответом на то, что Запад говорит и пишет о нарушениях прав человека в СССР.

Вот вам пример. В США живет некто Болеслав Майковскис. Он был начальником полиции в Резекне в Латвии. Майковскис со своими сообщниками уничто-



жил около 15 000 ни в чем неповинных людей. Американское правосудие нашло с моею помощью свидетелей преступлений Майковскиса в самой Латвии. Американское правительство согласно взять на себя расходы по доставке этих свидетелей в США и по их содержанию во время процесса, чтобы они могли лично предстать перед судьей и лично дать показания. Однако советские власти не разрешили им выехать в Америку. Если государство не разрешает своим гражданам поехать за границу для участия в суде над фашистом, имеет ли оно право называть себя антифашистским?

Конечно, время от времени процессы устраиваются и в СССР, но я не верю в серьезность этих процессов. Мир узнаёт о них всегда только после суда и после казни. Никогда еще не бывало, чтобы газеты сообщили: арестован такой-то преступник, обвиняется в том-то, суд начнется тогда-то... Но если на Западе происходит какое-нибудь событие, так или иначе связанное с преступлениями нацизма, можно с уверенностью предсказать, что недели через две-три мы прочтем в советских газетах: где-то на Кавказе судили двух военных преступников, которые до сих пор скрывались от правосудия. При этом не сообщается ничего точного: ни место преступления, ни имена жертв, ни даже имена немцев, с которыми преступники сотрудничали. А ведь вполне возможно, что эти немцы всё еще живы и всё еще на свободе где-нибудь в Германии или в Австрии... Недавно восемь членов Конгресса США — особая подкомиссия Конгресса — побывали в СССР, встретились с Генеральным прокурором Руденко. Руденко и другие важные чиновники в Прокуратуре СССР обещали американцам дать нужные им документы, даже показывали им архивы, которые ломятся от документов. Можно не сомневаться, что среди этих документов есть материалы против военных преступников, которых преследует американское правосудие. Их 225, и большинство — с территорий,

которые сейчас входят в состав СССР. Ну, так вот: обещать обещали, но так ничего и не дали.

Вопрос. А другие страны Восточной Европы?

Ответ. В первые послевоенные годы и особенно после поимки Эйхмана восточноевропейские страны сотрудничали с Западной Германией в розысках военных преступников. Сотрудничали и со мною, с нашим Документационным центром. Но по-настоящему активным было только сотрудничество с Польшей. Это понятно: немецкие военные преступники погубили в Польше три миллиона жизней — не еврейских (это еще три миллиона), а польских. Нет ни одной польской семьи, в которой не было бы жертвы нацистских зверств. Я хочу самым решительным образом подчеркнуть: для меня нет никакой разницы, кто был жертвой нацизма — еврей, или цыган, или серб, или итальянец. Мои отношения с Польшей испортились после Шестидневной войны. У нас давно были документальные материалы о бывших фашистах в Польше, которые не просто сотрудничали с немцами, но, случалось, и объявляли себя немцами по крови, вступали добровольцами в гитлеровскую армию. Некоторые из них были осуждены после войны, попали в тюрьмы. И вот, когда в 1968 году в Польше началась антисемитская и антиизраильская кампания, оказалось, что возглавляют ее именно эти бывшие фашисты, успевшие сделаться коммунистами. Я решил, что молчать больше нельзя, и опубликовал материалы, которыми мы располагали. После этого все контакты с Польшей были прерваны, понятное дело — поляками, не мною. Но даже теперь Польша остается Польшей. В этом году я нашел в Бразилии заместителя коменданта лагеря Собибор, Вагнера, у которого на совести 250 000 убитых. Я позвонил в Варшаву своему злейшему недоброжелателю профессору Пилиховскому, который возглавляет Комитет по расследованию нацистских преступлений. Он не мог поверить своим ушам.

«Кто говорит? Визенталь? Из Вены?» Я сказал: «Да, это я. Я должен сообщить вам, что нашел человека, который убил четверть миллиона польских граждан. В моем распоряжении только сорок восемь часов. Бразильская полиция дала мне сорок восемь часов. Я хочу, чтобы Польша потребовала выдачи этого человека. Я знаю, вы не слишком меня любите, да и я не слишком люблю вас, но это неважно. Дела Вагнера и других преступников важнее наших личных отношений». Он ответил: «Хорошо. Мы потребуем его выдачи». И он сдержал слово.

С Восточной Германией мои отношения испортились еще раньше. Эта страна была первая в Восточной Европе, которой коснулись мои разоблачения. Я опубликовал «дела» сорока ведущих журналистов Восточной Германии, которые были ведущими журналистами и при Гитлере. Я указывал номера их нацистских партийных билетов, приводил цитаты из антисемитских статей, которые они печатали в «Фелькишер беобахтер» и других нацистских газетах и журналах. Это было большой неожиданностью для всего мира. Ведь Восточная Германия много лет вела антизападную пропаганду, изображая Западную Германию раем для бывших нацистов. Оказалось, что эта пропаганда служила щитом, дымовой завесой, прикрывавшей ее собственных гитлеровцев.

Впрочем, самое первое столкновение с Восточной Германией произошло еще раньше. 21 апреля 1961 года, за несколько дней до начала процесса Эйхмана, из Восточной Германии в Западную приехал профессор Кауль. Он теперь занимает высокий пост в системе восточногерманской юстиции. Этот профессор устроил пресс-конференцию, на которой повторял обычные обвинения против Западной Германии, а заодно нападал и на Израиль, который якобы вступил в сделку с западными немцами и вместе с ними покрывает военных преступников. Я поднялся и сказал

ему: «Господин Кауль, я имею право обвинять немцев, но не вы, потому что вы коммунист. После речи Хрущева на XX съезде мы знаем от вас, коммунистов, а не из буржуазных газет, что творилось в Советском Союзе, сколько миллионов было истреблено. Сталин не мог уничтожить всех собственными руками. И даже с помощью Берии, Абакумова, Рюмина и еще нескольких сообщников, которых вы назвали. Дайте нам цифры! Сколько судей, прокуроров, следователей, начальников лагерей, надзирателей, охранников было предано суду и наказано? Ведь у вас творилось совершенно то же самое, что в гитлеровской Германии. Судьи являлись на процесс с готовыми приговорами. Приговоры выносились так, что даже подсудимый об этом не знал. Дайте нам цифры и имена! Сообщите, что с ними случилось, с этими преступниками, где они теперь! А до тех пор — молчите!» Профессор Кауль, понятно, не нашелся, что ответить, и только кричал: «Провокация! Провокация!»

Я считаю не случайным, что Восточная Германия никогда не ответила ни на один запрос западно-германских следователей, занимающихся розыском военных преступников.

Вопрос. Вы сравнили преступления Сталина с преступлениями Гитлера. Не могли бы вы развить ваше сравнение, высказаться подробнее.

Ответ. Гитлеризм, национал-социализм был преступлением и в теории, и на практике. Сталинизм — только на практике. Меня занимает именно практический аспект сравнения: разоблачение преступлений и наказание преступников.

Я счастлив, что Солженицын в «Архипелаге ГУЛаг» приводит много имен. Те, кто выжил, обязаны называть во всеуслышание имена преступников — палачей, мучителей, лже-судей. Это их долг перед историей и, одновременно, предупреждение на будущее. Было бы полезно, по-моему, устроить несколько символи-

ческих процессов. Ведь времена Сталина миновали, власть КГБ — далеко не прежняя. И если сегодня в Париже или в Лондоне будет устроен символический суд над судьёю-преступником, убийцей невинных людей, сегодняшней судьёю призадумается, втянуть его в подобные преступления будет намного труднее. Конечно, и приговор будет символическим, привести его в исполнение нет никакой возможности, и все же мне хочется сказать тем из выживших, кто живет сегодня в свободном мире: выносите приговоры, они нужны вам, нужны как алиби для вас самих, как доказательство, что вы не молчали, выжив и оказавшись вне опасности. Помните, что многие другие всё еще в опасности.

Вы, вероятно, знаете, что я председательствовал на Сахаровских слушаниях. Многие удивлялись: «Вы тридцать лет разыскиваете нацистских военных преступников и их помощников — какое вам дело до Советского Союза?» Ко мне хорошо относятся итальянские левые, в том числе и коммунисты. Я выступил на пресс-конференции и сказал: «Я нахожусь в стране, где разоблачение фашизма считается важным делом. Но люди, которые борются с фашизмом у себя дома, не знают, что происходит в коммунистических странах. И если они не только не знают, но и не желают знать, они не имеют права называть себя антифашистами». Это мое заявление напечатали все итальянские газеты, многие — на первой полосе. Левые пришли на мою пресс-конференцию — не для того, чтобы сорвать ее, но чтобы выслушать меня, и слушали внимательно. Одна из самых левых газет, «Ла Република», взяла у меня интервью и напечатала его на двух полосах.

В связи с этим я хочу сказать, что только те коммунисты на Западе имеют реальные шансы на политическую власть, которые полностью отмежуются от преступлений Советского Союза и его сателлитов. Война и послевоенный период дали человечеству не-

забываемый урок. Этот урок могли усвоить и левые, в частности коммунисты. Если они, действительно, его усвоили и если они готовы бороться за власть демократическими методами, у них есть все шансы добиться своего. Конечно, существуют разные группировки. Некоторые из них восхищаются всем, что происходит в коммунистических странах. У таких группировок ни малейших политических шансов нет. Смотрите, коммунисты во Франции, в Италии, в Испании открыто критикуют Чехословакию и другие страны восточного блока. И у них есть перспективы и шансы в политической борьбе. А у португальских коммунистов — ни шансов, ни перспектив, потому что они поклоняются диктатуре. Такие коммунисты, как Карильо, говорят: люди с иной идеологией, чем наша, тоже имеют право на существование. Итальянские коммунисты способны вести серьезный диалог с другими политическими партиями. Это большой шаг вперед. Можно надеяться, что эти люди когда-нибудь до конца поймут, что путь коммунистических стран — ложный путь.

Но, пожалуй, еще важнее вот что. Самая страшная наша трагедия в нацистских концлагерях была в том, что мы думали: мир забыл про нас, нам никто не поможет и не может помочь. И в самом деле, когда мир узнал, что творится в Дахау и Освенциме, было слишком поздно. Но помочь многим в Советском Союзе еще не поздно. Даже такая огромная страна, как Советский Союз, не может сегодня жить обособленно. Поэтому она вынуждена принимать в расчет общественное мнение в других странах. Некоторые евреи на Западе говорили: не нужно всех этих демонстраций, не нужно озлоблять Советский Союз — евреев вообще перестанут выпускать. Это грубое заблуждение. Только благодаря демонстрациям, благодаря тысячам статей в газетах, благодаря открытой борьбе стала возможной массовая эмиграция евреев из СССР.

У власти в Советском Союзе стоят старики. Они неспособны перемениться. Может быть, со временем их сменят технократы, люди без идеологического «фона» — тогда, возможно, и ситуация станет иной. Мир сегодня более открытый, чем раньше, нет больше китайских стен. Даже сам Китай понял, какую цену ему пришлось заплатить за изоляцию последних десятилетий. Советские руководители всегда считали, что свободный мир хочет напасть на них, уничтожить их. Какие глупости! Я не знаю никого ни в Европе, ни в Соединенных Штатах, кто мечтал бы о войне, о насильственной перемене политической ситуации в СССР. Возможно, будущие руководители Советского Союза взглянут на вещи более трезво. Как бы то ни было, если Советский Союз изменит свою политику, это будет на пользу, прежде всего, ему самому. А если Запад старается защитить права человека, так это те самые права, которые записаны в советской конституции. Если бы советские граждане на самом деле получили права, гарантированные им их собственной конституцией, этого было бы вполне достаточно.

Вопрос. Но все-таки преступления сталинского времени — особая проблема.

Ответ. Да, конечно. Но в тот момент, когда архивы в СССР откроются в той же мере, в какой они открыты в Западной Германии, советские люди сами сделают все необходимое. Им не нужна будет помощь из-за рубежа. Они скажут: пришла пора правосудия. Когда архивы откроются, люди увидят, что произошло в их стране. Может быть, почти никого из преступников уже не будет в живых, может быть, все уже станет достоянием истории. Но история эта имеет огромное воспитательное значение для будущих поколений.

Вот и немцы сегодня работают сами. Я только помогаю им, иногда даже защищаю их, когда на них нападают. Но они работают прекрасно! Таков уж

немецкий характер: им приказывали убивать — они убивали, им приказывают искать убийц — они ищут. Немецкие следователи и обвинители знают, что они работают не только для сегодняшнего, но и для завтрашнего дня. Германия купила билет на вход в общество свободных народов. Цена этого билета — нравственное очищение посредством законного преследования и законного наказания преступников. Всему миру известно, что сейчас идет борьба за отмену срока давности по преступлениям, совершенным гитлеровской Германией во время второй мировой войны. Срок этот истекает в конце 1979 года. Я верю, что мы, антифашисты, выиграем эту борьбу. Немцы убедятся, что закрыть дела военных преступников опасно для них самих. Это будет загрязнением моральной среды, они будут вынуждены жить среди преступников, убийц, которые ускользнули от наказания. Этот вопрос не только политический или юридический. Это моральный вопрос. Немцы взяли на себя определенные моральные обязательства. Воскресить убитых невозможно, но наказание *всех* убийц есть моральное обязательство Германии. Моральный долг не имеет срока давности.

Вопрос. Вы упомянули процесс Эйхмана. Какова была официальная реакция блока коммунистических стран на вашу деятельность в ту пору, когда ваше имя стало известно всему миру, — после поимки Эйхмана?

Ответ. Самая положительная. Холодная война была еще в разгаре, вся коммунистическая пропаганда была направлена против Западной Германии, и дело Эйхмана было использовано в интересах этой пропаганды. Действительно, после поимки и процесса Эйхмана поиски военных преступников в Западной Германии стали намного интенсивнее. Советский Союз был очень доволен. Польша послала наблюдателей на процесс в Иерусалим. Пресса Восточной Европы печатала имена тех, кто прежде сотрудничал с Эйхманом,

а впоследствии занял высокое общественное положение в Западной Германии. В ту пору я был персона грата для коммунистических режимов. Меня приглашали читать доклады, присутствовать на судебных процессах. Я, правда, никогда не принимал этих приглашений: после освобождения из нацистского концлагеря я дал себе клятву, что никогда по доброй воле не поеду в страну, где нет свободы.

Но все их пропагандистские трюки имели одну цель: отвлечь внимание от их собственных преступлений. Ведь нацистские преступники всегда пользовались советскими преступлениями как своего рода смягчающим обстоятельством. Они говорили: мы не единственные в мире преступники, Советский Союз творил такие же преступления, а между тем на Нюрнбергском процессе он был в числе наших судей. В одной из последних моих книг я касаюсь этой проблемы. Я говорю о том, что на Нюрнбергском процессе в первом пункте обвинения значились преступления против свободы. Советские представители не имели права быть среди судей в Нюрнберге по этому пункту обвинения, потому что они повинны в тех же преступлениях. Пакт Риббентропа-Молотова был преступлением против свободы. Одним из его результатов была совместная борьба против польского Сопротивления. Гестаповцы и энкаведисты тесно сотрудничали, арестовывая польских патриотов по обе стороны демаркационной линии, разделившей зоны советской и немецкой оккупации. Ветераны европейского Сопротивления утверждают, что до 22 июня 1941 года существовало прямое сотрудничество между коммунистами и немецкими оккупантами в различных странах Европы и направлено оно было против национальных движений Сопротивления.

Вопрос. Вам, как мало кому другому, известно политическое прошлое тысяч и тысяч немцев. Есть ли

доля истины в утверждении, будто Аксель Шпрингер — фашист?

Ответ. Я знаю Акселя Шпрингера много лет. Он не левых убеждений, я бы сказал, что он правее центра, но не крайне правый. Однако некоторые левые, охотно рассуждающие о сосуществовании, не признают права на существование за тем, кто правее их. Я знаю твердо, что в любом действии, направленном против фашизма, можно рассчитывать на поддержку Акселя Шпрингера и его газет и журналов. Аксель Шпрингер — большой друг Израиля. Много лет он поддерживает Еврейское государство, не упускает ни единого случая помочь его правительству, не только теперь, когда у власти стоят правые, но все те годы, когда страной управляло социалистическое правительство. Я встречался и беседовал со Шпрингером много раз, и я убежден, что это по-настоящему честный человек.

Далее. Во всякой борьбе против диктатуры, особенно — против восточноевропейских диктатур, всегда можно рассчитывать на Шпрингера, потому что он понимает: фашизм — не монополия правых, фашизм может быть и левым, фашизм не имеет определенного цвета. Если некоторые фашисты объявляют себя левыми — ради Бога, это их право: они исповедуют левый фашизм. А если они объявляют себя правыми — это правый фашизм.

У Акселя Шпрингера есть враги. Почему? Потому что он богат. И потому что он не идет на компромиссы.

Я знаю, он симпатизирует моей работе. Когда мне нужна помощь его газет (замечу мимоходом, что «Ди вельт» — прекрасная газета), он никогда не отказывает мне в этой помощи.

Его называют фашистом? Что же, советская печать и меня называет фашистом. Там не нужны никакие доказательства. Доказательства нужны только в

свободных странах, а диктатура не нуждается в доказательствах. Она утверждает — и этого довольно.

Газеты Шпрингера разоблачают диктатуру в Восточной Европе с самого начала, последовательно и бескомпромиссно. Правительства и движения, истребившие миллионы людей, никогда не будут пользоваться его симпатиями или хотя бы благосклонным молчанием. Они это прекрасно знают. И они тоже последовательны в своем роде: кто их разоблачает, тот фашист.

Я уверен, что есть люди с настоящим, невымысленным фашистским прошлым, которые теперь занимают ведущие позиции в западногерманской прессе. Такие люди никогда не вступают в борьбу с восточно-европейскими диктатурами. Потому что они знают: их прошлое известно *там*.

ВИЗЕНТАЛЬ Симон — родился 31 декабря 1908 г. в Бучаче (Галиция, позже Польша, ныне Украина). Учился архитектуре в университетах Праги и Львова и до Второй мировой войны был профессиональным архитектором. После раздела Польши 1939 г. жил во Львове. Годы 1941-1945 провел в нацистских концлагерях. После конца войны поселился в Австрии, где создал и возглавил Еврейский исторический документационный центр, сперва в Линце, а затем в Вене. Центр этот собрал важнейшие сведения о катастрофе европейского еврейства в годы Второй мировой войны и сыграл не менее важную роль в розысках нацистских преступников.

Симон Визенталь — президент Ассоциации еврейских жертв нацизма; награжден почетным дипломом Международной Федерации Движений Сопротивления.

Основные книги Симона Визенталья: «Концентрационный лагерь Маутхаузен» (1946), «Верховный муфтий — агент стран Оси» (1947), «Я охотился за Эйхманом» (1964), «Убийцы среди нас» (1967), «Подсолнечник» (1969), «Паруса надежды» (1973), «Дело Кристины Яворской» (1975).

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

С ноября 1978 г. «Тетради Самиздата» издают «Информационный бюллетень» (2 выпуска в месяц).

Если целью «Тетрадей» является ознакомление читателей с наиболее важными статьями, заявлениями и др. материалами, распространяемыми в Самиздате участниками демократического (правозащитного) движения в СССР, то «Бюллетень» имеет целью оперативно сообщать свежую информацию о событиях, связанных с этим движением: об образовании и деятельности общественных групп, демонстрациях протеста, арестах и насильственных психиатрических госпитализациях, положении узников совести и других фактах, имеющих отношение к правозащитному движению в широком смысле слова (включая национальные движения, защиту прав верующих и т. п.).

«Бюллетень» выходит под редакцией д-ра Кронида Любарского, бывшего политзаключенного, до своей эмиграции — распорядителя Русского общественного фонда помощи политзаключенным и члена Московской группы «Международной амнистии».

Информация, публикуемая в «Бюллетене», поступает из многих источников, в том числе независимых. Сбор ее происходит на основе так наз. «Информационного пула», участники которого (видные диссиденты, общественные организации и т. п.) на кооперативных началах обмениваются поступающей к ним из СССР информацией.

Сейчас «Бюллетень» издается только по-русски, но планируется его перевод на основные европейские языки.

Начало издания его стало возможным благодаря материальной поддержке русской колонии в Брюсселе.

С 1 января 1979 г. «Информационный бюллетень» открыт для подписки.

Условия подписки

Подписная плата на год (24 номера):

В Европе: 750 бельг. фр. (110 фр. фр., 50 н. м.).

Вне Европы (США, Канада, Африка): авиапочтой 900 бельг. фр. (30 дол. США).

Подписка производится через издателя «Тетрадей Самиздата» (Брюссель). Anthony de Meeûs, 105 drève du Duc, 1170-Bruxelles.

Деньги направлять на почтовое konto «Тетрадей Самиздата» в Брюсселе или почтовым переводом с пометкой «Бюллетень». Compte chèques postaux (CCP) N° 000-0971885-42 (Bruxelles).

Во Франции подписка производится только таким образом (не банковскими чеками). При присылке чеков из других стран просьба добавлять 100 бельг. фр. (3,5 дол. США) на покрытие банковских расходов.

МОСКОВСКАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

8 декабря 1978 г.

Документ № 69

30 лет Всеобщей Декларации Прав Человека

О Б Р А Щ Е Н И Е

Всеобщая Декларация Прав Человека, принятая Объединенными Нациями 30 лет назад, стала важнейшим этапом в формировании гуманитарных принципов современного общества. Незадолго до ее принятия окончилась вторая мировая война и был уничтожен гитлеровский нацизм, совершивший величайшие преступления против человечества. Смерть Сталина положила конец его не менее преступной диктатуре.

Но и сейчас во многих странах мира, в том числе в СССР, провозглашаемые Декларацией принципы еще далеки от своего осуществления.

В СССР нарушаются многие важные статьи Всеобщей Декларации Прав Человека:

ст. 19 — свобода убеждений и свобода получать и распространять информацию,

ст. 13 — право на свободный выбор страны проживания и места проживания внутри страны,

ст. 18 — свобода религии,

ст. ст. 10, 11 — гласность и справедливость суда,

ст. 5 — запрещение жестоких и унижающих достоинство человека наказаний,

ст. 20 — свобода ассоциаций,

ст. ст. 23, 26 — в противоречии с духом этих статей не обеспечено отсутствие национальной и идеологической дискриминации в труде и образовании. Не обеспечена свобода профсоюзов,

ст. 15 — право на сохранение гражданства и его изменение,

ст. 12 — тайна корреспонденции и неприкосновенность жилища.

В разной степени нарушаются и некоторые другие статьи.

Серьезным нарушением является то, что, вопреки призыву Генеральной Ассамблеи ООН «сделать всё возможное для распространения, оглашения и разъяснения Всеобщей Декларации Прав Человека, особенно в школах и других учебных заведениях», в СССР текст Декларации неизвестен широким слоям населения.

В 60-70-х годах в СССР сформировалось движение за Права Человека, опирающееся на принципы Всеобщей Декларации Прав Человека. Письма и заявления в защиту отдельных людей, статьи, литературные произведения и исторические труды, письма и дневники из лагерей и тюрем, подробные записи судебных процессов, деятельность Инициативной группы защиты Прав Человека в СССР, Комитета Прав Человека, регулярное издание «Хроники текущих событий», документы Групп-Хельсинки, Комитета прав верующих, Рабочей комиссии по психиатрии и др. — всё это вскрыло перед советской и мировой общественностью множество фактов нарушения основных прав и явилось важным вкладом в формирование общемировой идеологии защиты прав человека, способной объединить на гуманистической основе многих людей на земном шаре, вне зависимости от расы, национальности, вероисповедания, социального положения и гражданства.

Мы убеждены, что ответственность за соблюдение прав человека лежит не только на государстве, но и на гражданах.

Выражая свою приверженность Декларации Прав Человека, стремясь к гуманизации общества и защите прав человека так, как они сформулированы в Пактах о Правах и в Хельсинкском Акте, мы считаем необходимым:

Освободить всех узников совести;

Отменить ст. ст. 70 и 190-1 УК РСФСР (и соответствующие статьи УК союзных республик), дающие возможность преследования за убеждения, за обмен информацией и идеями;

Отменить часть ст. 64 УК РСФСР (и соответствующих ст. УК союзных республик), дающую возможность преследовать за попытки осуществления права выбора страны проживания и за убеждения;

Отменить все препятствия в осуществлении права на свободный выбор страны проживания (права покинуть свою страну и возвращаться в нее) и выбор места проживания внутри страны;

Прекратить преследование верующих всех Церквей. Обеспечить подлинное отделение Церкви от государства;

Кардинально изменить режим в тюрьмах и спецпсихбольницах, гуманизирував Исправительно-трудовое законодательство;

Ликвидировать принудительный труд в местах заключения, в ссылке и при условно-досрочном освобождении; отменить ст. 209 УК РСФСР (и соответствующие статьи УК союзных республик);

Прекратить психиатрические репрессии по политическим мотивам;

Прекратить дискриминацию в образовании и труде по национальности, убеждениям, вероисповеданию, после отбытия наказания по суду и в связи с преследованием родственников;

Обеспечить гарантии свободы профсоюзов и других ассоциаций;

Прекратить нарушения внутреннего и международного обмена информацией: нарушения почтовой, телефонной, телеграфной связи;

Отменить все решения о лишении гражданства по политическим мотивам.

Настоящим документом мы обращаемся к правительствам СССР и 34 стран, совместно подписавшим Хельсинкский Акт, а также ко всем Объединенным Нациям, 30 лет назад провозгласившим Всеобщую Декларацию Прав Человека «в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства».

Обращение открыто для подписей в течение года в нашей стране и вне ее для тех, кто вместе с нами стремится к реальному воплощению в жизнь Всеобщей Декларации Прав Человека, полагая, что это гарантирует не только личную свободу и жизнь, но и мирное существование на Земле.

Елена Боннэр, Софья Каллистратова, Мальва Ланда, Наум Мейман, Виктор Некипелов, Татьяна Осипова, Юрий Ярым-Агаев.

10 декабря к этому обращению присоединились 76 человек, в том числе *Татьяна Великанова, Андрей Сахаров, Раиса Лерт, Александр Лавут, Леонард Терновский, Евгений Николаев, Мария Петренко-Подъяпольская, Вера Ливчак, Ирина Каплун, Сарра Бабенышева, Нина Комарова, Григорий Гольдштейн, Ирина Жолковская (Гинзбург), Ирина Валитова (Орлова), Леонид Щаранский, Ида Мильгром, Лидия Чуковская, Владимир Корнилов, Лев Копелев, Георгий Владимов, Наталья Владимова, Нина Строкатова, Юлия Закс, Владимир Войнович* и др. К середине января в СССР было собрано более 300 подписей.

СБОР ПОДПИСЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В СССР И ЗА ГРАНИЦЕЙ

Читатели «Континента» за рубежом! Распространяйте текст Обращения и собирайте подписи в странах, где вы живете. Подписи присылайте по адресу: Vladimir Maximov. 11 bis, rue Lauriston, 75116 Paris, France, или по адресам представителей «Континента».

Специальное приложение

В Берлине 20 августа 1978 года издатель Аксель Шпрингер был награжден медалью «Друг Соединенных Штатов». Медаль эта учреждена Американским Фондом Свободы в Велли Фордж как высшая награда для не-американцев за «слово и дело в защите свободы».

Фонд, основанный в 1949 году Дуайтом Эйзенхауэром, ежегодно в день рождения Джорджа Вашингтона награждает преимущественно американцев, посветивших себя делу свободы. На месте нахождения Фонда, в Велли Фордж, штат Пенсильвания, два века тому назад отставной прусский генерал Фридрих Вильгельм Штойбен обучал войска Джорджа Вашингтона, который позднее стал первым президентом Соединенных Штатов. С этими войсками Вашингтон победил в войне за Независимость.

РЕЧЬ АКСЕЛЯ ШПРИНГЕРА

Я глубоко благодарен за этот праздничный час. Редко представляется день более подходящий, чем сегодня, чтобы один час этого дня посвятить Свободе. Ведь ровно десять лет тому назад советские войска вместе с болгарскими, венгерскими, польскими и, разумеется, с восточногерманскими вошли в Прагу, чтобы растоптать гусеницами танков ростки свободы и похоронить мечту о совместимости коммунизма с демократией.

Урок этого вторжения армий коммунистических государств в такое же коммунистическое государство забывать нельзя.

Дамы и господа! Я благодарен всем, кто сегодня присутствует здесь.

Я бесконечно благодарен руководителям Фонда Свободы в Велли Фордж и всем тем, кто сегодня их здесь представляет.

Вы сочли мое имя достойным стоять рядом с именами трех человек, которых вы ранее отметили медалью «Друг Соединенных Штатов».

Эти трое — патриоты своих стран и в то же время настоящие друзья США.

Первый из них — филиппинский президент Рамон Магзейей, крестьянин-солдат, который с успехом боролся против коммунистического движения Хука у себя на родине, одновременно укрепляя филиппино-американскую дружбу.

Второй — сэр Уинстон Черчилль, без отваги и твердости которого Гитлер мог бы победить свободный мир. Чер-

чилль, человек, который создал Атлантический союз и который первым протянул дружескую руку побежденным немцам.

И третий — Александр Солженицын, человек, который выбрал Америку своим домом, после изгнания из родного дома, пророк, который предупреждает Америку об опасностях, предупреждает сурово, ибо любит ее.

Думая об этих своих предшественниках, я могу только сказать: я этим могу гордиться. Я чувствую себя среди них своим и мне остается скромно благодарить их и вас.

Вручение мне медали именно здесь, в Берлине, значит для меня очень много: этот город стал международным символом сопротивления тираниям и маяком надежды для всех угнетенных народов Восточной Европы.

Дамы и господа! Вы прибыли в рассеченный город, в рассеченную страну. «Это разделение невыносимо, даже если оно — результат нашей собственной вины», — так я писал несколько недель тому назад президенту Картеру и добавил, что разделение невыносимо даже для нас, живущих в западной части нашей родины, «для нас, не подвергающихся тому, чему подвергаются наши соотечественники на востоке Германии». Позвольте мне добавить к этим словам следующее: дом, где мы собрались сегодня, стоит прямо напротив Стены Позора, самого абсурдного сооружения, которое когда-либо существовало в Европе.

По декрету оккупационных властей четырех Держав, весь Берлин должен был быть демилитаризованным городом. И мы, немцы, живущие в нашей части Берлина, безоружны, в то время как восточная часть, вооруженная до зубов, бряцает оружием.

«Сегодня много говорят, — писал я там же, — о молодом человеке по имени Нико Хюбнер. Он всерьез требовал демилитаризации и сейчас за это сидит в тюрьме, как мог бы оказаться там при нацистах».

Я просил Президента обратить особое внимание на случай с Нико Хюбнером, и сегодня я прошу вас всех, и особенно вас, губернатор Коннели: вот человек, который отстаивает свои права, которые одновременно являются и правами США в Восточном Берлине, — помогите нам и себе их реализовать, помогите тем шести тысячам политзаключенных, которые страдают сейчас в Восточной Германии. Вот он — немецкий ГУЛаг: тут рядом, за стеной! Фотография Нико

Хюбнера — здесь на стенде. И еще три других. На одной из них — пятнадцатилетний еврейский мальчик, взятый в Польше и увезенный нацистами в лагерь смерти. К счастью, ему удалось бежать — как мы недавно узнали, он выжил. Но миллионы других закончили жизнь в газовых камерах. Я поместил здесь на стенде эту фотографию, как знак того, что нельзя забывать, что творили нацисты вчера, когда мы говорим о том, что делают коммунисты сегодня.

Долгие годы после войны я с чувством стыда показывал свой немецкий паспорт, когда мне случалось пересекать границы. Чувство вины живет в душах немцев и поныне по отношению к миллионам людей, и в особенности по отношению к еврейскому народу.

Но я не столько думаю о самой войне, сколь бы ужасна она ни была, сколько о том, что ей сопутствовало. Ведь войны были и раньше, правые и неправые, выигрывались и проигрывались, а История продолжает идти своим путем. Но то, что сопутствовало последней войне, хуже всех войн: уничтожение мирного населения и, прежде всего, шести миллионов евреев, смерть неповинных людей. А малышей, грудных младенцев, головы которых разбивали о кирпичную стену! Их может кто-нибудь забыть? А зубные врачи, которые должны были ждать, пока их единоверцы умрут жестокой смертью, а потом вытаскивать изо ртов мертвых золотые зубы — на алтарь нацистской военной машины! А после выполнения этой ужасной и отвратительной обязанности эти дантисты сами были обречены на такую же смерть.

Вот только два примера. Из многого множества. Я еще о многом мог бы рассказать... Я знаю, что это — именно это более, чем любые другие причины, принесло Германии возмездие, принесло справедливое поражение в войне, но оно — это поражение — открыло, к сожалению, советским войскам путь в Берлин и дальше на Запад!

Дамы и господа! Со времени Второй мировой войны немцы в Федеративной республике, и особенно жители свободной части Берлина, старались постоянно искупать свою вину. К тому же, стремление к свободе одинаково и тут и там. Этот голод по свободе заставлял бежать на Запад тысячи и тысячи людей — вплоть до 13 августа 1961 года, когда те, кто распоряжаются Восточной Германией, вместе с их

господами из Москвы закрыли внутригерманскую границу и выстроили Берлинскую стену.

В этот августовский день, 17 лет назад, молодой солдат армии ГДР перепрыгнул через только что поставленный забор из колючей проволоки и с тех пор живет среди нас (вот фотография этого исторического прыжка к свободе). Свое оружие он тогда сдал западноберлинской полиции. Его сигнальный свисток, которым он должен был подымать тревогу при различных происшествиях, хранится как драгоценная реликвия в моем сейфе.

Несмотря на существование стены, многие пытаются все же бежать на Запад. Немногим это удалось, но гораздо больше тех, чьи попытки закончились неудачей. Я мог бы рассказать вам сотни историй о мужестве, отчаянии и гибели. Но ограничусь одним случаем, ибо он симптоматичен: он говорит о той вине, которая лежит на всех нас.

Через год после возведения стены молодой строитель по имени Петер Фехтер попытался перебраться в Западный Берлин прямо под окнами нашего издательства. Он преодолел первые заграждения и взобрался на стену. Его настигло множество пуль безжалостной охраны. И он упал на землю Восточного Берлина.

Один американский офицер стоял совсем недалеко, почти рядом, и видел, как человек истекал кровью. Офицер считал, что не имеет права вмешиваться, так как это может вызвать международные осложнения.

Вина лежит и на моем издательстве: наш вклад в этот акт бесчеловечности состоял в том, что мы не помогли человеку, а только сделали серию фотографий и передали их в газеты всего мира.

Все, конечно, было в соответствии с буквой закона... Но часы Господа идут по-иному...

Как мы не имеем права забывать о шести миллионах убитых евреев, так же должны мы каждый день вспоминать о Петере Фехтере и о всех других, жаждущих свободы: в тюрьмах, лагерях, психушках или еще где-либо в этом огромном концлагере, который начинается тут и тянется от этой стены до Тихого океана.

Я хотел бы назвать еще одно имя: несколько дней тому назад Томас Штеффен, двадцатилетний инструментальщик из Восточного Берлина, был приговорен к двум годам

лишения свободы. В чем же его преступление? Ссылаясь на Хельсинкское совещание, на его Заключительный акт, подписанный в числе других и правительством ГДР, он провел демонстрацию в защиту своего права переехать к матери, живущей в Западной Германии. Судили его в нескольких сотнях метров отсюда, на границе между добром и злом. Это напоминает мне один случай, который я и хочу вам рассказать.

В одном из моих последних разговоров с Конрадом Аденауэром, который касался западно-восточного конфликта, бундесканцлер вдруг сказал: «В действительности, господин Шпрингер, это очень просто. Здесь разделяются добро и зло». — «Это так, — ответил я, — только мы обязаны знать, что и мы сами можем быть чем угодно, кроме добра». Добро ли мы? — спрашиваю я вас, дамы и господа. А если мы — не добро, так как ни один смертный не может быть олицетворением добра, то хотя бы умны ли мы? Я в это не верю. Точно так же, как весь мир прислуживал Гитлеру, так же сегодня мы унижаемся перед Советским Союзом, помогая ему уничтожить нас.

Сегодня, как и тогда, нас предостерегают. И Владимир Буковский, русский борец против режима, и Джордж Мини, Большой Старик американского профсоюзного движения. Оба требуют, чтобы Москва не была местом Олимпиады 1980 года.

В 1936 году Олимпиада состоялась в Берлине. Другой американец, Эвери Брэндедж, приехал тогда в германскую столицу. Он позволил себя обмануть этому государству много образцового порядка.

«Почему мы должны ехать в страну, где права человека нарушаются?» — спрашивает сегодня Джордж Мини. «Что делать нам в стране, преследующей евреев?» — спрашивал мир в 1936 году.

Но Гитлер и Геббельс были умнее, антисемитские лозунги были смыты со стен домов. Государство бесправия симулировало доброжелательность. «Всё о'кей в Берлине!» — телеграфировал Брэндедж на родину. И американские спортсмены поехали в Берлин вместе с лучшими спортсменами всего мира. «Очаровательная страна, страна мира и законности — вот что такое Германия», — рассказывали они позже. И это было в 1936 году! Через три года началась война.

Я надеюсь, что история не повторится, я молюсь, чтобы она не повторилась. Если мы будем начеку — она не повторится. Если мы не забудем тысячи Нико Хьюбнеров, которые сейчас сидят в тюремных камерах или совершают в данный момент прогулку по тюремному двору, униженные, испытывающие невероятные мучения телесные и духовные.

Кроме Господа — мы их единственная надежда.

Дамы и господа, одно я могу вам обещать: мое издательство, которое совсем не случайно стоит на берлинской улице, носящей имя Иерусалима, мои газеты не забудут этих несчастных. Мы не можем быть спокойны, когда они страдают и умирают, мы не будем бежать от своей ответственности.

Когда президент Картер приехал в Берлин, он захотел встретиться со мной. В нашей короткой встрече я трижды поблагодарил его: прежде всего, за посещение нашего города, затем за поддержку, которую оказывает Берлину американский народ и без которой не было бы тут никакой свободы, и, наконец, за поддержку Америкой Израиля, государства, которое было создано во многом из-за нашего, немецкого греха.

В нашем издательстве мы разработали для наших газет некоторые уставы, которых мы неизменно придерживаемся. В одном из них сказано: «Работать в направлении примирения с евреями и отстаивать право израильского народа на национальное существование».

Я хотел бы поблагодарить и вас, мои американские друзья, не только за вашу позицию в отношении Берлина, но и за вашу верность Израилю, народу, вернувшемуся на землю предков, как это было провозглашено в Библии. Я думаю, что слова, сказанные благочестивой женщиной по имени мать Базиля Шлинк, являются чистой правдой. Она сказала: «Какая радость для Отца Небесного, что Его народ показал, наконец, свои истинные дарования, которые были даны свыше, и именно в своей стране, на своей земле, после сотен лет запретов и ограничений».

Дамы и господа, наконец, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы удостоили меня чести, наградив этой почетной медалью «Друг Соединенных Штатов». Эта медаль для меня — новый стимул. Я обещаю вам сегодня, что я и мое издательство не сложим оружия в борьбе против бесправия, в

борьбе против преследований за убеждения, в борьбе за лучший мир для всех народов. Мы останемся верны идеалам, которые отстаивает Американский Фонд Свободы.

Человек, который стóбит целой страны

Если современные фараоны Евразии нуждаются в «десяти бедствиях», чтобы освободить угнетаемые ими народы, — что ж, первое из этих бедствий зовется Будапешт, второе — Прага и третье — Солженицын. Каждое из двух первых представляет собой нацию, третье — один-единственный человек, но значительность этого человека равна значительности целой страны.

Когда мы, венгерские писатели, оказали сопротивление нашим собственным гауляйтерам, наш мини-Сталин сказал нам в бешенстве: «Совершенно невымыслимо, чтобы в одной стране было два центра: Центральный комитет и Ассоциация писателей». И вот теперь в глазах всех свободных людей существуют две России: Россия официальная и Россия Солженицына.

После некоторых его заявлений мои друзья иногда спрашивают меня: «Неужели вы согласны с этим?» В большинстве случаев я согласен, но бывает, что и не согласен. Ну и что же? И когда наши западные друзья, наконец, поймут, что нам до смерти надоело быть всегда и со всем согласными, что для нас освобождение от вечного «единогласно!» — настоящий праздник!

Главное заключается в том, что на протяжении последних 60 лет не было никого, кто сделал бы столько для разоблачения преступлений, противоречий и лжи так называемого социалистического режима, сколько сделал этот шестидесятилетний человек. Никто не сделал столько, сколько он, чтобы показать настоящее лицо России и подтолкнуть ее к действию. Ибо если малые народы — как мой народ — часто, даже слишком часто, становятся игрушками великих, то великие народы — такие, как русский, — несут особую ответственность за свою собственную судьбу. Великий народ не может ни довольствоваться оплакиванием судьбы, ни обвинять другие народы в безразличии или недостатке смелости; он должен стать хозяином своего будущего. Будем надеяться, что после того, как громкий голос Солженицына разбудил Запад, он освободит от немоты и свой собственный народ, своих собственных соотечественников.

Писатели часто спрашивают себя, есть ли что-либо в их произведениях — хотя бы одна книга, одна страница, одна фраза — что переживет их. Как счастлив Солженицын — ему не надо мучить себя этим вопросом! И пусть это счастье — «*exegi monumentum aere perennius*» освещает его шестидесятилетие, каждое из его новых произведений, всю его дорогу, всю его борьбу!

*Тибор Мераи, директор «Irodalmi Ujság»
(«Литературная газета»), Париж*

МОСКОВСКАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ
ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

18 октября 1978 г.

Документ № 64

*Пропагандистская кампания дискредитации
правозащитного движения в СССР*

Власти ведут усиленную и все более расширяющуюся кампанию дискредитации правозащитного движения в нашей стране, используя в этих целях ложь и клевету.

Формально открытые суды над правозащитниками, Руденко, Тихим, Гаяускасом, Винсом, Орловым, Гинзбургом, Щаранским, Пяткусом, Слепаком, Лукьяненко, Подрабинекон и другими, — проводились закрыто и ни об одном из них не появилось отчетов в официальной прессе. Но в то же время официальная пропаганда — ТАСС, пресса, радио, телевидение, партийные пропагандисты, офицеры КГБ и даже судьи — распространяют ложные измышления о правозащитниках и правозащитном движении в целом. Искажаются — в сторону усугубления и добавления обвинений и еще большего опорачивания осужденных — даже приговоры отнюдь не объективных судов.

Эта кампания особенно интенсифицировалась с середины нынешнего года. По имеющимся у нас, по-видимому, далеко неполным данным в ней участвовали: «Правда», «Известия», «Литературная газета», «Комсомольская правда», «Неделя», журналы «Огонек» и «Новый мир», «Знамя» (газета Калужской области), «Литературная Украина» (и еще не менее 7 газет, издающихся в Киевской области), «Ленинская молодежь» (газета Львовской области), «Ленинский прапор» (Пустомытский район, Львовской обл.), «Ленин-

ское знамя» (Тенькинский район, Магаданской обл.), горьковская газета, литовские газеты; «Голос Родины» и «Вести с Украины» (издающиеся в СССР газеты для эмигрантов, не поступающие в широкую продажу в нашей стране).

Повторяя вымыслы официозов и ложь, распространяемую следственными органами, добавляя новую клевету, брань и угрозы террористическими актами, один за другим следуют анонимные «меморандумы», идет поток анонимных писем, преимущественно порнографического содержания, и телефонных звонков.

В конце сентября в эту кампанию своими открытыми письмами включился известный в СССР и на Западе историк и «диссидент» Рой Медведев.

В наших руках имеются десятки писем и заявлений, индивидуальных и коллективных, разоблачающих и опровергающих эту клевету. Советская пресса такие документы не публикует. Нам известно также о десятках заявлений, направленных в прокуратуру и в суды, в частности от политзаключенных, с просьбами дать им возможность выступить на суде в качестве свидетелей — с опровержением обвинений, которые, очевидно, будут выдвинуты против правозащитников, с показаниями об их человеческих достоинствах (такое заявление было направлено, в числе многих других, известным правозащитником узником совести Сергеем Ковалевым). Ни одно из этих заявлений не было удовлетворено.

Примеры, характеризующие кампанию опорачивания правозащитного движения в СССР, недавно осужденных правозащитников, а также других узников совести, отбывающих или уже отбывших наказание, и близких к ним лиц, приведены в Приложении к настоящему документу.

Мы сочли необходимым вскрыть сущность этой клеветнической кампании прежде всего потому, что большинство лиц, против которых она направлена, находятся в заключении в полной изоляции.

Члены московской Группы «Хельсинки»:

Е. Боннэр, С. Каллистратова

М. Ланда, Н. Мейман

В. Некипелов, Т. Осипова

Публикуемые ниже материалы являются ответами на «Открытое письмо Р. Лерт» Роя Медведева. По дошедшим до нас сведениям, существует два варианта этого письма, причем подлинность подписи под одним из них оспаривается представителем автора за рубежом Жоресом Медведевым. Не имея в настоящее время возможности получить из первоисточника действительно оригинальный текст, мы ограничиваемся здесь публикацией подборки ответов на него ряда достаточно авторитетных и ответственных представителей нашего демократического движения.

Редакция

О Т В Е Т

Рою Медведеву на его «Открытое письмо Р. Б. Лерт».

Многоуважаемый Рой Александрович!

На письма, в том числе и открытые, обыкновенно отвечают те, кому они адресованы. Однако ж, во-первых, один из вариантов своего письма Вы зачем-то же мне привезли — верно, чтоб я на него как-то «отреагировал». А во-вторых, по странным сюжетным соображениям, адресуясь к редактору журнала «Поиски» с обидой на уязвившего Вас П. Егидеса, Вы не только бросаете перчатку людям непричастным и неповинным, сказать не преувеличивая, всему нашему правозащитному или демократическому движению.

На первый взгляд, это не главное в Вашем письме, всего лишь брюзгливая преамбула или как бы увертюра к схватке — для устрашения противника видом напрягшихся бицепсов, замахом раззудившегося плеча. Но где-то за серединой письма смутно ощущаешь вдруг, что вся соль его позади: придать Вашему спору с П. Егидесом интерес всеобщий, принципиальный — не удалось. (А м. б., и не ставилось целью?) Письмо

увязает в частности, волнующих нас куда меньше, нежели сказанное мимоходом. Архитектоника головастика: с тоненьким хвостиком и объемным началом. Намеренно ли это, случайно ли — не имеет значения: второе даже предпочтительней: больше истины высказывает человек, когда проговаривается.

Словом, есть смысл говорить лишь о первых полутора страничках.

Вы познакомились — по материалам — с калужским процессом Александра Гинзбурга, возмутились жестокостью приговора, но мнения о самом подсудимом не переменили. Вы ему от себя еще добавили обвинений — в тщеславии, легкомыслии, неосторожном обращении с документами, «странной склонности к составлению различного рода картотек, которые содержали тысячи адресов и фамилий». Вам тяжело думать, Вы «порой ужасаетесь», как много других людей могли пострадать от изъятия этих бумаг при обыске — и тем недобрый словом поминаете Юрия Орлова, Валентина Турчина, Анатолия Щаранского, Андрея Твердохлебова.

Правда, ни одного из многих — пострадавших или могших пострадать по вине Гинзбурга или Орлова — Вы не называете, хоть это и не прибавило бы им опасности, коль скоро они все равно под колпаком у наших славных компетентных органов. Но Ваши обвинения все же достаточно серьезные, чтоб в них разобраться — как со стороны моральной, так и теоретической.

Может быть, Вы сторонник того взгляда, что полемисту, истины ради, не следует считаться с положением оппонента — лежачим или стоячим. Но нет, применительно к себе Вы такой жесткий взгляд отвергаете: «...Сейчас, когда и я, и моя семья, и мои близкие стали предметом особенно изоциренной травли, когда на самом высоком уровне обсуждается вопрос — как заставить замолчать Роя Медведева, я не

могу рассматривать распространение открытых писем, подобных письму Егидеса, иначе, как поступок недостойный...»

Достойнее ли в таком случае говорить о «легкомыслии» или «тщеславии» Гинзбурга, или Орлова, или Щаранского, когда они прежде всего лишены того преимущества, каким Вы сейчас пользуетесь, обращаясь с открытым письмом к Р. Лерт: о Вас еще только рдят «на самом высоком уровне», а их речевой аппарат уже заткнут кляпом. Достойно ли попрекать Гинзбурга банкетом по случаю сорокалетия, когда Вам доподлинно известно, что многие предыдущие свои дни рождения и свадьбу он справлял в тюрьме, там же встретит свой сорок второй и сорок девятый годы. Достойно ли переписывать из протоколов суда, что Гинзбург «много якшался с уголовниками и устраивал им обильные угощения»? И опять же, не называя никого, а ведь начини называть, тут же и кончишь: из уголовников окажется один Градобоев, натасканный и выставленный против Гинзбурга; зачем же так доверчиво принимать сторону обвинения, когда Вы знаете и пишете об этом — свидетелей защиты суд не пустит в зал. Впрочем, Вы подчас даже благосклонны к Гинзбургу, Вы ему не отказываете как распорядителю Русского общественного фонда в моральном праве использовать часть средств и на свои личные нужды, на дом в Тарусе или квартиру в Москве... Странное какое отпущение греха — оно хотя и расходится с мнением «Литгазеты» и суда, самую версию, что Гинзбург-таки пользовался из Фонда, подтверждает и узаконивает. Не приходило ли Вам на ум, что найдутся свидетели, эту версию опровергающие, и свидетели и документы?! Право, уж столько помоев вылиты — и еще прольется — на этот злосчастный Фонд, что и не представить, как бы оправдался Гинзбург перед целым миром без своей скрупулезной отчетности, без «странной

склонности к составлению карточек» и прочей, как Вы говорите, бухгалтерии.

Ваши упреки, разумеется, увязаны с теорией, они в русле конструктивной, дружественной критики этих наивных, беспечных организаторов «революционных групп», которые, как Вы пишете, «совершенно не учитывали всей сложности такого дела в нашей стране». Здесь ведь нужна не только личная смелость, но и большое искусство, умение, знание «правил игры» и многие другие качества. К этому, собственно, и сводится главная Ваша мысль — прежде надо было научиться политической борьбе, затем уж в нее вступить. Оно-то, может, и справедливо, — хотя, гласит пословица, — «работа учит», столярами делаются, взявши рубанок и испортив несколько досок, — да вся беда, что нет таких университетов, где б нам преподали «всю сложность», и именно «в нашей стране», учат другому — как можно более радостному приятию своего бесправия. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно» и так далее. И как-то не вдохновляет пример Сталина, бежавшего то ли пять, то ли шесть раз из туруханской ссылки, ни ловкость Ильича, съедавшего при входе надзирателя молочную чернильницу из хлебного мякиша, — как говорится, эпоха была не та, и харч не тот. Однако ж совсем без понятия не оставила нас великая русская литература, кое-что рассказала нам — и довольно брезгливо — о шигалевских «пятерках», так глухо законспирированных, что каждой из них не только о смежных пятерках ничего не известно, но и что в России делается, в каком направлении двигаться всем. Вот эту брезгливость в первый свой час впитало нынешнее демократическое движение, высказывая и декларативно, и всеми своими действиями полную открытость, небрежение какой бы то ни было конспиративной заговорщицкой «игрой».

И в этот же час, еще как бы ничего не добившись,

оно уже победило нравственно. Отказавшись спуститься в подполье, оно это предоставило своим преследователям и притеснителям, и чудесная перемена произошла на наших глазах: ниже нижнего этажа работают те, кто так грозно стучал когда-то наганом по столу, кто так картинно над нами высился, обтянутый героической черной кожанкой. Я беру примеры из Вашего же письма, чем теперь промышляют наследники железного Феликса, эти бравые и находчивые штирлицы, бывшие завидные женихи, образцы — чёрт меня дерь — мужской доблести: различные виды давления и шантажа, анонимные письма, анонимные звонки, появление в Москве и за границей фальшивок, подписанных Вашим именем, перлюстрация писем, прослушивание телефонных разговоров. Каждый из нас еще бы многое сюда добавил, да всех мерзопакостей не перечислишь, тут надобно целое отдельное исследование, и думаю, такая книга вскоре появится, — но главное впечатление уже есть, и оно неотразимо и однозначно: ни дать, ни взять — шурует подпольная террористическая организация, с тем лишь отличием, что не гонима правительством, а стоит при власти. И самые эти судебные процессы, так тщательно ограждаемые от глаз и ушей мира, процессы, которых власти боятся больше, чем подсудимые, и после которых стали слабее, чем до, — мы в полном праве назвать подпольными. И на мой взгляд, самую верную позицию в таком судилище избрал самый юный из подсудимых — Саша Подрабинек: все-то ихнее судоговорение пропустил промежду ушей, промолчал весь процесс, давши понять самым непонятливым: нет у нас с ними никакого общего языка, вывели они себя из пределов человеческого общения.

Не странно ли, что это общение вызвался наладить Рой Медведев, автор самиздатовских статей и книг, многоопытный и премного информированный

обличитель? Помилуйте, для чьих ушей это произносится: «революционные группы», «любые средства», «подполье», «тщательная конспирация», «продуманная система»? Слыша такие речи, работники наших славных компетентных органов уже, поди, дырки сверлят для орденских штифтов: сейчас эти мямли-диссиденты перестроятся, наконец, наподобие масонских лож или упомянутых бесовских пятерок. Дух пронунциаменто, заговорщицкий большевистский романтизм сквозят из Ваших строчек — и загодя оправдывает самые низкие, непотребные приемы слежки. Действительно, не зазорно весь Ваш стол перевероршить и мусорную корзину вывернуть — ведь ни ти заговора ищутся, оберегается мир и покой наших дорогих сограждан. Не зазорно и к любовникам под простыни залезть с магнитофоном — ежели они между делом выстраивают планы политической диверсии (желательно — с человеческими жертвами!). А штаты и без того растут, а расходы и так не ограничены, и самые новейшие дефицитные технические новшества идут в службу. Вы попрекаете Гинзбурга — зачем он деньги считал, полагаясь на бумагу, а не на взаимное доверие, — видно из Вашего письма, во что б ему обошлось такое доверие! — а ведомство Андропова считает ли их? На моих глазах за тем же Подрабинеком следовало неотступно, часами, восьмеро недурно одетых лоботрясов, которые очень бы сгодились при монтаже мостового крана, и с ними — две «Волги», набитые чёрт-те какой аппаратурой, — в шутку ли, всерьез, но Подрабинек посчитал, что слежка за ним в месяц стоила тысяч около 12-ти, когда-нибудь с Комитета спросят ли всенародно финансовый отчет? Навряд ли, тут и дураку ясно, с продуманной системой боролсь, со строжайшей конспирацией.

Не ловите меня на слове, будто я против конспирации вообще. Мы с Вами знаем, что рукопись или

документ, покуда не выплыли, не попали в надежные руки, испытывают некий «момент беспомощности», когда их необходимо уберечь от физической смерти, от изъятия при обыске. Но, упрятав надежно копию, почему не хранить на квартире другую? Потому, что упоминаются люди, помогавшие движению — деньгами, доставкой писем, их распространением? Прошу прощения, но эти люди знали, на что шли, — иначе бы их имена не попали ни в один документ, иначе б свои жертвования делали анонимно. И те, кто пишут письма, и те, кто везут их не по почте, — тоже знают: за это не глядят. Все-все наперед знают — и идут, довольно-таки беспечно. Может быть, те, кто придут им на смену, предварительно хорошенько вы зубрив «правила игры», добьются большего с меньшими потерями. Но смею думать, они будут хуже сегодняшних, так наивно открытых, легкомысленно неосторожных. И едва ли они привлекут к себе столь трепетное сочувственное внимание мира.

Вы удивлены и обижены, почему Вам, Рой Александрович, и Вашему брату Жоресу так часто пишут открытые письма, это уже превратилось, как Вы говорите, «в особый жанр литературы». Впервые пиша открытое письмо частному лицу, я тоже задумываюсь — почему. Действительно, странно видеть, как люди с Вашими способностями и, должно быть, благими намерениями, служат объективно тому, что сгнило и должно отмереть, вместо того, чтоб всеми силами поддерживать юное, чуть выбившееся из-под земли, рискующее в любой час быть растоптанным. Слегка перефразируя большого русского поэта, нашего с Вами современника,

Я сожалею и грущу, месье.

Ваш Георгий Владимов

13 октября 1978 года

В редакцию журнала «Поиски»

27 сентября я получила от Р. А. Медведева датированное 23 сентября письмо, которое он объявил открытым.

4 октября я узнала, что он распространяет это письмо в расширенном и специфически исправленном варианте.

Отвечать на то, что в письме касается лично меня, я не буду. Предпочла бы не писать вообще ничего и похоронить мою более чем десятилетнюю дружбу с Медведевым в молчании.

Но промолчать не могу. Потому что в письмо это, без всякой связи с его содержанием, нарочито и искусственно включены автором целые страницы клеветнических вымыслов в адрес Александра Гинзбурга и других членов Хельсинкской группы — находящихся в заключении и вынужденных уехать из страны. Тем самым Рой Медведев использовал мое имя, чтобы включиться в расширяемую сейчас официальной пропагандой кампанию по дискредитации правозащитного движения.

Цель кампании — двоякая, двуединая: лишить правозащитников моральной поддержки на Западе и внутри страны (или, по крайней мере, ослабить эту поддержку) и — посеять недоверие между самими правозащитниками.

Мне неизвестно, что заставило Роя Медведева поставить свое имя и свое перо на службу этой кампании; не пытаюсь я и входить в его побуждения. Но читая это письмо, не могу не видеть: всё, что в этом письме касается Хельсинкской группы, работает именно на осуществление названной выше двойной цели. И работает тем эффективнее, что порочащие узников совести инсинуации распространяет в данном случае не Петров-Агатов в «Неделе», а человек, имеющий международное имя, — в Самиздате.

Знающие люди легко опровергнут фактическую сторону сообщаемых Медведевым «сведений» (например, об использовании Фонда в личных целях, о том, что по вине Гинзбурга пострадали другие люди, и т. д.). Мне же невыносима сама мысль о том, что человек, которого я много лет считала своим другом, оказался способен в унисон с властями клеветать на узников. Невыносимо думать, что человек, в шестидесятых годах обличавший сталинизм и писавший о пагубности нечистых средств, — сегодня оказался способен и

на прямую ложь, и на искусную диффамацию, на двусмысленные намеки в адрес людей, лишенных возможности ответить. Чтобы *не* делать этого, ему вовсе не обязательно быть единомышленником узников. Чтобы не принимать участия во лжи, не помогать властям, сначала незаконно лишившим правозащитников свободы, а теперь безнаказанно порочащим людей, которым заткнуты рты, — чтобы *не делать* всего этого, не надо быть ни марксистом, ни христианином, ни социалистом, ни демократом. Достаточно остаться порядочным человеком.

Мое отношение к членам Хельсинкской группы, к незаконным процессам над ними и вынесенным им чудовищным приговорам, к клеветнической кампании, кодовым названием которой могло бы служить слово «грязь», ясно выражено в моей подписи под рядом документов и в моей статье «На круги своя», написанной вскоре после ареста Ю. Орлова, А. Гинзбурга и других.

Поступок Медведева, включившегося в клеветническую кампанию властей, перечеркивает мои многолетние дружеские отношения с ним. Именно этот его поступок, — а не политические, идейные или личные разногласия, — кладет ныне между нами непреходимый нравственный рубеж.

Писать это мне трудно. Если бы дело касалось одной меня, я, повторяю, предпочла бы молчать.

Р. Лерт

10 октября 1978 г.

В редакцию журнала «Поиски»

Меня ознакомили с находящимися в распоряжении редакции двумя вариантами письма Р. А. Медведева, в котором Медведев высказывается относительно судебного процесса в Калуге над А. И. Гинзбургом.

Считаю необходимым выразить свое возмущение по поводу этого выступления Р. А. Медведева. Считаю себя обязанным это сделать не только потому, что в течение ряда лет поддерживал знакомство с Р. Мед-

ведевым, но и потому, что в силу ряда обстоятельств имею возможность квалифицировать обвинение Медведева в адрес А. И. Гинзбурга как клевету. Хотя я не знаком ни с самим А. И. Гинзбургом, ни с его семьей, мне достаточно известно, что А. И. Гинзбург не приобретал кооперативную квартиру за счет общественного фонда: Арина Жолковская приобрела ее, еще не будучи женой Гинзбурга. Мне также известно, что дом в Тарусе был приобретен благодаря ссуде, предоставленной одним видным и достойным человеком. Я говорю об этом потому, что для дела справедливости и разоблачения клеветника полезно, чтобы не только заинтересованные лица, но и совершенно сторонний человек публично восстановил истину.

Р. А. Медведев не ограничился клеветническими выпадами против Александра Гинзбурга. Вчитываясь в его письмо, обнаруживаешь, что задача этого документа — опорочить правозащитное движение в целом. Этой цели служат бездоказательные обвинения и зlostные намеки по адресу целой группы героических правозащитников, ставших жертвами репрессий и лишенных возможности ему ответить.

Таковы обстоятельства, в силу которых я считаю необходимым привлечь внимание честно мыслящих людей — не только в СССР — к аморальному поступку человека, выступающего в роли историка и публициста.

Евгений Гнедин

Москва, 17 октября 1978 г.

В № 17 «Континента» опубликовано интервью редакции с П. Г. Григоренко, в котором П. Г. Григоренко отвечает на вопрос редакции о Рое Медведеве. Я полагаю, что, по принятым в свободной прессе принципам, редакция «Континента» сочтет возможным опубликовать и мое настоящее письмо с указанием на ряд неточностей, касающихся Р. А. Медведева. На стр. 407 «Континент» дает комментарий о том, что П. Г. Григоренко публиковался «под одной шапкой с Р. Медведевым» и что даже Раиса Лерт, которая «резко порвала с журналом Медведева», была в том же ряду.

«Общей шапки» действительно не было, и П. Г. Григоренко в этом отношении прав. Хотя на русском языке книги Р. А. Медведева и П. Г. Григоренко были опубликованы одним и тем же издательством им. А. Герцена (Амстердам), в английской прессе работы П. Г. Григоренко публиковались более левыми, в частности, троцкистскими издательствами, которые не публиковали основных работ Роя. Часть открытых писем и статей Григоренко были опубликованы в США троцкистским издательством в сборнике: «SAMIZDAT», Monad Press, New York, 1974 в разделе «Григоренко, Костерин и левое крыло оппозиционного движения». Левые группы на Западе, в основном, и выступали в защиту П. Г. Григоренко; в Англии, в частности, был проведен «День защиты П. Г. Григоренко» в 1974 г., на котором выступали многие британские социалисты и коммунисты. Под обращением в защиту П. Г. Григоренко было собрано около 10 000 подписей. На митинге выступал и автор данного письма. Таким же образом был организован и «День защиты В. Буковского».

Раиса Лерт согласилась быть одним из редакторов журнала Р. А. Медведева, и в первом номере можно прочитать ее полемику с Р. А. Медведевым. Сотрудничество Р. Лерт с Р. Медведевым продолжалось более 10 лет, еще с периода, когда Рой Медведев работал над книгой «К суду истории», и до самого последнего времени я, как издатель журнала на Западе, получал очерки Р. Лерт, которые я, однако, не мог напечатать, так как для публикации приходилось отбирать лишь небольшое из общей массы материалов, а статьи Р. Лерт не были слишком актуальными. Журнал прекратил существование (был запрещен в Москве, как самиздатный) в 1977 г.,

после чего Р. Лерт решила выпускать собственный журнал, судьба которого мне неизвестна.

П. Г. Григоренко не совсем точен, когда говорит об «очередном словоизвержении Р. Медведева» «Социализм и демократия», в котором разбираются «полуанархистские» взгляды Григоренко и утверждается, что группа Григоренко «распространяет» «антисоветский труд Авторханова «Технология власти». Во-первых, книга Р. А. Медведева была издана в 1972 г. издательством им. Герцена под несколько другим названием, и взгляды П. Г. Григоренко разбираются в ней исключительно на основе работ самого П. Г. Григоренко, его «открытого письма» академику А. Сахарову, его обращений к совещаниям компартий и другим.

Что же касается «распространения» П. Г. Григоренко книги Авторханова, то в «Книге о социалистической демократии» об этом нет абсолютно ничего, и имя Авторханова там не упоминается. Здесь П. Г. Григоренко путает книгу Р. А. Медведева с редактировавшимся Р. Медведевым журналом «Политический дневник» (1964-1971). В издании избранных номеров этого журнала издательством им. Герцена (1972) на стр. 510 действительно есть упоминание о книге Авторханова в связи с деятельностью Григоренко. Но там сказано не о «распространении» книги Авторханова, а о «рекламе» этой книги, причем приведена цитата из открытого письма Григоренко по этому поводу. Если взять новое издание книги Авторханова, изданной «Посевом» в 1976 г., то в предисловии автора «Технология власти» можно найти более полную справку по этому поводу. Авторханов приводит полностью подписанное П. Г. Григоренко, П. Якиром и др. «открытое письмо» Прокурору РСФСР. В этом письме авторы считают «особенно возмутительной для советского человека» квалификацию книги Авторханова как антисоветской. По мнению Григоренко, труд Авторханова настолько хорошо аргументирован, что с ним даже никто не решается спорить. Сам Авторханов пишет: «Интерпретация книги коммунистом Григоренко и его единомышленниками, вполне лояльными советскими гражданами, борющимися за соблюдение советских же законов, означала ее легализацию и даже рекомендацию» (стр. 16).

Поскольку письмо П. Г. Григоренко с характеристикой книги Авторханова, датированное 22 января 1969 г., было

открытым и широко распространялось в самиздате, то нет никаких оснований считать попытку «Политического дневника» разобрать книгу Авторханова с более критических позиций и высказать скептическое отношение к оценкам, даваемым Григоренко, как «донос». Какой же это «донос», если открытое письмо Григоренко, одна фраза которого разбиралась в «Политическом дневнике», было направлено Генеральному Прокурору РСФСР?

Каждый, даже на склоне лет, имеет право менять свои взгляды. Нет ничего удивительного и в том, что П. Г. Григоренко, после многих лет заточения, перестал верить идеям марксизма. Но всё же события недавнего прошлого следует воспроизводить такими, какими они были в действительности, а не пытаться исказить их в соответствии с новыми обстоятельствами.

Жорес А. Медведев

1 января 1979 г.

От редакции: Лучшим комментарием к этому, как, впрочем, и к большинству других опровержений Ж. Медведева могут служить строки из опубликованного в этом номере ответа Георгия Владимова «...письмо увязает в частности, волнующих нас куда поменьше, нежели сказанное мимоходом. Архитектоника головастика: с тоненьким хвостиком и объемным началом. Намеренно ли это, случайно ли — не имеет значения; второе — даже предпочтительней: больше истины высказывает человек, когда проговаривается».

И вообще, человеку, которому, мягко говоря, указывают на дверь, не гоже гордиться вокруг этого печального факта огород из придирок к словам и неточности формулировок.

СВОБОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
В АХБЕРГЕ (ФРГ)

по инициативе виднейших представителей русской интеллигенции за границей и в тесном сотрудничестве с ними организует

ЛЕТНИЙ КУРС ЗАНЯТИЙ
РУССКОГО ОТДЕЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Курс имеет целью дать слушателям по возможности полное и объемное представление о сегодняшней России, о ее истории, литературе, искусстве, науке; о современном положении в различных областях знаний; о жизни советского общества; об организации советского государственного аппарата; о структуре управления промышленностью, сельским хозяйством, культурой; о советской юстиции и милиции, о советской армии.

Кроме того, со слушателями будут проводиться регулярные занятия русским языком и разговорная практика, что даст возможность студентам-славистам, преподавателям русского языка, переводчикам усовершенствовать свои знания.

В работе курса примут участие:

Андрей Амальрик, Владимир Буковский, Наталья Горбаневская, Александр Зиновьев, Владимир Максимов, Виктор Некрасов, Леонид Плющ и другие.

Занятия, лекции, вечера, семинары будут проводиться высококвалифицированными преподавателями и профессорами, а также специалистами в различных областях знаний, журналистами, писателями, историками, искусствоведами.

Начало занятий — 15 августа 1979 года. Конец занятий — 4 сентября 1979 года. Занятия будут проходить в помещении Свободного международного университета в Ахберге, на Бодензее, в Альпах, в одном из красивейших уголков Европы.

За справками обращаться по адресу: Herrn Wilfrid Heidt, Institut für Sozialforschung; Sieberatsweiler, 9, 8991 Achberg, West Deutschland.

Запись на курс до 1 июля 1979 года.

К

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb

8000 München 40 · Bauerstrasse 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**С Ш А: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 USA**

**Зап. побережье — В. Соколов (V. Sokolov),
University of California, Crown College,
Santa Cruz, Calif. 95064, USA**

**Мичиган — О. Политис, 3133 No. Wagner Rd.,
Ann Arbor, Mich. 48103, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

СОЛДАТЫ!

Если вы перейдете на сторону Союзников, с Вами будут хорошо и дружески обращаться. Вас будут хорошо кормить — одинаково как Союзных солдат. Помните что Союзники ваши друзья и не верьте тому, что говорят вам немцы — они вам врут.

Перейдете ли вы к нам добровольно или будете захвачены в честном бою, с вами будут обращаться по добру — по хорошему. Только дайте понять нашим солдатам, что вы сдаетесь. Подымайте руки когда подходите к нам. Снимайте ваши шлемы.

Сохраните эту листовку. Покажите ее союзным солдатам когда будете сдаваться.

ZG27

Такие листовки разбрасывали союзники в тылах у врага в конце сорок пятого года. Все, кто поверили обещанным в них гарантиям, были выданы вскоре на расправу Сталину. (Прим. ред.)